

Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VI.

6th Conference for Young Slavists in Budapest



Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Szláv és Balti Filológiai Intézet

Eötvös Loránd University
Faculty of Humanities
Institute of Slavonic and Baltic Philology

Budapest, 2018

Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VI.

6th Conference for Young Slavists in Budapest
(held on 05th May 2016)

Főszerkesztő/ Editor-in-chief:

Dr. Urkom Aleksander

A szerkesztő munkatársa/ Associate editor:

Rágyanszki György

Technikai szerkesztő/ Technical editor:

Sándorfi Lotti

Bírálok/ Reviewers:

Dr. Bajzek Mária

Dr. Dudás Előd

Dr. Dudás Mária

Dr. Dziwońska-Kiss Dorota

Dr. Gyöngyösi Mária

Dr. Jakovljević Dragan

Dr. Janiec-Nyitrai Agnieszka

Dr. Janurik Szabolcs

Dr. Kiss Szemán Róbert

Dr. Kovács Oxána

Dr. Laczházi Aranka

Prof. Dr. Lukács István

Dr. Pátrovics Péter

Dr. Urkom Aleksander

Dr. Várnai Dorota

Felelős kiadó/ Publisher:

Prof. Dr. Lukács István

ISBN 978-963-284-987-4

Tartalomjegyzék/ Contents

Plenary lectures:

Katalin Kroó: <i>Лермонтов: «Герой нашего времени» – роман нашего времени?</i>	5
Marija Bajzek Lukač: <i>August Pavel Prekmurska slovnica - Vend nyelvtan 1942 (2013)</i>	12
*	
Justyna Bąk	18
<i>Kształtowanie pojęcia melancholii w wyobrażeniach społeczeństwa staropolskiego przełomu XVII-XVIII w. na podstawie źródeł kaznodziejskich Europy Środkowo-Wschodniej</i>	
Elżbieta Benkowska	22
<i>Derby – sportowe widowisko czy wojny chuliganów? Analiza i porównanie derbów belgradzkich z trójmiejskimi</i>	
Polina Bogatova	27
<i>Стилистическая и поэтическая функции каламбуров в художественной литературе и их перевод с русского языка на чешский</i>	
Paweł Borowy	31
<i>Dwór Zygmunta III w świetle wybranych relacji poselstw dyplomatycznych Struktura dworu i dworzanie</i>	
Zaides Kristina Denisovna	36
<i>Языковая реакция говорящего на ошибку: типы ошибок и типы реакций</i>	
Hrabren Dobrotić	41
<i>Reprezentacija popularne kulture u dramskom tekstu na primjeru Radakovićeve drame „Dobrodošli u plavi pakao“</i>	
Magdalena Gapsa	45
<i>Najpogostejša otroška imena v Sloveniji in na Poljskem</i>	
Tomasz Zoltán Heffler	50
<i>Dysfemizmy, kakofemizmy i eufemizmy w polskim slangu i mowie potocznej</i>	
Dina Kamerić	54
<i>Književnost, trauma, pamćenje: utjecaj antiratnog pisma na savremeno bosanskohercegovačko stvaralaštvo</i>	
Oliwia Kasprzyk	57
<i>„Maszyna do tworzenia wrażeń”. W. Majakowski o kinie (1913-1915)</i>	
Adrienn Kocsis	61
<i>Dekonstrukcja roli Matki Polki w niektórych utworach Joanny Bator</i>	
Jacek Kudera	64
<i>Badanie asocjacji związanych z autorytetem i władzą metodą nagrań skojarzeń swobodnych</i>	

Ewelina Lechocka	68
<i>Kulturowo-jezykowy obraz modrej lilii w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych</i>	
Lenka Macsaliová	74
<i>Historicita v Rysul'ovom románe Milost'</i>	
Matej Masaryk	78
<i>Stratené prózy Janka Alexyho</i>	
Anja Pravuljac	82
<i>Književne srodnosti Luidija Pirandela i Branislava Nušića</i>	
Mária Sajnovics	86
<i>Iz povijesti hrvatskoga i srpskoga jezika u devetnaestom stoljeću</i>	
Natalia Shlikhutka	89
<i>Klasifikacija błędów tłumaczeniowych na podstawie analizy dokumentów unijnych</i>	
Tijana Stojanović	94
<i>Međujezička homonimija i paronimija (u srpskom i slovačkom jeziku)</i>	
Zuzana Tarabčáková	97
<i>Čitlivost' v priestore kyberkultúry v súčasnej slovenskej poézii</i>	
Александра Томић	101
<i>Тестови у настави српског језика као страног на почетном нивоу</i>	
Robert T. Tomczak	107
<i>Rebellious life of a Prague students in the seventeenth century</i>	
Anastasiia Turchyna	111
<i>Міжмовні омонімії у слов'янських мовах</i>	
Jurica Vuco	115
<i>Referencijalni kontekst hrvatske Antiantigone</i>	
Piotr Wojnarowicz	119
<i>The Idea of Northern Crusades and their impact on the creation of the Livonian Order</i>	

Plenary lecture

Prof. Dr. Katalin Kroó

Eötvös Loránd University, Budapest (Hungary)

krookatalin@freemail.hu

Лермонтов: «Герой нашего времени» — роман нашего времени?

The paper turns to Lermontov's A Hero of our Time, raising the question of cultural reception. The value for the contemporary reception of this 19th-century novel belonging to the Russian Golden Age is searched not in terms of possible actualisations but within the scope of the characteristic features of the poetic complexity of the text. Among them the main focus is given to the poetic aspects which can be linked to the textual future-orientedness of Lermontov's novel, calling for later readings. This peculiarity is examined in the context of narrative composition, intermediary semantic constructs, textual processuality (text dynamics) and modes of discourse translation within the novel.

Keywords: Lermontov, A Hero of our Time, cultural reception, intermediary forms, future-oriented artistic text, textual dynamics.

В качестве введения пару слов о методологии изложения проблематики, поставленной в настоящей статье. Вопрос, отраженный в названии данной работы, будет рассматриваться с установкой на идею промежуточности, которая в романе Лермонтова «Герой нашего времени» моделируется в разных аспектах: в отношении различных типов языка с определенными их дискурсами, устных и письменных форм этих дискурсов (вовлечением и разных медиумов в рамках вербальности), лингвистических аспектов поэтического воплощения и т. д. Поэтический материал «Героя нашего времени» слагается из разных дискурсов – в том числе, романтического, медицинского, дискурса натуральной школы, – читателем овладевает чувство, будто он пребывает в художественном мире *среди* дискурсов, как бы он между разными дискурсивными формами, медиумами и жанрами. Таким же образом в тексте возникает модель устной и письменной речи (когда, например, какой-либо герой участвует в ходе действия романа в устных монологах или диалогах, или когда мы читаем «Журнал Печорина»), и модель разных жанров (рассказ, очерк, роман и т. д., к тому же сами герои создают модель своей *литературности* в изображенной жизненной сфере). В конструировании фигуры главного героя (рассмотрим это явление позже) играет большую роль также языковое оформление определенного семантического константа, т. е. устойчивого признака характеристики персонажа (ср. варианты инвариантного *всё* и *ничего* на разных текстовых уровнях; о трансформационном мотиве *одно то же, что другое*, см. Кроо 2015), а это значит, что литературность фигуры очень наглядно опирается на ее языковое воплощение. Но лермонтовский роман включает в себя черту промежуточности еще в одном аспекте. В романе эксплицитно ставится поколенческий вопрос («Герой Нашего Времени, <...>, точно, портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии.», Лермонтов 2000: 313), а он всегда связан с осмыслением динамики перехода от одного поколения к другому, а в итоге его постановка неразрывна с дилеммой, обостряющей проблему, сформулированную в заглавии настоящей работы: можно ли сказать, что «Герой нашего времени» Лермонтова является романом нашего времени? Другими словами, здесь кроется вопрос, легко (и хорошо) ли читается (и вообще какими методами восприятия читается) в двадцать первом веке роман Лермонтова, текст Золотого века «классической» русской литературы? Адекватно ли осмысливается и толкуется поэтический замысел одного поколения истории культуры другим поколением творителей и воспринимателей культуры? А если да, то как можно перекинуть мостик между двумя эпохами? Как можно связать, и вообще возможно ли связать, два временных пространства – время творения текста и его рецепции, или более четко говоря, два хронотопа прошлого и настоящего? Если на перечисленные вопросы можно ответить положительно, то «Герой нашего времени» функционирует как связующее звено между

эпохами, позиционируя себя в промежуточной полосе культуры. Из этой промежуточности вытекает ряд более конкретных вопросов: каким образом «Герой нашего времени» в рамках своей поэтики, в русле своего романного языка, через свое глобальное текстуальное оформление и конкретные стратегии семантического моделирования позволяет развивать такой смысловой универсум и художественный мир, которые вовлекают читателей в толкование данного произведения спустя два столетия после его появления? Является ли «Герой нашего времени» Лермонтова действительно романом *нашего* времени?

Когда критика размышляет о злободневности какого-либо литературного произведения и возможностях его актуализации, часто ссылается на универсальность содержания текста. Нередко предполагается, что текст своей универсальностью, помимо прочего, может быть обязан, с одной стороны, своему мифологическому материалу (здесь речь идет о мифопоэтике); а с другой – архетипическому. Приведу краткий пример из работы Юрия Михайловича Лотмана (Лотман 1997: 728), где он делит поэтический мир тургеневских романов на три уровня. Формулируя мысль о том, что Тургенев, являясь «демифологизатором», по сути дела создает свою собственную мифологию, ученый указывает на то, что тургеневские сюжеты разыгрываются в трех планах: 1) современно-бытовом, 2) архетипическом и 3) космическом. Благодаря космическому масштабу сюжетного содержания и его архаичности текст будет обладать чертой универсального действия. Согласно концепции Лотмана, подобно многим другим подходам к своеобразию универсального характера литературного текста, акцент поставлен на устойчивость некоторых структур. Моя же попытка, в отличие от этого, направлена на создание другой перспективы путем представления того, какую роль играет динамика литературного текста в том, каким образом само произведение способно предложить себя для восприятия будущими поколениями культуры.

Рассмотрим поближе способность текста связать хронотоп прошлого (творение) и настоящего (восприятие текста), в процессе, в котором мы бросим *ретроспективный* взгляд из настоящего в прошлое. Однако критик романа может задаться и вопросом, бросит ли сам лермонтовский роман *проспективный* взгляд из своего хронотопа творения на будущее, т. е. на время восприятия текста. Имеет ли *он* в своем кругозоре будущего (не только современного) читателя? Исследовательский опыт произведений русской литературы XIX века свидетельствует о том, что говорить о ретроспективности и проспективности следует не только при толковании принципов и факторов когерентности текста (text-coherence, text-connectedness), в русле проблемы, известной по литературно-лингвистическим исследованиям связности текста в анализах художественного дискурса (см. Ван Дейк Е. А., Кинч В. 1988). Общеизвестно, что мотивная структура литературного произведения основывается на ретроспективном толковании – в повторе распознаем семантический принцип формирования мотива, – а в таком ретроспективном толковании значительную роль играют анафорические смысловые связи. Однако литературоведческий опыт анализа связности дискурса свидетельствует и о том, что катафорические связи также активно действуют в художественном тексте, но в своеобразных формах, возникающих как некоторые предсказания и предвещения. Разные типы предвещения (антиципации) могут появляться не только в форме предсказаний, например в сновидениях, – когда они могут интерпретироваться как какое-то событийное предсказание будущего (например, в пророческих снах). Существуют также иные структуры предвещения, которые не действуют в направлении ожидания какого-то события в сюжетном ходе, в действии романа, а открывают ожидания в сторону дальнейшего развертывания каких-либо мотивов или мотивных образований, т. е. начинают строить определенную семантическую модель, а читатель начинает ожидать какого-то продолжения. В таких случаях предвещение может интерпретироваться не только в русле сюжета, но и в более абстрактном семантическом плане. К такому проявлению относится, например, мотив начала и конца.

Мы в разных произведениях часто вовлекаемся в сюжетную игру с попыткой героя или повествователя начать или окончить определенную историю. В последствии часто выясняется, что история совсем не всегда может легко начаться или закончиться (например, постоянно откладывается истинное начало истории или появляются разные концы, см.: Лахманн 1993). В связи с этим может выясниться, что мотивы начала и конца означают не только начало и конец самой истории, но и содержат в себе гораздо более богатую мысль, и поэтому *постоянное ожидание*, например, *конца*, предвещает развертывание далее самого мотива. Вспомним, как в «Евгении Онегине» повествователь говорит в конце первой главы романа в стихах о том,

как он кончил первую главу: «Покамест моего романа / Я кончил первую главу; / Пересмотрел все это строго: / Противоречий очень много, / Но их исправить не хочу. / <...> / Плоды трудов моих отдам: / Иди же к невским берегам, / Новорожденное творенье, / <...>» (Пушкин 1999: 46, [LX строфа.]). Хотя он пишет о том, что написал первую главу своего романа, все же акцентирует, что он кончил ее, а этот конец покамест есть только начало. Очевидно, что семантика в значительной мере превосходит сюжетную игру с началом и концом. Возникает ожидание не только продолжения романа, но и продолжения, т. е. дальнейшего развертывания самих мотивов начала и конца, что соответствует установке на семантику *продолжения*. Предвещается мотив продолжения. А в конце восьмой главы повествователь прощается таким образом: «И вдруг умел расстаться с ним» (Пушкин 1999: 265 [LI строфа]), что внушает возможное продолжение произведения, даже после его конца. Роман как бы призвал к себе потенциальное его продолжение. А если это так, то он призывает к себе будущее восприятие текста (читателем, или как история русской литературы свидетельствует об этом, автором нового литературного произведения, осмысляющего «Евгения Онегина»). Следовательно, можно утверждать, что литературный текст способен выработать в себе и для себя такие структуры, которые предвещают не только какие-то дальнейшие элементы сюжетного хода (когда событие предсказывает другое событие), а создают установку на последующие формы семантизации и толкования смысла, и таким образом, как бы призывают к какому-то следующему, будущему этапу интерпретации в процессе развития текста и его семантического мира. Это связано с тем, что литературный текст развивается не только процессуально, но и нередко указывает на свою собственную процессуальность (метатекстовый уровень).

Подобным образом, если мы говорим о промежуточности «Героя нашего времени» между его творением и восприятием, т. е. между двумя формами отношения к произведению, и между двумя хронотопами, и к тому же задаемся вопросом, до какой степени предвещает сам роман свое продолжение, то можно утверждать, что по ходу всего лермонтовского романа акцентируется процесс развертывания текста. Вся так называемая «нарратологическая» проблематика произведения, о которой писали многочисленные исследователи (Эйхенбаум 1961, Дрозда 1985 и многие другие, например, Szilágyi 2012), касается именно того процесса, в ходе которого не просто рождается роман, а указываются разные переводы из одной его дискурсивной формы в другую, когда устный рассказ Максима Максимыча переходит в письменный рассказ повествователя новеллы о Бэле, которая продолжается в рассказе под названием «Максим Максимыч», а затем «Журнал Печорина» встраивается в уже сложенную нарративную структуру и доведен до конца уже сам роман как новый жанр. Проекцию нарративной техники на имплицитное и эксплицитное осмысление темы рождения и эволюции повествовательного текста до момента порождения, а затем продолжения и как бы завершения романа – трудно было бы оценить лишь как побочную линию в романной компановке. Дело в том, что главный герой романа Печорин уже давно умер, когда еще только рождается роман о его жизни, а в другом конце процесса мы видим, что в результате последовательной нарративной игры роман как бы все же остается незаконченным, как бы прерывается, ведь оканчивается не на кончине главного героя, и даже не на последних событиях его жизни. Именно такое чувство незаконченности внушает реципиенту продолжение романа, предвещая будущие проявления в русской литературе «печоринской семантики».

До сих пор мы говорили о возможности промежуточности между двумя хронотопами творения и восприятия лермонтовского романа, которая вырисовывает следующую схему: роман «Герой нашего времени» предвещает и призывает к продолжению текста в будущем. А такой аттитюд, обнаруживаемый внутри романа и заложенный в том числе и в его нарративной структуре (и еще и в том, что роман разрабатывает разнообразные модели чтения и толкования событий и текстов), имплицитно подтверждает возможное будущее осмысление произведения читателем или автором нового текста с позиции его собственного времени. В итоге можно прийти к заключению, что идея временной промежуточности литературного текста между творением и восприятием заложена в самой поэтике произведения или в определенных компонентах его смыслового мира. А если с этой точки зрения рассматриваем прежде упомянутые аспекты идеи промежуточности в «Герое нашего времени», то можно предположить, что их функция связана с возможностями текста ориентироваться на будущее. Ведь своеобразие такого романного пространства «Героя нашего времени», в котором наблюдается промежуточность между типами, формами и

медиумами дискурса, а также между разными жанровыми началами, ориентирует чтение именно на идею становления и процессуальности.

Почему это действует в указанном направлении? Такая черта романной поэтики выдвигает на первый план именно вопрос о связи упомянутых дискурсивных возможностей, а их связь может осознаваться как *переход от одной формы к другой*. Иными словами, промежуточность требует пояснения с точки зрения динамики смыслопорождения, перехода от одного его этапа к другому. (Возьмем более конкретные примеры того, как читатель стремится понять связь между романтической и натуралистической парадигмой; между письменной речью и устной; или он старается понять, как связаны разные знаки, слова Печорина как вербальные знаки, мимика его лица и жесты, далее то, что он начинает рисовать на песке, т. е. визуальная знаковая система. Выясняется, что объясняя такие связи, нам следует отдавать отчет в том, что одна форма переоплощается в другую, т. е. эти формы представляют собой определенные этапы в процессе смыслопорождения. Следовательно, по сути дела, проявления этих форм, которые я до сих пор причисляла к аспектам промежуточности, на самом деле несут информацию о временной последовательности развертывания литературного текста, о предыдущих и последующих этапах его развития, иными словами – о его прошлом, настоящем и будущем. Как было видно, эта процессуальность развертывания в одно и то же время касается внутренней динамики смыслопорождения, но речь также идет и о том, что определенные структуры и семантические образования ориентируют чтение именно на осмысление будущего восприятия читателями, которые в свое время будут обладать собственным хронотопом, осмысляемым ими как читательский хронотоп «нашего времени», т. е. принадлежащий к их собственной культурной эпохе.

Для подтверждения изложенной мысли, что литературный текст на разных уровнях способен выработать свою семантическую ориентацию на будущее (во-первых, сообщая информацию о закономерностях, каким образом текстовый процесс продвигается вперед к концу – т. е. от настоящего к будущему, а во-вторых, содержа в себе призыв к будущему продолжению этого процесса, как бы адресуя своему будущему реципиенту), мне хотелось бы привести простую, но любопытную семиотическую модель Вальтера Ревара (Rewar 1979: 289, ср.: Огг 1986: 818-819), который говорит о морфостазисе и о морфогенезе. Первое понятие, морфостазис, служит моделью тех культурных текстов, которые как микротексты не составляют конфликт с культурным (в том числе и социальным) макротекстом и поэтому они в свою эпоху успешно принимаются, их функция состоит в сохранении культурных семиотических систем. А с другой стороны, следует указать на морфогенетические тексты, которые могут даже проваливаться в свою эпоху и которые способны вырабатывать новые формы. Поэтому их будущее восприятие связано с семантической потенциальностью, основанной на семантической мобильности. Подобные тексты указывают в направлении будущей культурной креативности, и они действительно будут семиотически совместимы с будущей воспринимающей культурой. Они ведут настоящий текст в будущее культуры. Следует напомнить, что Джонатан Каллер (Culler 1976), концептуализируя интертекстуальность, четко отмечает реляцию текста с другими текстами, которые артикулируют определенную культуру и ее *возможности*, т. е. по сути дела, потенциальности. Такая возможность и потенциальность вновь указывают в сторону будущей культуры, которая, согласно теории Каллера, связана с «условиями для возможного возникновения более поздних текстов» (Culler 1976: 1983). Речь идет о перспективе будущих текстов.

В заключение хотелось бы подвести итоги сказанному. Поставив дилемму, является ли лермонтовский «Герой нашего времени» романом и *нашего* времени, т. е. читателей XXI века, был затронут определенный круг вопросов. Следя за поэтикой промежуточности в лермонтовском романе, можно прийти к выводу, что направление исходного вопроса стоит повернуть. Искать критерии для определения и оценки современности романа возможно не с точки зрения читательского хронотопа «нашего» времени, а как раз обратным путем. Тогда зададимся вопросом, обнаруживаются ли в самом романе такие структуры и семантические формации адресования к будущему восприятию текста – читателем или новым текстом, – которые позволяют нам говорить о предвещании культурной креативности будущих эпох. На мой взгляд, такая культурная креативность рецепции мотивируется в лермонтовском романе еще и тем, что в нем промежуточность (читательское ощущение быть в пространстве между дискурсивными формами, жанрами, медиумами) постоянно наглядно налицо. Чувство этой промежуточности подчеркивается еще тем уже упомянутым

свойством, что эти дискурсивные формы и жанровые начала последовательно перевоплощаются друг в друга, а сам процесс перевоплощения составляет сюжет. Условно можно назвать эту черту поэтики «Героя нашего времени» *событийностью перевода*.

В качестве небольшого примера обращу внимание на фигуру Вернера, друга Печорина. Мотивировка того, что Вернер может связать две модели чтения и два типа языкового мышления, коренится в том, что он характеризуется таким врачом, который в одно и то же время является поэтом:

Он скептик и матерьялист, как все почти медики, а вместе с этим поэт, и не на шутку, – почти на деле всегда и часто на словах, хотя в жизнь свою не написал двух стихов. Он изучал все живые струны сердца человеческого, как изучают жилы трупа, но никогда не умел он воспользоваться своим знанием (Лермонтов 2000: 282).

Медик Вернер при всем своем материализме также поэт «на деле» и «на словах». Эта двойственность приводит к тому, что он способен перевести на врачебный «материализм» (*натурализм*, см. полуиронические слова Печорина, адресованные Грушницкому: «все вздор на свете!... Натура – дура, судьба – индейка, а жизнь – копейка», Лермонтов 2000: 346) разные аспекты дуэльных событий. Печорин сразу же просит своего друга не быть «печальным», а считать его просто «пациентом», с которым все может случиться:

– Отчего вы так печальны, доктор? – сказал я ему. – Разве вы сто раз не провожали людей на тот свет с величайшим *равнодушием*? Вообразите, что у меня желчная горячка; *я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое в порядке вещей*; старайтесь *смотреть на меня, как на пациента*, одержимого болезнью, вам еще неизвестной, – и тогда ваше *любопытство* возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений... Ожидание насильственной смерти не есть ли уже настоящая болезнь? (Лермонтов 2000: 340, выделения курсивом мои – К. К.)

Принцип *смотреть на Печорина как на «пациента»* переведет все переживаемое Печориным во врачебное (или в новой перекодировке: физиологическое) толкование дуэльного событийного текста. Соответственно этому в кризисную минуту Вернер будет проверять пульс Печорина:

– Я вам удивляюсь, – сказал доктор, пожав мне крепко руку. – Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... только глаза у вас блестят ярче обыкновенного (Лермонтов 2000: 344).

В его задачу также входит заставлять других думать, что смерть погибшего дуэлянта представляет собой лишь «несчастный случай» натурального происшествия («Все устроено как можно лучше: тело привезено обезображенное, пуля из груди вынута.», Лермонтов 2000: 349). Таким образом, роль Вернера на уровне дуэльных событий сводится к представлению на практике «материалистического», «физиологического» или натуралистического толкования как «на деле», так и «на словах», т. е. как в плане создания медицинского события разных аспектов дуэли (жизненный/биографический текст), так и в плане их словесных выражений (поэтический метатекст жизненного/биографического текста). Эти переводы в языковом своем аспекте создаются не лишь посредством слов Вернера (см., напр., сообщение самого Печорина о собственной роли «пациента»). Они весомо опираются на всю его семантическую фигуру. А это возможно благодаря тому, что возникновение такой фигуры в данном месте «Героя нашего времени» не ограничивается описанием событийной реальности дуэли.

Процитированный диагноз Вернера, поставленный Печорину, в котором говорится о глазах Печорина, которые «блестят ярче обыкновенного», отсылает к описанию Печориным собственного лица, когда он после бессонницы всматривается в зеркало. Самоопределение героя тогда сообщается через нарраторское посредничество:

Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрелся в зеркало; тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою (Лермонтов 2000: 339).

Бросается в глаза, что в данном отрывке сополагаются два дискурса. Один передает физиологические сведения о нервах, о коричневой тени под глазами. В то же время, благодаря другому дискурсу, отражающему печоринскую автохарактеристику через изображение глаз, «блистающих гордо и неумолимо», сообщение выводится из рамок физиологического изображения. (Это соответствует мотивному значению зеркала, связанному с писанием и знакотворчеством, см.: Фаустов–Савинков 2013: 57). На стыке двух языков – медицинского и метафорического – стоит мотив *бессонницы* в качестве хорошо известного в русской литературе признака *перехода в творческое состояние*. (Вспомним хотя бы «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы», «Моцарта и Сальери» Пушкина и «Белые ночи» Достоевского; см., напр., Спроге–Сидяков 1995: 86–94.) Благодаря такой композиции *гордость и неумолимость блистающих глаз Печорина* действуют метафорическими атрибутами состояния его души не в физиологическом, врачебном смысле, но и не в метафизическом понимании, а в значении *диспозиции души как источника творческой деятельности*. Все это выражается уже на поэтическом языке целостной текстовой организованности «Героя нашего времени». Именно к этой семантизации отсылает тот сегмент, в котором при помощи фигуры Вернера дуэльные информации переводятся в физиологический биографический текст:

– Дайте пощупать пульс!.. О-го! лихорадочный!.. но на лице ничего не заметно... *только глаза у вас блестят ярче обыкновенного* (Лермонтов 2000: 344).

Перевод, как видно, действует в двух направлениях. Физическое состояние Печорина описывается по-медицински, а затем даже тематизируется то, что больше возможности для продолжения физиологического описания нет, так как «на лице ничего не заметно... только глаза...». Согласно этому язык характеристики глаз в рамках полного развертывания мотивов в «Герое нашего времени» уже оценивается как перевод на язык поэтических метафор: в этих глазах выступает необыкновенно яркий блеск. Хотя Вернер как будто продолжает физиологическое описание, данная характеристика явно соотносится с творческим последствием предыдущей бессонницы Печорина, в результате которой его глаза «блистали гордо и неумолимо». Как видно, Вернер хотя и переводит обратно уже раньше сложившийся метафорический смысл на медицинский язык, все же одновременно отмечает и двойственность толкуемости, возникающую при переводе («но на лице ничего не заметно... только глаза...»), и амбивалентность своего перевода, а затем уже текст плавно возвращает читателя к своему метафорическому дискурсу. Фигура Вернера в этом процессе выполняет посредническую роль.

Этот небольшой пример свидетельствует о том, что перевод одного языка в другой, одного дискурса в другой, одной знаковой системы в другую имеет последовательную логику, к тому же текст романа специально обращает внимание читателя на процесс перевода. Подобным образом акцентируются и другие типы перевода в лермонтовском тексте. Благодаря этому оказывается особо подчеркнуто, что романное пространство динамично, текст представляет собой процесс, который включает в себя постоянные перевоплощения, переводы, одним словом текст пребывает в состоянии становления. Если к этой черте поэтики романа мы добавим всё то, о чем шла речь в начале данной работы – учитывая замысел нарративной структуры, указывающий на жанровое порождение текста, как и разные модели чтения событий и текста, а также и призыв читателя к ожиданию продолжения текста, – то все эти моменты *динамической поэтики* служат доказательством того, что современное чтение «Героя нашего времени» не может ограничиваться лишь актуализацией устойчивых структур и универсальных мыслей (мифического и архетипического). А наоборот, по ходу современной рецепции романа необходимо рассматривать все те компоненты художественного мира произведения, которые вместе как поэтическое целое ответственны за то, что «Герой нашего времени» читается воспринимателем очередного культурного поколения как современный текст. В этом духе вопрос, поставленный в заглавии настоящей маленькой статьи, может получить утвердительный ответ.

Литература

- Ван Дейк Е. А., Кинч В. (1988), Стратегии понимания связного текста. Новое в зарубежной лингвистике 23. Когнитивные аспекты языка. Москва. <http://philologos.narod.ru/ling/dijk.htm> – 15.04.2017.
- Дрозда, Мирослав (1985), Повествовательная структура «Героя нашего времени». *Wiener Slawistischer Almanach* 15, 5-34.
- Кроо, Каталин (2015), «Одно — то же, что другое » как трансформационный семантический конструкт в романе Лермонтова «Герой нашего времени». (=Дергагевские чтения). Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 152-164.
- Лахманн, Ренате (1993), О „Слабом сердце” Достоевского: не кроется ли ключ к тексту в самом тексте? In: Русская новелла: проблемы теории и истории под ред. В. М. Марковича и В. Шмида СПб., Издательство Санкт-Петербургского Университета, 135-146.
- Лермонтов М. Ю. (2000), *Полное собрание сочинений в 10 томах*. Т. 6. Москва, «Воскресенье».
- Лотман Ю. М. (1997), Сюжетное пространство русского роман XIX столетия. In: Лотман Ю. М. *О русской литературе: статьи и исследования (1958-1993)*. История русской прозы. Теория литературы. СПб., Искусство, 712-729.
- Пушкин А. С. (1999), *Евгений Онегин*. Москва, Эксмо-Пресс.
- Спроге Л. В., Сидяков Л. С. (1995), Из комментария к «Стихам, сочиненным ночью во время бессонницы». *Временник пушкинской комиссии*. Вып. 26. СПб., Изд. «Наука».
- Фаустов А. А., Савинков С. В. (2013), *Игры воображения. Историческая семантика характера в русской литературе*. Воронеж, Издательско-полиграфический центр «Научная книга».
- Эйхенбаум Б. М. (1961). *Статьи о Лермонтове*. Москва–Ленинград, «Издательство Академии наук СССР».
- Culler, Jonathan (1976), Presupposition and Intertextuality, *Modern Language Notes* 91/6, *Comparative Literature*, 1380-1396.
- Orr, Leonard (1986), Intertextuality and the Cultural Text in Recent Semiotics. *College English* 48/8, 811-823.
- Rewar, Walter (1979), Cybernetics and Poetics, *Semiotica* 25, 271-301.
- Szilágyi Zsófia (2002), „volt benne valami különös”. *M. Ju. Lermontov Korunk hőse című regénye*. Veszprém, Veszprémi Egyetemi Kiadó.

Plenary lecture

Dr. habil. Marija Bajzek Lukač

Filozofska fakulteta Univerze Loránda Eötvösa

Múzeum krt. 4/D, 1088 Budapest, bajzek.maria@btk.elte.hu

Avzugst Pavel Prekmurska slovnicá - Vend nyelvtan 1942 (2013)

This study was written in order to present history of genesis and sociolinguistic background of the Avzugst Pavel's Prekmurje grammar and the language situation of Prekmurje. Circle of Slovenian linguists dates the Slovenian literary language in Prekmurje from 1771 when Števan Kúzmíč prepared his translation of the New Testament. Kúzmíč, as a translator of the Bible, is considered to be the creator of the literary language in Prekmurje. However a lot of works were written in this language, its grammar was prepared only in 1942 but the grammar should have been written earlier because of the standardization and confirmation of the literary language in Prekmurje. This study introduces the history of the literary language in Prekmurje, the contents and the models of the Prekmurje grammar and the history of this grammar from its genesis to the publication in 2013 on the grounds of Pavel's works, researches in archives and other articles which were written in this topic.

Key words: Prekmurje, literary language in Prekmurje, Vends, codification

Prekmurje in prekmurski knjižni jezik

Današnje območje Prekmurja je v 9. stoletju bilo del Spodnje Panonije. Na tem območju lahko govorimo o kontinuiteti slovenskega prebivalstva, čeprav nekateri zgodovinski viri trdijo, da se je slovensko prebivalstvo v času naseljevanje Madžarov umaknilo. Tej trditvi nasprotuje veliko število prevzetih slovanskih besed v madžarskem jeziku, kar pa vendarle pogojuje tesen stik med različnimi narodi. Območje so skozi stoletja različno poimenovali, najprej Belmura, potem so Madžari to območje imenovali Tótság, Muravidék in tudi Vendvidék, Slovenci pa Slovenska krajina. Zahodna meja Madžarskega kraljestva je bila določena v 11. stoletju in od takrat pa vse do leta 1920 je bilo Prekmurje del Madžarske. Zemljiški gospodje so bili večinoma tujci, predvsem Madžari, podložniki pa prekmurski Slovenci, ki pa zaradi upravnih in tudi geografskih ovir skozi stoletja niso imeli veliko stikov z ostalimi slovenskimi pokrajinami. Tako se je jezik s panonskimi koreninami nekaj časa razvijal delno pod vplivom kajkavščine, pisni jezik pa pod vplivom nemščine in predvsem madžarščine, saj so bila prva tiskana besedila prevodi delno iz nemščine in večinoma iz madžarščine. Če to ponazorimo s prvo prekmursko tiskano knjigo, Temlinovim prevodom Lutrovega Malega katekizma, vidimo, da je Temlin katekizem prevedel iz madžarščine, Madžari pa so prevedli Lutrov izvirnik. Pred oblikovanjem prekmurskega knjižnega jezika so na tem območju nastale številne pesmarice, ki so narečno obravnave in predvsem zgodnje kažejo močen kajkavski vpliv, nastajala so tudi pravna besedila, pogodbe in artikuluši, v katerih je terminologija v glavnem prevzeta iz madžarščine, saj prekmurske ni bilo. Prekmursko narečje so na raven knjižnega jezika dvignili prekmurski evangeličani, prekmurski knjižni jezik je normiral Števan Kuzmič s prevodom Nove zaveze leta 1771. Knjižni jezik so v 18. in 19. stoletju oplajali tudi katoliki duhovniki in razvijali tudi posvetna besedila, na koncu devetnajstega stoletja se je razvila tudi prekmurska publicistika, pojavila so se umetnostna besedila, naprej kot prevodi madžarskega leposlovja, kasneje pa tudi lastni poskusi. S priključitvijo Prekmurja Sloveniji oziroma Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev se je vloga prekmurskega knjižnega jezika končala. Del Madžarske je ostalo Porabje, ki pa s svojimi devetimi vasmi, brez izobraženstva in gospodarske moči, jezika ni moglo naprej razvijati.

Avzugst Pavel in prekmurski knjižni jezik

Avzugst Pavel je kot mladi raziskovalec prekmurskega jezika leta 1909 v madžarščini objavil Glasoslovje slovenskega narečja v Cankovi (A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana) in se je aktivno vključil v Asbóthovo raziskovanje glasovne premene $j > gy$. Leta 1916 je v reviji Nyelvtudomány objavil študijo z naslovom *Jezik najnovejšega prekmurskega slovstva* (A legújabb vend irodalom nyelve), v kateri sodobnim prekmurskim pisateljem

sicer priznava trud, da bi prekmurskemu bralcu ponudili primerno branje, z jezikovno, estetsko kakovostjo objavljenih del pa zdaleč ni zadovoljen. Z obžalovanjem ugotavlja, da je katolikom na voljo le *Marijin list*, evangeličanom pa *Dober Pajdas*, v katerih v glavnem objavljajo besedila z versko vsebino, nešolani bralci pa si bistveno več niti ne želijo. Bralci res niso bili bogve kako šolani, dejstvo pa je bilo tudi to, da drugega ni bilo na razpolago. Pavel je v svojem prispevku zapisal tudi informacijo, da cerkvene oblasti sprva niso bile navdušene nad listom in so dovoljenje izdale šele potem, ko so se prepričale, da je tak list potreben, njegovi kulturni in verski cilji so jasni, namen pa pošten. Pavel podrobno piše o nekritičnem približevanju pisateljev k osrednjemu slovenskemu knjižnemu jeziku. Sprašuje se, ali ob avstrijskoslovenskem knjižnem jeziku obstaja še potreba po domačem prekmurskem knjižnem jeziku. Njegov odgovor je pritrديلen, saj ima prekmurski idiom številne glasoslovne značilnosti, ki se razlikujejo od avstrijskoslovenskih. Pravi, da je med prekmurskim in avstrijskoslovenskim knjižnim jezikom večja razlika kot med srbskim in hrvaškim knjižnim jezikom. (Pável 1916: 7-8) Prekmurski pisci so pisali za preprostega bralca, prav zaradi tega so vsaj deklarativno vztrajali pri ljudskem jeziku, pri „právem, sztároszlovenszkem jeziku“, njihova pisanja pa so se vedno bolj približevala osrednjemu slovenskemu knjižnemu jeziku, kar se je odražalo tudi v črkopisu. Pavel ni podpiral prehoda na gajico, ker je nov črkopis ogrožal samosvoj glasoslovni značaj prekmurskega slovenskega jezika, ki opravičuje jezik kot takega. (Pável 1916: 8) Meni, da pisatelji brez upoštevanja osnovnih značilnosti prekmurščine uvajajo nove, izumetničene in smešne oblike, ki jih ljudski jezik ne pozna: „Ne vem, ali se sodobni pisatelji zavestno postopoma in vedno bolj približujejo avstrijskoslovenskemu knjižnemu jeziku. Rad bi verjel, da to počnejo samo zato, ker nimajo jezikoslovnega predznanja, in s poštenim namenom, da bi skromen ljudski jezik obogatili, ki bi bil tako primeren tudi za doseganje višjih slovstvenih ciljev. Toda, če bodo to počeli zavestno in v vedno večjem obsegu, brez da bi podrobneje preučili ljudski jezik, bodo po nepotrebnem tvorili besede in etimologizirali, mi pa bomo upravičeno protestirali proti uničevanju, ogrožanju čistejšega in naravno lepšega ljudskega jezika starih pisateljev.” (Pável 1916: 9) Svojo misel zaključuje z naštevanjem morebitnih posledic: „Če bodo tako nadaljevali, se bodo morali kmalu odpovedati tudi svoji izhodiščni točki, in takrat se bo prekmurski knjižni jezik izmuznil s pomočjo peresa najbolj marljivih sodelavcev ali pa se bo zgubil v labirintu nekega nemogočega mešanega jezika.” (Pável 1916: 17) S tem je povedal vse: svoje mnenje o vplivu slovenskih duhovnikov, ki so prekmursko duhovščino spodbujali na prehod na osrednji knjižni jezik, o nespretnosti avtorjev, saj niso poznali ne ljudskega jezika in ne jezika starih prekmurskih pisateljev, in niso bili večči osrednjega slovenskega knjižnega jezika. Zaradi verske pristranskosti pa niso črpali iz jezika starih evangeličanskih pisateljev. Pavel je v svojem prispevku z znanstvenimi argumenti v sedemindvajsetih točkah navedel značilnosti prekmurskega knjižnega jezika, zaradi katerih se le-ta najbolj razlikuje od avstrijskega slovenskega. Pri sodobnih pisateljih je pogrešal izdelan jezikovni program in znanstveno izobrazbo, navajal je pomanjkljivosti novega knjižnega jezika, in sicer je poudarjal pomen označevanja naglase, v pravopisu je zasledil pretirano etimologiziranje, nedosledno upoštevanje glasovnih premen, uporabo dvoglasnikov in značilnih prekmurskih glasov. Priznal pa je, da so pisatelji natančnejši pri oblikoslovju in skladnji, toda tudi tam je dovolj napetosti. O prekmurskem besedju je ugotovil, da je jezikovni zaklad ljudskega jezika res skromen, in tudi prevzemanje ni vedno prava rešitev. Sodobni pisatelji so besede prevzemali iz osrednjega slovenskega knjižnega jezika, včasih tudi iz hrvaščine oziroma so nove besede tvorili s pomočjo besed ljudskega jezika. Ob prevzemanju besed pa niso upoštevali zakonitosti prekmurskega slovenskega jezika, uvajali so besede, ki niso bile razumljive za ljudi, enako pa se je dogajalo tudi s tvorbo novih besed.

Iz zgoraj navedenih Pavlovih točk je razvidno, da bi prekmurski knjižni jezik potreboval slovnico že bistveno prej, že v času Števana Küzmiča. Tako bi bilo mogoče prekmurski knjižni jezik dokončno kodificirati, toda tega kasneje tudi katoliški pisci niso storili. Dokonča kodifikacija jezika je bila v prvih dveh desetletjih 20. stoletja še aktualna, saj je Prekmurje imelo tudi jezikoslovca, ki bi lahko to nalogo strokovno opravil, toda jezikovna ideologija v tem času ni podpirala tovrstnih prizadevanj. Madžari zaradi možne madžarizacije in vendske teorije niso bili zainteresirani, da bi podprli kodifikacijo in z njo okrepili prekmurski knjižni jezik. Istega mnenja je bila tudi madžarska katoliška cerkev. Slovenska katoliška cerkev in njena duhovščina pa je prekmurske duhovnike dokaj uspešno spodbujala k združitvi z osrednjim knjižnim jezikom. Vse to pa je potekalo brez vsakršnega jezikovnega načrtovanja, brez pomoči strokovnih ustanov in virov, s pomočjo katerih bi bilo mogoče to jezikovno zblíževanje

strokovno pomagati. Pavel bi znal prekmurski knjižni jezik postaviti na odlične jezikovne strokovne temelje, znal bi kodificirati jezik, toda v teh letih za to ni bilo več potrebe, ne na eni in ne na drugi strani.

O okoliščinah nastanka slovnice

Slovnica je nastala v neugodnem času, lahko bi rekli, da je zapoznelo dejanje v razvoju prekmurskega jezika. O samem nastanku slovnice je bilo že precej napisano, znana so številna dejstva, poznamo različne interpretacije. Pavel v *Predgovoru* svoje slovnice med drugim piše naslednje: „Ko je Madžarska akademija znanosti leta 1909 izdala moje Prekmursko glasoslovje (A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana op. M. B. L.), sem takoj začel z zbiranjem gradiva za obsežno prekmursko slovnico. V mislih sem imel veliko, primerjalno slovnico za strokovnjake, v kateri bi obdelal vse različice prekmurskih narečij. Do konca leta 1916 mi je uspelo v celoti zbrati in urediti gradivo, ki pa zaradi nastalih težkih razmer ni izšlo, obsežen rokopis pa sem spravil na dnu pisalne mize. Tam je ležal skoraj 30 let. Pričujoča slovnica je izvleček iz tega gradiva, ki sem jo po naročilu prilagodil šolskim in praktičnim potrebam.”

Med opisom krutih zgodovinskih dejstev najdemo potrditev, da je Pavel načrtno, dolga leta, pripravljaval slovnico prekmurskega slovenskega jezika in ta ni nastala leta 1942 zgolj po naročilu takratnih šolskih oblasti. Pravijo, da se zgodovina ponavlja, to velja tudi v našem primeru. Károlyijeva vlada in Jászijevo ministrovanje se je leta 1919 končalo, Prekmurje je razen Porabja postalo del Jugoslavije. Pavlova prizadevanja bi lahko potem veljala za porabske Slovence, toda njihovo skromno število je odtehtalo še manj. Pavlove besede so postale čez dobrih dvajset spet aktualne in je moral delno s tistimi, ki jih je leta 1918 imenoval za nepravde Vende, sodelovati v pospeševanju pouka prekmurskega slovenskega jezika v Prekmurju.

Prekmurje so 6. aprila 1941 najprej zasedli nemški vojaki, od njih je 16. aprila oblast prevzela madžarska vojska. Guverner Miklós Horthy je ob madžarski zasedbi Prekmurja in Medžimurja izdal razglas z naslovom „Naprej do tisočletnih meja!” Uvedli so vojaško upravo, organizirali so sistem vojaške uprave, ki so ga sestavljala vojaška poveljstva na županijski ravni. Jugoslovanskim uradnim organom so prepovedovali delovanje. Osebe so delno prerazporedili na različna področja vojaških poveljstev, prednost so imeli tisti, ki so govorili slovensko. Na podlagi vojaškega povelja so med prebivalci ločili avtohtone in priseljene. Vojaško povelje je veljalo tudi za področje šolstva. Na območjih s pretežnim madžarskim prebivalstvom so morali začeti s sprotnim uvajanjem madžarskih šol, v Prekmurju so morali takoj zapreti slovenske šole, dovolili so le slovenske oddelke, če je to upravičeval sestav prebivalstva. Ukaz se je nanašal tudi na sestavo učiteljev, le-te je bilo treba izbirati med bivšimi učitelji, ki so bili odslovljeni iz šol, med upokojenimi, predvsem tistimi, ki so bili zvesti madžarski državi. (Göncz 2006: 18-21)

Že 21. maja 1941 so sklicali izredni občni zbor Madžarskega izobraževalnega društva Slovenske krajine (Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület – VMKE)¹, ki je na svoji seji 1. septembra 1941 že odločalo o pripravi in izdaji slovnice vendskega jezika. To delo je zaupalo univerzitetnemu profesorju Avgustu Pavlu in šolskemu svetovalcu Jenőju Antauerju.

V pismu Komisiji za učbenike pri Državnem svetu za javno šolstvo v Budimpešti pa med drugim navaja: „Podpisani s spoštovanjem vlagam svojo Prekmursko slovnico, ki sem jo pripravil za prekmurske šole, in sicer s prošnjo, da jo odobrite kot učbenik za prekmurske osnovne, srednje, poklicne srednje šole. Madžarsko izobraževalno društvo Slovenske krajine je jeseni 1941 prvo sprožilo vprašanje, da je treba nujno napisati in izdati prekmursko slovensko slovnico. Društvo je zaprosilo mene, sam pa sem ocenil, da zaradi morebitnih pripomb in ocen tudi njemu predložim rezultat svojega dela. Prav zaradi tega sem tri izvode rokopisa izročil vodstvu Izpostave prvostopenjske uprave za javno šolstvo, ki bo svoje pripombe na željo tvojega Visočanstva dostavilo Visoko spoštovani Komisiji za šolstvo. Po mojem skromnem mnenju bi uradni recenzenti lahko bili univerzitetni profesor dr. István Kniezsa, univerzitetni profesor dr. László Hadrovics kot poznavalca splošnega slovanskega jezikoslovja ter rektor Dominikanske teološke visoke šole dr. Domonkos Ratnik (XIV. okrožje Szent Domonkos u. 3), titularni glavni

¹ Društvo je bilo ustanovljeno 28. oktobra 1895 v Murški Soboti in je delovalo do konca prve svetovne vojne. Za predsednika društva so izvolili Nándorja Hartnerja, za podpredsednika in generalnega sekretarja Jenőja Antauerja, za častnega predsednika Sándorja Mikolo, med častnimi člani društva pa je bil tudi János Fliszár.

direktor kraljevega šolskega okrožja Sándor Mikola, zunaj Budimpešte pa papeški prelat in kanonik dr. Ferenc Rogács (Sombotel), ki je objavil številna dela v prekmurščini, in sicer kot Prekmurci in znanstveniki, ki poznajo prekmurski slovenski jezik.”

Zapisano se v glavnem ujema z odločitvijo, ki je bila izrečena na sestanku odgovornih za šolstvo. Med dokumenti, ki jih v zvezi z nastankom prekmurske slovnice hranita Arhiv županije Vas in Državni arhiv v Budimpešti, je zaslediti le Antauerjevo oceno slovnice. O ostalih ocenjevalcih ni podatkov in tudi recenzij ni bilo mogoče izslediti.

O črkopisu

Pavlova slovnica je pisana z madžarskim črkopisom, pa čeprav so prekmurski pisci in tisk na koncu devetnajstega stoletja prešli na gajico. Odgovor za tako odločitev najdemo v zadnjih vrsticah Pavlovega Predgovora: „Moja slovnica je prva uzakonitev pravil in značilnosti prekmurskega slovenskega jezika. Kar pomeni, da kot prvi poskus, ni brez napak. Strokovnjakom se opravičujem zaradi teh neizogibnih začetniških zmot in drugih nujnih nestrokovnosti.” Tudi odločitev za madžarski črkopis lahko prištejemo med nujne nestrokovnosti, ki jih razumem, kot dejanje zaradi zunanjih pritiskov, saj Pavel v pismu, ki ga je naslovil komisiji za učbenike piše: „Pri zapisu prekmurskih besed sem uporabil madžarski črkopis, toda tudi glede tega vprašanja se želim v celoti prilagoditi sklepu Visoko spoštovanega Sveta za šolstvo”.

Šolske in druge oblasti so seveda delovale načrtno tudi glede določitve črkopisa vendske slovnice, o tem priča zapisnik sestavljen na zasedanju 6. novembra 1942, na katerem so obravnavali jezikovno vprašanje Prekmurja in Medžimurja. Društvo je predlagalo, da se medžimurski hrvaški jezik zapisuje z madžarskim črkopisom, ker z gajico to ni mogoče in da so pred uvedbo gajice na hrvaškem jezikovnem območju v glavnem uporabljali madžarsko ortografijo. Menili so tudi, da bi taka odločitev imela tudi povsem praktičen razlog, saj bi se učenci tako morali naučiti le ene abecede. Na sestanku je bil tudi predstavnik ministrstva, referent za južnoslovanske zadeve, ki pa predstavnikov društva ni mogel prepričati, da je lahko uvedba madžarske ortografiji iz zunanjepolitičnih razlogov škodljiva, končno odločanje o tem vprašanju so prepustili Uradu predsednika vlade. Odločitev za madžarsko ortografijo je padla in veljala tudi za Prekmurje.

Tip slovnice

Pavlova slovnica naj bi bila namenjena madžarskim učiteljem, ki so bili napoteni v Prekmurje, in niso obvladali prekmurskega jezika. Pavel je ta prvotni namen bistveno presešel in napisal obsežno znanstveno slovnico prekmurskega knjižnega jezika. Postavlja se vprašanje, za kakšen tip slovnice se je odločil in kako mu je uspelo realizirati svoj prvotni namen. Takoj tukaj je treba postaviti tudi vprašanje, katero stanje prekmurskega jezika je ovekovečil v tej slovnici. Mnenja so glede tega različna, na podlagi celotnega gradiva in strukture slovnice je mogoče z gotovostjo zapisati, da se je Pavel odločil za opis živega prekmurskega jezika, ki se je v tistem času uporabljal v Prekmurju. Torej jezik, ki se je v času dvaindvajsetletnega sožitja z osrednjim slovenskim jezikom oplemenitil z besedami slovenskega knjižnega jezika, npr. *bolezen, očali, očale, prijateo, otrobi* itn. To se jasno vidi iz strukture slovnice in tudi iz ponazarjalnega gradiva. V celoti gledano je to sinhrona kontrastivna slovnica, ki pri opisu aktualnega stanja jezika v številnih primerih primerja s stanjem v prekmurskih govorih npr. „v nekaterih krajih se *gospon* ne sklanja (*goszpon* vucsiteli), v drugih se pravilno sklanjata obe besedi (*goszpona* vucsitela), „V ljudskem jeziku se pred *nj* pojavlja tudi predlog *zs*, npr.: *zs njive je prneszo* (z njive je prinesel).” Pogosto najdemo sklicevanje na madžarski jezik „Madžarščina ima veliko besedic splošnega pomena, kot so *bár-, vala-, akár/koli/né-*, in prav tako ima tudi prekmurščina celo vrsto nepregibnih besedic, ki se lahko povežejo skoraj z vsemi zgoraj naštetimi oziralnimi zaimki, da bi spremenili pomen.” „Tudi madžarščina rada kopiči nikalnice (*nikálnica*), (senki sem = nihče, sohasem = nikoli).” V slovnici pa so tudi mesta, ko je njen avtor med navajanjem narečnih primerov pozabil na svoj prvotni namen, in sicer na standardizacijo prekmurskega jezika. Med primeri namreč navaja vse oblike, ki se uporabljajo, ne pove pa katera naj se uporablja v knjižnem standardu. Npr. uporabljajo se dve ali tri oblike primernika npr. *nizki: nizensi, nizsejsi, nizsji, grdi: grdejši, grsi, grisi*; pravi tudi da je znanih 15 različnih oblik zaimka *jaz*; itn.

Viri Pavlove slovnice

Med viri slovnice je treba vsekakor omeniti Pavlovo Glasoslovje slovenskega narečja v Cankovi (A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana) iz leta 1909. Prav gotovo pa je uporabljal tudi madžarske slovnice, saj na številnih mestih navaja primere iz madžarskega jezika. „V tej skupini so številna imena in glagoli povezani s predlogi, besedicami, ki so identične z madžarskimi glagolskimi predponami. Te besedice so: *samostalniški prilastek* (*szamosztálniski prilásztek*; *sz. pr. v. rodilniki*) v glavnem stoji v rodilniku, največkrat se ujema z madžarskim svojilnim prilastkom; npr.: *zslíca medű* (žlica medu)“. „Pisatelji velikokrat kršijo pravilno zaporedje prilastkov, predvsem zaradi togega prevajanja madžarskih prilastkovih zvez.“

Zagotovo je poznal in uporabljal Breznikovo *Slovensko slovnico za srednje šole* (1934). Dokaz za to so sama struktura slovnice (Pavel je svojo slovnico prav tako razdelil na §, posamezna poglavja (narečja, glasoslovje, oblikoslovje, besedoslovje, skladnja) in njihova vsebina (izpeljava samostalnikov je predstavljena z isto metodo, priponami in delno istimi primeri), terminologija (podvojitve, sestava, pomenoslovje, slovniški osebki, delni rodilnik, stalna stava, naslonice) in številni primeri (primeri za podvojitve: glágol, plapolati, prepelica, prápor, veverca, mrmrati so vsi vzeti iz Breznika). Pavel pa je številna poglavja, točke zelo poglobljeno samostojno izdelal. Takšni sta poglavji o zaimkih in prislovih, v katerih predstavlja staro plast prekmurskega jezika in jo ponazarja s številnimi zanimivimi primeri. Zanimivo pa je, da se nikjer ne sklicuje na knjižno slovenščino.

O usodi slovnice

Pavel je slovnico v določenem roku dokončal, jo poslal ocenjevalcem, odločevalcem v presojo. In pri tem je ostalo. Okoliščine, ki so spodbujale vsestransko dejavnost v prekmurskem jeziku (priprava slovnice, učbenikov, slovarjev, molitvenikov, katekizmov itn.) so se počasi spremenile. Antauer je v svoji recenziji z določenimi pripombami, ki naj bi se upoštevale, pozitivno ocenil Pavlovo slovnico. V arhivskem gradivu ni mogoče zaslediti Mikolove recenzije in tudi drugih ne, če so sploh nastale. Iz različnih zapisnikov in pisem pa je jasno, da je bilo prav društvo najbolj razdeljeno. Oblasti so pričakovale odločitev društva in so sporočile, da bodo sicer odločale brez njega. „Roshóczy je György Lahmannu 05.01.1943 pisal: „Kot vidiš, je vprašanje vendske slovnice dvignilo veliko prahu, to bo trd oreh, upam, da bodo tudi tukaj sprejeli nekakšno odločitev.“². Minister za verska vprašanja in javno šolstvo je izdal uredbo na podlagi katere so odredili, da je treba v vseh ljudskih šolah, na katerih pouk ne poteka po t. i. sistemu pouka materinščine ali pa po mešanem šolskem sistemu, takoj uvesti šolski sistem po 3. členu uredbe št. 11.000/1935. To je pomenilo, da so morali govorne vaje, vaje razumevanja, branje, pisanje, petje v vseh ljudskih šolah, v katerih je pouk potekal v madžarščini (te so bile v večini, saj so se oblasti sklicevale na podatek, da se je leta 1941 67 % staršev vendske narodnosti prostovoljno odločilo za pouk v madžarščini) poučevati kot obvezni predmet, tedensko vsaj 6 ur tudi v jeziku prebivalstva. Za pouk in spoštovanje maternega jezika se je pred izdajo ministrske uredbe na seji županijskega sveta zavzela tudi znana osebnost madžarske zgodovine papeški prelat József Pehm Mindszenty. „... v duhu svetošufanske misli je treba v šoli ob državnem jeziku pot odpreti tudi materinščini... V tem trenutku temu ne moremo zadostiti, ker 65,7 % učiteljev v Prekmurju sploh ne obvlada materinščine te pokrajine ... V vsaki šoli je treba zagotoviti vsaj enega učitelja, ki govori materni jezik učencev.“³

Po izidu leta 2013 ...

Na podlagi zgoraj napisanega se lahko vprašamo, zakaj je morala slovnica 70 let čakati na objavo. To, da ni izšla med vojno, je na podlagi zgoraj napisanega razumljivo. En izvod tipkopisa je hranil tudi Pavlov prijatelj in sodelavec Vilko Novak, ki ni hotel slišati o njeni objavi, iz njegovih besed je bilo mogoče razbrati, da gre za delo, na katero slovenistična stroka gleda z nezaupanjem (Jesenšek 2015: 238) in je boljše, če še naprej ostane v tipkopisu. Marko Jesenšek se je nekaj desetletij kasneje zavzemal za objavo slovnice (Jesenšek 2011) in je šele leta 2013 dosegel, da je lahko izšla v izvirniku in prevodu v knjižno slovenščino (Pavel 2013). V knjigi so bile objavljene tudi študije o prekmurščini, Pavlu in slovnici. Po izidu je bila slovnica predstavljena strokovni in širši javnosti, kar je bilo

² AŽž. A muraszombati Közoktatásügyi Igazgatási Kirendeltség elnöki iratai 9/1943.

³ AŽž - A muraszombati Közoktatásügyi Igazgatási Kirendeltség elnöki iratai 9/1943.

desetletja zamolčano, skrito, je postalo dostopno. Kakšnih presenečenj, odzivov ni bilo, saj se je pokazalo, da v slovnici ni nič pregrešnega, separatističnega, da gre za opis prekmurskega slovenskega jezika, takšnega v kakršnega se je razvil skozi stoletja in kasneje pod vplivom slovenskega knjižnega jezika. Tudi vzorec in metoda opisovanja jezika nista bila tuja, saj se je Pavel zgledoval po Breznikovi in Janežič-Sketovi slovnici (Jesenšek 2015:)

Literatura

- Bajzek Lukač, Marija 1999: Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan). *Murkov zbornik*. Maribor, 175–190.
- , 2003: Pável Ágoston levele Jászi Oszkárhoz (Pismo Avgusta Pavla Oszkárju Jásziju). *Vasi Szemle* 2003/1, 44–47.
- , 2013: Od rokopisa do prevoda in objave Pavlove slovnice. Marko Jesenšek (ur.): *Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan*. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. 379–394.
- Breznik, Anton 1916: *Slovenska slovnica za srednje šole*, Celovec.
- Breznik, Anton 1934: *Slovenska slovnica za srednje šole*, Celje.
- Göncz, László 2006: *Felszabadulás vagy megszállás*. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet. Lendva.
- Jesenšek, Marko, 2011: Zadnji (!) zaplet pred natisom Pavlove rokopisne slovnice *Az igaz tanár üzenete – Sporočilo iskrenega učitelja*, 57–69, Szombathely
- , 2015: Pavlova prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan med Janežič-Sketovo in Breznikovo normo. *Simpozij Obdobja 34*, Ljubljana.
- Pável, Ágoston 1909: *A vashidegkuti szlovén nyelvjárás hangtana*. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, Budapest.
- , 1916: A legújabb vend irodalom nyelve. *Nyelvtudomány*. 1, 102.
- , 2013: *Prekmurska slovenska slovnica/Vend nyelvtan*. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.

Justyna Bąk

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
justynabak.historia@gmail.com

Kształtowanie pojęcia melancholii w wyobrażeniach społeczeństwa staropolskiego przełomu XVII-XVIII w. na podstawie źródeł kaznodziejskich Europy Środkowo-Wschodniej

The concept of melancholy is an issue of interest to many researchers historians, especially in Western Europe, where research on the history of mentality, examining in the context of its cultural phenomena, is currently experiencing a renaissance. In Central and Eastern Europe the issue of melancholy just recently had gone beyond the scheme of interpreting it mainly in terms of the theme of a literary or medical concepts. Melancholy should be treated as a kind of cultural phenomenon that was common to the whole European culture. Ideas of European society at the turn of the XVII and XVIII centuries were largely shaped by the preachers, who built its moral as well. The concept of melancholy in the discourse of Preachers Baroque was based largely on its medieval interpretation, in which it was seen as one of the deadly sins.

Key words: melancholy, preachers, medicine, sins, heritage, culture.

Pojęcie melancholii w historii myśli Zachodu, uległo na przestrzeni dziejów licznym przeobrażeniom. Mimo, to jednak zaobserwować możemy niesamowitą wręcz recepcję tego zjawiska, które co prawda ewoluowało, jednak przez cały okres trwania zachowało pewne stałe i niezmiennie klucze koncepcyjne. Melancholię należy rozpatrywać w kategoriach fenomenu kulturowego, ulegającego reinterpretacji i powtarzającej się interioryzacji przez kolejne generacje na przestrzeni wieków. Śledząc wyobrażenia kulturowe na temat tego zjawiska spotkamy się z pojęciem choroby melancholii, melancholijnego temperamentu, melancholii generosa, melancholii grzechu, melancholii „le sentiment habituel de Notre imperfection” (Diderot – powszednie uczucie ludzkiej niedoskonałości), choroby chronicznej (Burton), cierpienia związanego z utratą Boga (Kierkegaard), opętania smutkiem czy też wreszcie dzisiejszej depresji.

Sposób rozumienia pojęcia melancholii w kulturze staropolskiej przełomu XVII-XVIII w., zawdzięczamy szeroko rozumianej kulturze europejskiej z całym jej antycznym dziedzictwem. Historia melancholii bierze swój początek w starożytnej koncepcji teorii humoralnej, według której w przyrodzie, a co za tym idzie również w człowieku znajdować miały się cztery soki, które podporządkowane były czterem żywiołom. Każdy z tych soków przybierać miał w innej porze roku i dominować w różnych okresach życia. Pod wpływem myśli Hipokratesa, a następnie Galena koncepcja ta została połączona z typami osobowości. W przeciwieństwie do chorób wywoływanych przez inne humory, choroba melancholii dawała nie tylko objawy somatyczne, ale przede wszystkim psychiczne. Tym sposobem zatarta została granica pomiędzy stanem patologicznym, a normalnym, w której należało uznać potencjalne objawy chorobowe za rodzaj osobowości. Niemożność ujęcia melancholii w ramy pojęciowe schorzenia zainicjowało całkowitą przemianę teorii humoralnej w teorię typów charakterologicznych. Wieki późniejsze przejęły tradycję „czterech humorów”, a rehabilitacja antyku spowodowała, że ujęcie wiążące geniusz i czarną żółć wprowadziło do terminu melancholii interpretację pozytywną. Jednocześnie jednak wciąż funkcjonowały jej interpretacje negatywne wiążące ją z chorobą psychiczną oraz grzechem pierwotnym. Analiza tekstów źródłowych – jakimi są kazania epoki staropolskiej, poświadcza, iż kaznodzieje budowali wyobrażenie na temat melancholii sięgając do dorobku antyku. Doskonale orientowali się w pojęciach filozoficznych oraz medycznych, często w bardzo ciekawy sposób interpretując tę wiedzę i przekazując ją w sposób bardziej dostępny dla swych słuchaczy. Kontynuowali również zapoczątkowaną we wczesnym średniowieczu myśl o melancholii jako chorobie, będącej następstwem grzechu. Ciekawym jest więc fakt, że najstarsze korzenie melancholii, które odnajdujemy w „Iliadzie” dotyczą właśnie uczucia pychy, która doprowadziła postać Bellerofonta, pogromcę Chimery do rozpacz

Popadł on bowiem w stan dziwnego smutku. Odrzucony przez bogów, unikał towarzystwa, spędzał dni w samotności, dręczony uczuciem niepokoju.

Zainicjowany już w czasach średniowiecza pogląd jakoby choroba stanowiła następstwo grzechu, został zaadaptowany również przez kaznodziejstwo XVII-XVIII wieczne. Zepsucie ludzkiej duszy, miało objawiać się zaburzeniami somatycznymi ciała, czego efektem były różnego rodzaju dolegliwości i schorzenia. W niektórych przypadkach choroba mogła być zsyłana na człowieka przez Boga lub za jego pośrednictwem jak było to w przypadku biblijnego Hioba. Najczęściej pełniąc przy tym rolę kary i występując w skali masowej tj. zarazy bądź epidemii. Medycyna rozpoznawała dwie formy emocjonalne melancholii, które dotyczyły uczucia smutku bądź gniewu. Zwłaszcza melancholia powiązana z gniewem była postrzegana jako niebezpieczna i szczególnie groźna dla zdrowia, oraz jak nauczali kaznodzieje dla duszy człowieka. Według Ewagriusza z Pontu smutek w człowieku rodził się wówczas, gdy nie zaspokoił on swojej namiętności. Niezaspokojenie potrzeb przez które kaznodzieje rozumieli wszystko to co należało do sfery profanum (sława, majątek, uczucie) i traktowane było jako materialne i przemijalne vanitas sprowadzało na człowieka gniew i rozgoryczenie. Franciszkanin Antoni Węgrzynowicz twierdził, że człowiek gniewliwy odnosił szkodę na zdrowiu poprzez nagłe pomieszenie humorów, co było przyczyną apopleksji i paraliżów, które dysponowały go do najcięższych chorób. Podobnego zdania był inny kaznodzieja, również należący do zakonu OFM, Bazyli Rychlewicz, który powołując się na pisma Hipokratesa pisał, że jeżeli febry wynikające z udręczenia sumienia i bólów wewnętrznego nie zostały rozpędzone były bardzo niebezpieczne, i zapowiadały rychłą śmierć. Zdaniem kaznodziei serce znajdować się miało w czymś na kształt „woreczka” zwanego „błoną serdeczną” i być zatopione w wodnistych humorach. Błona ta miała zapobiegać wypadaniu serca i je podtrzymywać, ponieważ podczas jego poruszania człowiek odczuwał przykre dolegliwości. Narząd ten poruszał się zwłaszcza pod wpływem złych emocji. Kaznodzieja nauczał, że choroby serca dotyczyły przede wszystkim ludzi „kordiacznych” i „zapalczywych w gniewie”. Negatywne emocje sprawiały, że serce zbyt mocno pracowało i obracało się w błonie, wywołując dolegliwości bólowe. Obaj kaznodzieje byli zgodni co do tego, że gniew, a tym samym melancholia doprowadzały grzesznika do utraty zdrowia, zarówno fizycznego jak również psychicznego. Sposób interpretowania melancholii poprzez pryzmat wyzwalającego ją uczucia gniewu miał swój początek w przypisywanych jeszcze w starożytności schorzeniom melancholicznym rodzajom chorób, które obejmowały: fobie, paraliż, epilepsję, brawurę, wrzody i napady szału. Sposób patrzenia na chorobę poprzez pryzmat nauki Kościoła, który dopatrywał się w niej zepsucia ludzkiej duszy, co w następstwie objawiało się zaburzeniami somatycznymi ciała przetrwał praktycznie w niezmienionej formie do końca XVIII w. Na przestrzeni dziejów zwrócono uwagę na fakt, iż emocje melancholijne wyzalać mógł także miłosny afekt. „Choroba miłosna”, która zawrotną karierę rozpoczęła już w XVI wieku, znana była już w antyku, gdzie stworzony został wizerunek „chorującego na melancholię”, i który powielany był również przez kaznodziejów epoki staropolskiej. Z opisów traktatów medycznych dowiadujemy się, iż człowiek ogarnięty zawodem miłosnym stawał się apatyczny, otepiały i nieobecny. Jego ciało było coraz bardziej wątłego zdrowia. Chory odmawiał posiłków, nie sypiał, popadał w stany gorączkowe, w których majaczył i rzucał się w konwulsjach. Zdarzały się przypadki samookaleczenia, a nawet samobójstw. Bazyli Rychlewicz porównywał namiętność do szaleństwa, rozpalającego się w sercu człowieka niczym „ogień piekielny” i trawiącego go, aż do śmierci. Antonii Węgrzynowicz zwracał uwagę na to, iż namiętność sprowadzała na człowieka ogromny smutek, który był dla niego wyniszczający. Jak pisał kaznodzieja, nie kontrolował on wówczas swoich czynków, dopuszczając się wielu grzechów. Pod wpływem smutku i dręczącego sumienia grzesznik ulegający pokusie namiętności doświadczał strasznego cierpienia wewnętrznego, które często pociągało go do desperackich kroków takich jak samobójstwo.

Melancholia na przełomie XVII-XVIII wieku figurowała w kanonie siedmiu grzechów głównych pod pojęciem lenistwa. Już w czasach średniowiecza określano ją mianem „choroby mnichów”, bowiem to właśnie oni byli narażeni na ten grzech najbardziej. Acedia zobojętniała człowieka na wszelkie sprawy doczesne i prowadziła go do rozleniwienia duchowego. Kaznodzieje upatrywali w lenistwie przyczyny wszystkich innych grzechów głównych, które jak twierdził w jednym ze swych kazań karmelita Serapion Kocielkiewicz brały się z próżniactwa. Antoni Węgrzynowicz dostrzegał w acedii szczególne niebezpieczeństwo w pełnieniu przez zakonników służby Bożej.

Jak pisał, unikali oni uczestnictwa we mszach i nabożeństwach, czytania pobożnych lektur, wypełniania sakramentów oraz przydzielanych prac. Wreszcie skutek wyjałowienia duchowego zaczęli tracić wiarę i oddalali się od Boga. Jednak nie tylko zakonnicy, ale również odzegnujący się od zajęć gospodarczych i niedzielnego

uczestnictwa we mszy świętej słuchacze kazań, mogli stać się ofiarami acedii. W jednym ze swych niedzielnych kazań Bazyli Rychlewicz przestrzegając swych słuchaczy przed grzechem lenistwa, stwierdził, iż najniebezpieczniejszym dniem skłaniającym do próżnowania jest sobota. Jak wyjaśnił, sobota to dzień przyporządkowany najleniwszej i najbardziej nikczemnej planecie Saturn, która zwykła skłaniać ludzi do lenistwa, próżnowania i gnuśności. Uwikłanie się kaznodziei w wątek astrologiczny jest idealnym przykładem na wielowiekową dyfuzję tradycji chrześcijańskiej, filozofii, i nauk wyzwolonych takich jak: astrologia. Planetę Saturn trwale wiązano z melancholią. Według różnych źródeł antycznych i średniowiecznych cechy charakteru typu melancholijnego to właśnie: smutek, ospałość, podatność na choroby głowy, strachliwość, zamiłowanie do pustelnicstwa, surowość, pogarda dla siebie samego. Warto zauważyć, iż niezależnie od pierwotnego kontekstu, wątek łączący antyczne pojęcie czarnej żółci, jak również mitologicznej symboliki Saturna wpisał się na długie wieki w przestrzeń kulturową wyobrażeń europejskich na temat melancholii. Interpretacja kaznodziejska była następstwem ingerencji w te kulturowe kody, jednak dołączała jednocześnie własne, indywidualne koncepcje.

Zgodnie z wiedzą medyczną traktującą na temat teorii humorальной, kaznodzieje staropolscy traktowali melancholię jako chorobę niedosytu i nadmiaru, wynikającą z zachwiania równowagi płynów w ciele. Jeżeli w organizmie panowała harmonia i odpowiednie proporcje soków człowiek nie przejawiał żadnych problemów zdrowotnych. Jednak była to sytuacja niezwykle rzadka, bowiem każdy z typów osobowości posiadał swoje słabe punkty na mapie ciała, które co jakiś czas dotykała niemoc. Powielając starożytne zalecenia medyczne kaznodzieje w leczeniu stanów melancholijnych zalecali choremu wypoczynek, spacerowanie oraz masaże ciepłymi i wilgotnymi maściami. Dieta miała być lekkostrawna i polegać na spożywaniu wilgotnych posiłków, które nie wywoływały wzdęć i usprawniały trawienie pokarmu. Z melancholikiem należało prowadzić rozumne i przyjemne rozmowy, wystrzegając się jednak tematów smutnych, refleksyjnych oraz wzbudzających lęk. Również takich, które zmuszały chorego do zbytniego wysiłku intelektualnego. Zakonnikom, w przypadku, których melancholię rozumiano jako acedię zalecano również lekkostrawną dietę, jednak jeżeli ich stan zdrowia był stabilny wypoczynek nie był wskazany. W walce z acedią pomagać miała praca oraz modlitwa. Stopniowo zwiększana liczba zajęć i obowiązków miała wypełniać choremu cały dzień, uniemożliwiając mu w ten sposób pograżanie się w melancholijnych nastrojach. Wino oraz napary ziołowe to także w klasztorach powszechne medykamenty do walki z tą chorobą. Kaznodzieje jako szczególnie skuteczne lekarstwo na tę przypadłość zalecali pracę, która skutecznie odrywała chorego od melancholijnych nastrojów. Zalecali również wstrzeźliwość, która była niezbędna do utrzymania równowagi humorów. Przywrócenie człowieka do zdrowia wymagało cierpliwości, ponieważ nawet lekarstwo zastosowane w nadmiarze mogło spowodować reemisję choroby, a nawet pogorszyć stan chorego. W przypadku gdy dolegliwości chorobowe zaostrzały się, a on sam popadał w nastroje lękowe lub też występowały u niego ataki paniki, praktykowano zwyczaj upuszczania krwi. Jeżeli pomimo zastosowania wszystkich znanych środków choroba postępowała, a on sam popadał w obłąd poddawano go egzorcyzmom.

Pojęcie melancholii w kulturze doby staropolskiej skonstruowane było przede wszystkim na podstawie wyobrażeń świata antycznego i przeniesione zostało w takiej formie przez kaznodziejów do tekstów pisanych. Kaznodzieje rozpoznawali dwie formy melancholii, oscylujących wokół emocji gniewu oraz smutku. W swoich kazaniach konstruowali zazwyczaj obraz melancholii jako choroby toczącej ciało i umysł grzesznego człowieka. Melancholia, tak jak każde inne schorzenie traktowana była jako choroba wynikająca z niedosytu lub nadmiaru odpowiadających temperamentowi humorów. W ten sposób nadmiar krwi czynił człowieka skłonny do nieczystości, nadmiar żółci do gniewu, a żółci czarnej do smutku. Spośród wszystkich zalecanych przez kaznodziejów środków przeciwdziałającym chorobie melancholii, najistotniejszym wydaje się być cnota umiarkowania oraz wstrzeźliwości, które chroniły człowieka przed uwikłaniem się w grzech, a tym samym pozwalały zachować równowagę płynów w organizmie. W procesie rekonwalescencji odgrywały one podobną rolę, przeciwstawiając się skrajnie negatywnym stanom emocjonalnym, gdzie poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę i czynności służące samodoskonaleniu się, przywracały wewnętrzną harmonię.

Bibliography

Sources:

Kocielkowicz, Serapion, (1689), *Kazania niedzielne*, Kraków.

Rychlewicz, Bazyl, (1698), *Kazania poczynszy od Adwentu aż do Wielkieynocy*, Kraków.

Węgrzynowicz, Antoni (1708), *Kazań niedzielnych księga pierwsza, to jest siedm trąb z Objawieniem Jana Świętego przeciwko siedmiom głównym grzechom napisane*, Kraków.

Literature:

Delumeau, Jean (1994), *Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w.*, Warszawa, PAX, Volumen

Goliński, Janusz (2002), *Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu*, Bydgoszcz, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej

Klibansky, Raymond, Panofsky Erwin, Saxl Fritz (2012), *Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki.*, Kraków, Universitas

Szumowski, Władysław (1961), *Historia medycyny*, Warszawa, Marek Derewiecki

Tessore, Dag (2009), *Siedem grzechów głównych*, Warszawa, Nukat

Zdrenka, Marcin (2012) *O gnuśności*, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK

Elżbieta Benkowska

University of Gdańsk, Gdańsk, Poland
ebenkowska@gmail.com

Derby – sportowe widowisko czy wojny chuliganów? Analiza i porównanie derbów belgradzkich z trójmiejskimi

Football derbies are matches, to which all fans anxiously waiting, because they provide the most excitement. In the Balkans the biggest commotion cause „Bečumu depeu” (‘eternal derby’) – a match between the two arch-rival FC Partizan Belgrade and FC Red Star Belgrade. My heartbeats the strongest when Lechia Gdańsk plays with Arka Gdynia. Both in Poland and Serbia this football festivals often turns into a war of hooligans. In this paper I analyze the selected football chants and I examine the similarities and differences between Belgrade and Tri city derbies.

Keywords: football, derby, Lechia Gdańsk, Partizan, Crvena Zvezda, Arka Gdynia, Belgrade

Piłkarskie derby to mecze, na które wszyscy kibice niecierpliwie czekają, gdyż dostarczają najwięcej emocji. Wielu fanów futbolu elektryzuje wieść o zbliżającym się hiszpańskim *El clásico* – spotkaniu pomiędzy klubami: *Real Madryt* i *FC Barcelona*, niemniej widowiskowe są angielskie derby Manchesteru (*FC Manchester City–FC Manchester United*) czy północnego Londynu (*FC Arsenal Londyn–FC Tottenham Hotspur*). Argentynscy kibice emocjonują się meczem, w którym rywalizują zawodnicy *Boca Juniors* i *River Plate*, czyli tak zwanym *Superclásico*, natomiast brazylijscy fani mają swoje *Fla-Flu*, tj. rozgrywki pomiędzy *Clube de Regatas do Flamengo* a *Fluminense FC*. Na Bałkanach największe poruszenie wywołują *Bečumu depeu* (‘wieczne derby’) – bezpośrednie starcie między piłkarzami *FK Partizana Belgrad* i *FK Crvene Zvezdy Belgrad*. Moje serce zaś bije mocniej kiedy zawodnicy *Lechii Gdańsk* mierzą się z tymi grającymi dla *Arki Gdynia*. Zarówno w Polsce jak i w Serbii to piłkarskie święto często zmienia się w wojnę chuliganów. W dalszej części tegoż referatu przeanalizuję wybrane przyspiewki (zachowując oryginalną pisownię) kibiców *Arki Gdynia*, *Lechii Gdańsk*, *Crvene Zvezdy Belgrad* oraz *Partizana Belgrad*, a także przedstawię podobieństwa oraz różnice między derbami trójmiejskimi a belgradzkimi badając i porównując towarzyszące tym meczom zwyczaje.

1. Znaczenie leksemu *derby*

Mały słownik języka polskiego pod red. Elżbiety Sobol odnotowuje dwa znaczenia rzeczownika *derby*:

1. wielka coroczna gonitwa dla trzyletnich koni na wyścigach konnych. 2. mecz dwóch lokalnych drużyn traktowany niezależnie od rangi (towarzyski, mistrzowski) jako rywalizacja o pierwszeństwo w danej miejscowości (Sobol 1997:127).

Użytkownicy języka polskiego zapewne nie raz spotkali się dwojaką odmianą tegoż leksemu nie wiedząc czy prawidłową formą jest ta nieodmienna czy odmienna, ale nieposiadająca liczby pojedynczej. W swej internetowej poradni językowej Maciej Malinowski wyjaśnia, iż deklinacja lub jej brak w wypadku leksemu *derby* uzależniona jest od użytego znaczenia. W roku 1780 lord Derby zapoczątkował gonitwę trzyletnich koni na dystansie półtorej mili, która do dziś odbywa się co roku zwykle w pierwszą środę czerwca i od jego nazwiska zaczerpnęła swą nazwę. Z czasem tego rodzaju wyścigi stały się popularne również w innych krajach. W tym właśnie znaczeniu rzeczownik *derby* został zaadaptowany przez język polski tak samo jak nieodmienne *rugby*, *party* otrzymując nijaki rodzaj gramatyczny, np. *W tradycyjnym derby w Anglii zwyciężyła klacz...*(Malinowski, dostęp on-line 30.06.16 r: <http://obcyyjezykpolski.pl/to-czy-te-derby/>). Natomiast *derby* w znaczeniu ‘mecz między dwoma lokalnymi drużynami’ posiada zupełnie inną etymologię i leksem ten należy łączyć z nazwą małego angielskiego miasta *Derby* (w hrabstwie Derbyshire), gdzie już w 1884 r. powstał *Derby County Football Club*. W tej samej miejscowości działał również *Derby Midland Football Club* i często dochodziło do rywalizacji między obydwu drużynami. Później połączyły się one tworząc jeden klub *Derby County F.C.*, który zaczął rywalizować z klubem –

z innego pobliskiego miasta – *Nottingham Forest*. Wraz z upływem czasu doroczne mecze między tymi drużynami zaczęto nazywać *East Midlands Derby*. Od tego właśnie określenia (a może także częściowo od XIX-wiecznego zwyczaju rozgrywania spotkań pomiędzy klubami *Derby County* i *Derby Midland*) słowem *derby* nazwano później każdy mecz piłkarski dwóch lokalnych drużyn i w tym znaczeniu należy leksem ten w języku polskim odmieniać, np. *W derbach Warszawy zwyciężyła...* (Malinowski, dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://obcyjezykpolski.pl/to-czy-te-derby/>).

Referat ten poświęcam badaniu meczów pomiędzy wybranymi polskimi i serbskimi klubami piłkarskimi, dlatego też rzeczownika *derby* używać będę w znaczeniu ‘mecz dwóch lokalnych drużyn’ i zgodnej z tym znaczeniem odmiany.

2. *Bečumu depōu* czyli rywalizacja pomiędzy klubami *Partizan Belgrad* i *Crvena Zvezda Belgrad*

Oba belgradzkie kluby powstały w roku 1945, a pierwszy mecz pomiędzy nimi rozegrano dwa lata później, dokładnie 5 stycznia 1947 roku (*Partizan* 3:4 *Crvena Zvezda*), ostatni zaś 23 lutego 2016 roku (*Partizan* 1:2 *Crvena Zvezda*). Przez prawie 70 lat doszło do 150 bezpośrednich starć między piłkarzami obydwu drużyn, w tym 62 skończyły się zwycięstwem *Crvene Zvezdy*, 44 – *Partizana*, a w 44 padł remis. Co ciekawe prawie połowa Serbów (48,2%) deklaruje swoją sympatię klubowi *Crvena Zvezda*, zaś tylko 32, 3% kibicuje *Partizanowi*. Pikanterii tej rywalizacji dodaje fakt, iż oba stadiony dzieli jedynie 750 metrów, a najwyższa odnotowana frekwencja w historii to 108 tysięcy widzów (Srpskiderbi, dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://www.srpskiderbi.com/>). Równie interesująca i emocjonująca jest rywalizacja odbywająca się na trybunach pomiędzy *Grobari* – kibicami *Partizana Belgrad*, a *Delije* – fanami *Crvene Zvezdy*. Dużą część kibicowskiej twórczości stanowią flagi, naklejki, a także przysiężki obrażające rywala, jak na przykład ta autorstwa kibiców *Partizana*:

Moj druzesasevera,
Srescemose na ulici,
Ja cutebeudariti
I pickutipolomiti.

Al' meni ce bitizao,
Sto sam druga udario,
I picku mu polomio.
O tako sam srecanbio.

Ti me necesprepoznati
ali ces me zapamtiti
a ja opetkad te sretnem
pickucutipolomiti;

(*Partizan.net*, dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://partizan.net/pesme/romske.htm>)

Utwór ten zawiera trzy kwadryny napisane ósmiozłogłosem i nieregularne rymy. Podmiot liryczny kibica *Crvene Zvezdy* ironicznie nazywa swoim przyjacielem (*mojdruze*), którego chwilę później feminizuje, tj. przypisuje mu żeńskie narządy płciowe (*pickutipolomiti*). Celem tego środka stylistycznego jest osłabienie rywala poprzez werbalną kastrację, tym samym odebranie męskich narządów rozrodczych, które są symbolem siły. Co więcej liryczne „ja” zamierza połamać tę część ciała swojego wroga i grozi, że będzie robił to za każdym razem gdy spotka swego nieprzyjaciela. *Delijenie* nie pozostają jednak dłużni i też tworzą wiele utworów poświęconych swoim przeciwnikom, jak chociażby:

Mu, mu, mu, av, av, av, ceojug sad navija
i slusajuvodju, majmuna Samija
kenguri, medvedi, tapiri i dabrovi
u zooloskomvrtusvisugrobari.

(*Delije*, dostęp on-line 30.06.2016 r.: http://www.oaza.rs/sport/delije/index.php?page_id=307&lang_id=1)

Przyśpiewka ta oparta jest na jednym środku stylistycznym – animizacji, zaczyna się od onomatopei naśladujących dźwięki krowy i psa, które zamiast dopingu mają z siebie wydawać kibice *Partizana* pod wodzą Samija, nazwanego tu małpą. Ciekawym jest też fakt, iż autorzy tego tekstu nie porównują *Grobary* z byle jakimi zwierzętami, tylko z tymi zamkniętymi w ogrodzie zoologicznym, co ma tylko jeszcze bardziej ich osłabić. Ponadto obrażają ich bez użycia wulgaryzmów.

Po rozpadzie Jugosławii, a także odłączeniu się Czarnogóry od Serbii wielka jugosłowiańska liga podzieliła się na kilka mniejszych, których poziom nie jest zbyt wysoki. Serbska Superliga słynie obecnie bardziej z rywalizacji między belgradzkimi kibicami, niż z poziomu sportowego. Świadczą o tym liczne teksty poświęcone tym spotkaniom nie tylko w polskiej, lecz również w brytyjskiej prasie Jakub Olkiewicz w artykule *Lepsze od Gran Derbi – za nami 141. wieczne derby Belgradu* (dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://weszlo.com/2011/12/15/lepsze-od-gran-derbi-za-nami-141-wieczne-derby-belgradu/>) pisze, iż wśród serbskich kibiców nie ma tak wyraźnego podziału na *ultrasów* (kibiców przygotowujących meczowe oprawy) i *chuliganów* (bojówki kibicowskie) jak w Polsce. *Grobarii Delije* słyną ze swojego fanatyzmu oraz brutalności, a ich spotkania przybierają często przestępczy, a nawet śmiertelny wymiar. W roku 2000 na boisku *Crveneje Zvezdy* doszło do zamieszek między pseudokibicami obu klubów, w którym nożem zraniono trenera *Partizana*, zaś podczas derbów w roku 2009 *Grobary* rzucili racę, przez którą zginął kibic *Zvezdy* o czym pisze Paweł Jagiełło w artykule *Serbska scena Ultras. Delije, Grobary i inni* (dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://www.gol24.pl/galeria/a/serbska-scena-ultras-delije-grobary-i-inni-galeria,9626996/>).

3. Debry Trójmiasta – *Arka Gdynia* kontra *Lechia Gdańsk*

Gdańsk, Gdynia, Sopot tworzą Trójmiasto, w którym dwoma najsilniejszymi klubami piłkarskimi są: *Lechia Gdańsk* oraz *Arka Gdynia*. Mecze rozgrywane między tymi drużynami noszą miano derbów, pomimo tego, iż w każdym z tych miast istnieją inne kluby takie jak: *Polonia Gdańsk* czy *Baltyk Gdynia*. Ich pozycja w rozgrywkach ligowych od wielu lat jest dość słaba, przez co nie mają zbyt wielu fanów. Pierwsze derby Trójmiasta odbyły się na szczelbu ówczesnej II ligi 2 września 1964 roku, *Lechia* wygrała z *Arką* u siebie 2:1 (*Arka Gdynia* dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://www.arka.gdynia.pl/news,7313-derby-%20trojmiasta-do-%206-razy-%20sztuka.html>). Ostatni mecz między tymi drużynami rozegrano w Gdyni 1 maja 2011 roku i zakończył się on remisem 2:2 (90 minut dostęp on-line 30.06.16 r.: http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=695205). W tamtym sezonie klub Gdyni spadł do I ligi i przez kolejne pięć lat oba trójmiejskie kluby nie spotkały się w żadnych rozgrywkach. Najbliższe derby odbędą się w sezonie 2016/17, gdyż *Arka* awansowała z powrotem do Ekstraklasy. Przez te 52 lata odbyło się 37 meczów derbowych, z czego 13 razy tryumfowała *Arka Gdynia*, 12 – *Lechia Gdańsk*, padło także 12 remisów.

Trójmiejscy kibice, tak samo jak belgradzcy tworzą przyśpiewki o swoich rywalach, dobrym przykładem będzie tekst *Lechistów*, w którym mitologizują wydarzenia z derbów z 1984 roku:

Dwudziestego czerwca roku pamiętnego
wróg napadł na Arkę z grodu sąsiedniego.
Ławki połamali, flagi popalili,
to młodzi Lechiści górkę rozpiździli.
Cała Arka płonie,
cała Arka gaśnie,
miłość do Lechijki
nigdy nie zagaśnie.

(*Lechia.net*, dostęp on-line 30.06.16 r.: <https://lechia.net/strefa-fana/inne/spiewnik>)

Na prawie każdym stadionie istnieje taka trybuna, z której piłkarzy dopingują najbardziej zagorzali kibice, takim sektorem *dla Arkowców* była tzw. *górką* (nazwa zaczerpnięta od charakterystycznego ukształtowania terenu). Podczas meczu 20 czerwca 1984 roku kibice *Lechii* wbiegli na *górkę* i przepędzili z niej kibiców *Arki*, co w środowisku kibicowskim uznać można za wielkie zhańbienie. Na cześć tego wydarzenia fani *Biało-zielonych* stworzyli ten utwór, który nie tyle ma obrażać fanów z Gdyni co budować mit *Lechistów* i jednoczyć ich. O tym jak

ważna dla kibiców *Arki* jest *górką* świadczy chociażby to, że dzięki ich staraniom trybuna ta została uznana za obiekt historyczny i znajduje się pod opieką konserwatora zabytków (Arkowcy, dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://www.arkowcy.pl/arttykul/6788/gorka-przy-ejsmonda-obiektem-historycznym-pod-ochrona-konserwatora.html>). Gdynianie w swojej twórczości również posiadają utwory poświęcone *Lechistom*. Ciekawym przykładem jest przyspiewka, która śpiewana jest na melodię kolędy *Wśród nocnej ciszy*:

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie Arkowcy, Lechia nadchodzi
Weźcie pałki, weźcie noże
Lechia ku**a żyć nie może
Wedle rozkazu
Poszli znaleźli Lechię na strychu
Wpi**dol spuścili, zesli po cichu
Gdyby Lechia nie skakała
To by wpi**dol nie dostała
Wedle rozkazu

(Arkowcy, dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://www.arkowcy.pl/arttykul/49/spiewnik-kibica.html>)

Utwór ten określiłabym mianem klasycznego przykładu kibicowskiej przyspiewki, gdyż jest oparty na melodii powszechnie znanego utworu, którego tekst łatwo sparafrazować, zawiera groźby i jest wezwaniem do walki. Przeróbki tej kolędy znajdują się również w repertuarze fanów innych polskich klubów: *Legii Warszawa*, *Cracovii Kraków*, a także *Lechii Gdańsk*.

Derby Trójmiasta mają charakter ściśle lokalny, ich sława nie przenosi się poza granicę Polski. Dotychczas nie rozegrano też zbyt wielu spotkań pomiędzy klubami, ze względu na to, iż rzadko grają w tej samej lidze. To zaś doprowadziło do powstania tzw. *małych derbów* czyli spotkań drugich drużyn *Lechii* i *Arki* w III lidze lub zespołów juniorskich. Kibice *Arki* jeżdżą do Gdańska również na mecze drużyn *Wielkiej Triady* (przyjaźń zawiązana pomiędzy kibicami *Arki Gdynia*, *Lecha Poznań* i *Cracovii Kraków*), zaś gdańszczanie wspierają *Trzech Królów Wielkich Miast* (pakt przyjaźni pomiędzy fanami *Lechii Gdańsk*, *Śląska Wrocław* i *Wisły Kraków*) w Gdyni. Mecze te przez ostatnie 5 lat trójmiejscy kibice traktowali jako namiastkę derbów. Starcia między kibicami *Lechii* i *Arki*, nie są aż tak brutalne jak belgradzkie. Do tej pory nie znalazłam żadnej informacji o ofiarach śmiertelnych. Wynika to zapewne z wyraźnego podziału na kibiców, którzy organizują doping na meczu (tzw. *ultrasi* np. *Lwy Północycy Ultras Arka '09*) oraz na tych, którzy lubią się bić, tj. chuliganów np. *Chuligani Wolnego Miasta* czy *Młoda Arka*. Dzięki temu podziałowi bijatyki zostały przeniesione poza stadiony.

4. Derby belgradzkie a trójmiejskie – różnice i podobieństwa

Skala *wiecznych derbów* jest nieporównywalnie większa, nie chodzi tylko o poziom reprezentowany przez kluby, liczbę spotkań, ogólnoświatową sławę, ale też o stopień niebezpieczeństwa. Wpływ na to ma nie tylko narodowa mentalność, ale też fakt, iż Gdańsk i Gdynia to dwa odrębne miasta, dzięki czemu rzadko dochodzi do przypadkowych starć kibiców. Niemniej jednak zarówno derby Trójmiasta, jak i te Belgradu objęte są ścisłą ochroną policji, której głównym zadaniem jest uniemożliwienie bezpośredniego spotkania zwaśnionym grupom kibiców. Na mecze te przygotowywane są największe i najbardziej spektakularne oprawy meczowe, w tym: *sektorówki* (wielkie flagi przykrywające cały sektor), *racowiska* (duża ilość rac rozmieszczona na całej trybunie odpalana w tym samym momencie), transparenty, flagi, skomplikowane układy choreograficzne. Najważniejsze jest jednak to, iż derby Belgradu stanowią inspiracje dla wielu polskich kibiców, w tym też miłośników *Lechii Gdańsk* i *Arki Gdynia*, którzy jeżdżą do Serbii, by móc uczestniczyć w tym widowisku i na własnej skórze poczuć atmosferę rywalizacji między *Grobari*, a *Delije*.

Bibliografia

Mały słownik języka polskiego (1997), pod red. Elżbiety Sobol, Warszawa, PWN

Źródła internetowe:

Jagiello, Paweł (2012), *Serbska scena Ultras. Delije, Grobari i inni*, dostęp on-line 30.06.16 r.:

<http://www.gol24.pl/galeria/a/serbska-scena-ultras-delije-grobari-i-inni-galeria.9626996/>.

Malinowski, Maciej (2003), *(To) czy (te) derby?*, *Obcy język polski*, dostęp on-line 30.06.2016 r: <http://obcyjezykpolski.pl/to-czy-te-derby/>.

Olkiewicz, Jakub (2011), *Lepsze od Gran Derbi – za nami 141. wieczne derby Belgradu*, dostęp on-line 30.06.16 r.:

<http://weszlo.com/2011/12/15/lepsze-od-gran-derbi-za-nami-141-wieczne-derby-belgradu/>

Rybiński, Tomasz, Arkadiusz Skubek, Witczak Maciej (2011), *Derby Trójmiasta. Do 6. razy sztuka?*, dostęp on-line 30.06.16 r.:

<http://www.arka.gdynia.pl/news.7313-derby-%20trojmiasta-do-%206-razy-%20sztuka.html>.

Źródła internetowe anonimowe:

Srpskiderbi, dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://www.srpskiderbi.com/>

Arkowcy, *Górka przy Ejsmonda obiektem historycznym pod ochroną konserwatora* (2014), dostęp on-line 30.06.16 r.:

<http://www.arkowcy.pl/artyku/6788/gorka-przy-ejsmonda-obiektem-historycznym-pod-ochrona-konserwatora.html>);

Śpiewnik kibica (2008), dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://www.arkowcy.pl/artyku/49/spiewnik-kibica.html>.

Partizan.net, *Anti-romske*, dostęp on-line 30.06.16 r.: <http://partizan.net/pesme/romske.htm>

Delije, *Tekstovipesmama*, dostęp on-line 30.06.16 r.: http://www.oaza.rs/sport/delije/index.php?page_id=307&lang_id=1

Lechia.net, *Śpiewnik* (2009), dostęp on-line 30.06.16 r: <https://lechia.net/strefa-fana/inne/spiewnik>.

90minut, *Arka Gdynia 2:2 Lechia Gdańsk*, dostęp on-line 30.06.16 r.: http://www.90minut.pl/mecz.php?id_mecz=695205

Polina Bogatova

Department of East European Studies of the Faculty of Arts, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic
polbogatova@gmail.com

Стилистическая и поэтическая функции каламбуров в художественной литературе и их перевод с русского языка на чешский

The purpose of this study is to clarify the term "pun", relying on researches of the Russian and western scientists. Practical analysis of using strategies for translating pun was conducted in terms of the spectrum of its functionality in literature. At the same time the analysis takes into account the peculiarities of the translation of puns.

The result of this study is the fact that the translation of puns at the same time considered all the features of some puns, its purpose in the context and all possible versions of translation.

Keywords: pun, translation, Russian, Czech

Для расширения представления о каламбуре и о сложности его перевода следует разобрать виды каламбура в зависимости от принципов его построения и создания, а также от его роли, особенно в художественной литературе. Классификации, представленные в настоящем исследовании, созданы на основе изученных материалов по теории перевода из списка использованной литературы с приведением примеров из переводов.

Из-за масштабности явления языковой игры в данной работе было дано теоретическое объяснение данного явления, опираясь на исследования российских и западных ученых, а также проведен практический анализ использования и перевода каламбура в плане спектра его функциональных возможностей в художественной литературе.

О проблемах перевода каламбуров встречаются заметки в работах и исследованиях некоторых переводчиков-теоретиков и практиков, таких как Николай Любимов (1982), Питер Ньюмарк (1988), Нора Галь (2001) и других.

Главная задача каламбура, — не только комический эффект или сатирический смысл, но и определенная поэтизация, то есть приукрашивание текста. Задача каламбура — сосредоточить внимание читателя на определенном пункте текста. При этом переводчик должен следовать комизму исходного текста— от невинной шутки до тонкой иронии или резкой сатиры.

Существуют каламбуры, основанные на: омонимии (с омонимической, омофонической, омографической основой); паронимии и созвучии; ложной этимологии; полисемии; авторском переосмыслении фразеологизмов и устойчивых выражений. В принципе, суть и комический эффект каламбура состоит в совмещении как минимум двух смыслов (Виноградов 2001: 199-200).

Как известно, при переводе имен собственных одним из главных моментов является вопрос о варианте перевода самого имени — нужно ли его транскрибировать или лучше переводить? Все обстоит гораздо сложнее с так называемой «аллюзией», в которой присутствует перевод-передача с культуры на культуру. Основная задача переводчика в таких случаях усложняется, так как эти имена собственные нуждаются в таком переводе, при котором читатель имел бы возможность почувствовать как назывное, так и семантическое значение оригинала. Проблематика перевода имен собственных и каламбуров очень близки. Как и в случаях с именами собственными, у переводчика редко получается добиться единственно верного перевода каламбура. Часто необходимо изменять содержание на новое, если нет возможности сохранить старое, так как общий план выражения может оказаться важнее плана содержания.

Переводчик, передающий на свой родной язык каламбур, подчиняется практически сверхзадаче, которую хорошо выделил Н. Любимов (1982: 245): «Если каламбур имеет совершенно определенный социально-политический адрес, если он имеет идейное значение, переводчику надлежит напрячь все усилия и передать его

с художественной точностью. Там, где присутствует чисто звуковая игра, переводчик вправе отступить от буквы оригинала, если иначе ему не создать того самого комического эффекта, которого добивался автор». Британский теоретик перевода Питер Ньюмарк (Newmark 1988: 211) в своей работе «Практика перевода» (A Textbook of Translation) предлагает четыре решения для перевода каламбура:

- для сохранения юмористической стороны текста каламбур из исходного языка (ИЯ) может быть компенсирован близким по смыслу каламбуром из языка перевода (ПЯ);
- в поэзии каламбуры обычно не переводятся из-за сложности их передачи;
- в случае, если важны оба значения каламбура в ИЯ, то они могут быть переведены с помощью абсурдных или нелепых образов;
- в случае, если каламбуры используются для того, чтобы показать гибкость языка, а подтекст является более важной составляющей каламбура, чем юмор, то оба значения должны быть переведены и объяснены.

Изначально ошибки в передаче каламбура могут содержаться в лексике, которая незнакома читателю, прием компенсации чаще всего используется для передачи каламбура на уровне всего текста, чаще всего прозаического. При переводе может исчезать особая атмосфера, присущая оригиналу – компенсировать это способен вольный перевод, который нередко искажает смысл произведения, но все же имеет место быть. Каламбур ИЯ может быть переведен аналогичным каламбуром ПЯ, или же, если ситуация этого не позволяет, решением может быть дословный перевод, перевод калькой или перевод методом компенсации. При переводе следует учесть все особенности каламбура, его цель в контексте, все возможные переводы, а затем попытаться найти такой вариант перевода, который бы больше других подходил для передачи данной игры слов (Комиссаров 1990:84, 99-100, 172-174).

Существуют определенные стилистические требования, которым должен отвечать перевод, т. е. нормативные правила, характеризующие тексты аналогичного типа в языке перевода. К этим требованиям можно отнести:

- смысловое соответствие;
- «грамотность» – грамматические ошибки, ошибки в произношении и т.д., однако в некоторых случаях грамматические ошибки могут являться каламбуром *Наверно, с течением дней //Я стану еще одной* (Евтушенко);
- лексическое и стилистическое соответствие.

Полисемический каламбур часто встречается у Маяковского. Переводчик Иржи Тауфер (Jiří Tauer 1950) в случае со стихотворением «Необычайное приключение» (Neobyčejné dobrodružství (Tauer 1950: 195)) решает не переводить игру слов:

Я крикнул солнцу:	Na slunce zahoukal jsem:
«Погоди!	„Hej,
послушай, златолобо,	poslyš, ty zlatohlavé!
чем так,	Maříš-li čas už,
без дела заходить,	nemeškej,
ко мне	přijď na čaj, vařím právě!“
на чай зашло бы!»	

В стихотворении «Раньше» (Kdysi (Tauer 1950: 206)) присутствует омонимический каламбур. Схожесть русского и чешского языков позволила переводчику его сохранить:

«Мы победим!» —	Říkali jsme:
говорили мы.	— My zvítězíme! —
«Утопия! —	— Utopie! —
говорила буржуазия. —	Říkali měšťáci. — Uvidíme!
В порошок сотру,	Naděláme z vás pilin,
лень только нагибаться до пола!»	jen se opovažte ustat v píli! —

А через несколько времени
в утопии и утопла.

Ale za nějaký čas
se v utopii
utopili.

На наш взгляд, самой интересной и сложной для перевода является игра слов, основанная на историко-культурном контексте. Например, в поэме «Хорошо! Октябрьская поэма» (Správná věc! Poéma o Říjnu (Taufel 1950: 624)) Маяковский использует сходство имени-отчества жены последнего русского Императора Николая II Императрицы Александры Федоровны с именем Александра Федоровича Керенского – председателя Временного правительства. Переводчик сохранил смысл, немного изменив действие:

С а м
приехал,
в пальтишке рваном, –
ходит,
никем не опознан.

Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра –
поздно.
Завтра, значит.
Ну, не сдобровать им!

Быть
Керенскому
биту и ободрану!

Уж мы
подыдем
с царевой кровати
эту
самую
Александрю Федоровну.

Lenin –
sám přišel.
V zimáčku rozervaném.
A přece
nevyčihli ho zde.
Dnes –
říká –
je brzo.
Nepovstanem.
Ale pozitří –
je pozdě.
Tak tedy – zítra.
Však
přejde je veselí!
S Kerenským
se vyrovnáme
rovnou.

Však my si
přijdem už
k carově posteli
promluvit
s touhleťou
Alexandrou Fjodorovnou!

Подводя итог, хотелось бы отметить, что только взвесив весь потенциал перевода каламбура, переводчик выбирает вариант, предоставляющий определенные преимущества, и, как ни странно, этот вариант может заметно отличаться от изначального авторского употребления каламбура. Если же каламбур необходимо передать в любом случае, но контекст ИЯ не переводится полностью, то лучше постараться хоть как-нибудь подсказать или пересказать читателю каламбурную сущность подлинника.

Можно добавить, что в большинстве случаев, особенно если невозможно путем дословного перевода достаточно ясно передать каламбур, переводчик создает собственную игру слов, иногда на совсем другой основе и с помощью других средств выразительности, чем автор. С чем мы и сталкиваемся в повести А. И. Куприна «Поединок». Один из персонажей, реагируя на слова героя, подпоручика Ромашова, изобретает фонетический каламбур:

Ему хотелось сказать: «Прощайте, учитель», но он застыдил фразы и только прибавил с натянутой шуткой:

— Почему – прощайте? Почему не *до свидания*?

Назанский засмеялся жутким, бессмысленным, неожиданным смехом.

— А почему не *досвишвеция*? — крикнул он диким голосом сумасшедшего.

И Ромашов почувствовал на всем своем теле дрожащие волны ужаса.

Переводчица Зденька Пшуткова (Pšůtková 1967: 241) создала свой каламбур, выбрав для него строчку из песни чешской кантри-группы К.Т.О. *Plácek vo údolí* (1963):

Chtěl poděkovat za radu, ale zastyděl se fráze a s falešnou žertovností dodal:

„Proč sbohem? Proč ne na shledanou?“

Nazanskij se náhle zasmál příšerným smíchem.

„А proč не: **Bud'te zdrav jako páv!**“ vyjekl divoце.

Romašov cítil, jak mu po celém těle přeběhla vlna hrůzy.

Литература

Виноградов, Венедикт (2001), *Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы)*. М.: Издательство института общего среднего образования РАО

Галь, Нора (2001), *Слово живое и мертвое: От «Маленького принца» до «Корабля дураков»*. М.: Международные отношения

Комиссаров, Вилен (1990), *Теория перевода (лингвистические аспекты)*. М.: Высшая школа

Любимов, Николай (1982), *Перевод — искусство*. М.: Советская Россия

Kuprin, Alexandr (1967), *Souboj* : přeložila Zdeňka Psůtková. Praha: Naše vojsko

Маяковский, Владимир (1950), *Zdila / Vladimír Majakovskij* : přeložil Jiří Taufer. Praha: Svoboda

Newmark, Peter (1988), *A Textbook of Translation*. New York: Prentice Hall

Paweł Borowy

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław University)
pawel_borowy@op.pl

Dwór Zygmunta III w świetle wybranych relacji poselstw dyplomatycznych Struktura dworu i dworzanie

The main purpose of this work is description the royal court of Sigismund III Vasa in opinion foreign diplomacy in years 1587-1632. In this essay you will find description of ordinary life on royal court, members of Vasa family, servants, most important nobelmans in Polish-Lithuanian Commonwealth. I want focus on cultural clash between Sigismund III, who was born in Kingdom of Sweden, and his subjects, who's lived in different, polish-lithunian (or generally slavic) culture.

Moreover in essay I will describe royal celebrations like childbirth, baptize, weddings, funerals. Sigismunds III was one of the most interesting king in polish history, his court was example of baroque style, but with polish (sarmatian) influence.

Key words: Royal Court, Sigismund III Vasa, Polish-Lithuanian Commonwealth, Vasa dynasty, Vasa familii, foreign diplomacy

Na dworze przebywało od trzystu do czterystu osób, nie wliczając w to fraucymeru królowych, który liczył około stu pięćdziesięciu osób i często zmieniających swoją liczbę dworzan królewiczów. Dodatkowo przy królu przebywała gwardia królewska licząca pięciuset jeden żołnierzy, oraz sześciuset gwardzistów, którzy czuwali nad rodziną Wazów. Ich ilość również musiała być zmienna, gdyż w wojnie polsko-szwedzkiej (1600-1611) uczestniczyło tysiąc gwardzistów królewskich.

Za organizację dworu odpowiadał marszałek wielki koronny i jego zastępca, marszałek nadworny, jednak pełnili oni również inne funkcje publiczne, więc rzadko bywali na Zamku. Na co dzień ich obowiązki wypełniał ochmistrz (analogicznie nad fraucymerem królowej czuwała ochmistrzyni), zwany też podkomorzym nadwornym. Za czasów Zygmunta podkomorzy, podobnie jak jego hiszpański odpowiednik, zaczął nosić poślaczany klucz u pasa.

Zasadniczo dworzan można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich stanowili dworzanie nie stali, zwani też reprezentacyjnymi. Byli to marszałkowie, wielcy i nadworni (byli mistrzami ceremonii), podskarbiowie nadworni, podkomorzowie, kuchmistrzowie, krajczowie (krajali mięsivo), cześnicy (opiekowali się królewską piwnicą), podczaszowie (podawali napoje podczas uczt), koniuszowie, łowczowie, stolnicy (pilnowali służby podczas uczt), podstolowie koronni i litewscy. Poza marszałkami były to funkcje tytułarne, a osoby je sprawujące rzadko pojawiały się w otoczeniu króla. Nie oznacza to, że w ogóle nie przebywali na dworze, byli tam gdy odbywały się uroczystości w stylu: koronacji, ślubów, przy przyjmowaniu poselstw zagranicznych. Warto nadmienić, że urzędy te były zarezerwowane tylko dla szlachty polskiej, zasadę tę złamał dopiero Jan II Kazimierz, mianując wielkim łowczym Stefana de Baluze.

Drugą grupę stanowili dworzanie funkcyjni, stanowiący dwór stały. Tutaj godności te mogli sprawować zarówno Polacy, jak i obcokrajowcy. Wypełniali oni codzienne obowiązki. W tej grupie znajdowali się: lekarze, sekretarze, kapelani, pisarze skarbu (odpowiadający za prywatną kasę króla), podkoniuszowie, szafiarze piwniczy, komornicy, aptekarze. Pod ich rozkazami była służba plebejska, czyli: lokaje, odźwierni, palacze (pokojuwcy), kucharze, piekarze, rzeźnicy, stajenni, woźnice, kawalkatorzy. Oprócz nich na dworze przebywali rzemieślnicy: zegarmistrzowie, ślusarze, kowale, rusznikarze, stelmachowie, krawcy (było ich kilku, jeden usługiwał królowi, drugi królowej, pozostali królewicom i królownom), szewcy, perukarze, haftarze, zielnicy, praczki, ogrodnicy, myśliwi, lektykarze i karły.

Początkowo na dworze Zygmunta III przebywało wielu Szwedów, których liczba z biegiem lat malała. Wśród nich można wyróżnić Piotra Rasmusen (sekretarza królewskiego, autora opisu wyprawy króla do Szwecji w 1598 r.), Jerzego Posse (autora pamfletów na Karola IX i Gustawa Adolfa). Bardziej cudzoziemski charakter dwór przybrał po kolejnych małżeństwach Zygmunta III, głównym językiem którym się posługiwano był niemiecki. Niemniej ilość cudzoziemców na dworze Zygmunta była podobna do tej za czasów Stefana Batorego i wcześniej.

Fraucymer królowych

Dwórki królowej zwano białym dworem lub fraucymerem. Podlegały one ochmistrzyni, zwanej panią starą, a ta była zależna od marszałka dworu. Najważniejszą osobą spośród fraucymeru obu Habsburskich królowych była Urszula Meierin. Fraucymer, podobnie jak reszta dworu dzieliła się na wyższy, czyli składający się z panien dobrze urodzonych towarzyszących królowej, oraz niższy, który zajmował się codziennymi obowiązkami. Jakie to były obowiązki? Fraucymer wyższy dotrzymywał przede wszystkim towarzystwa żonie króla, musiały się dobrze prezentować podczas oficjalnych ceremonii, pilnowały służby pokojowej. Niekiedy podczas przyjęć w małym gronie, dwórki przejmowały funkcje krajczego i podczaszego, uroczyście próbowały dań i trunków. Co do liczebności, w 1598 r. (czyli po śmierci królowej Anny) liczba jej dworek wynosiła sto dwanaście. Prawie wszystkie z pochodzenia były Niemkami. Za czasów królowej Konstancji wpływy niemieckie na dworze wzrosły. Swoje dwórki królowa próbowała wydawać za senatorów i dygnitarzy Rzeczypospolitej, organizowała im wesela i bywała na nich.

Etykieta

W czasach Zygmunta III w całej Europie dominowała etykieta hiszpańska, wywodziła się ona z etykiety burgundzkiej, a do krajów Habsburskich wprowadził ją Karol V. Obejmowała 157 paragrafów. W Hiszpanii etykieta przybrała formę wręcz karykaturalną, gdyż rygorom etykiety były poddane wszystkie aspekty życia rodziny królewskiej, takie jak ubieranie króla, które przy udziale dwudziestu książąt krwi trwało aż dwie godziny. Nawet taniec ćwiczone na komendę, a okazywanie uczuć uchodziło za wielki nietakt. Dla poddanych król był niedostępny, „*roztacza taką powagę, że rusza się i chodzi jak gdyby był ożywionym posągiem*” zanotował Bertaud, francuski podróżnik.

W Polsce uważano że etykieta jest jedynie narzędziem do trzymania szlachty w uległości wobec króla, oraz za pretekst do nadmiernej rozbudowy dworskiego aparatu urzędniczego. Uważano, że wszystkie te wyszukane ceremonie mają na celu zaspokojenie pychy monarchy. Stefan Pac pisał: „*nie masz nic jedno próżny wiatr, którym ich król hiszpański nadyma chcąc ich tym pociągnąć do oddawania wiernego poddaństwa*”.

Niechęć Polaków do etykiety powodowała nieraz problemy dyplomatyczne, w 1629 r. podczas rozmów w Altmarku oburzenie Szwedów wywołało niewłaściwe wypisanie tytułów królowej Krystyny, gdyż napisano tylko „*Księżna Finlandii*”, zamiast wymaganej „*Wielka Księżna Finlandii*”, co Krzysztof Radziwiłł określił jednym słowem: „*żart*”. Na tychże obradach trwała walka o pierwszeństwo między mediatorem francuskim i angielskim, panowie nie spuszczały z siebie oczu, a każdy najmniejszy ruch jednego, wywoływał reakcję drugiego, co jeden z Polaków określił słowami: „*tymi błazeństwami bardziej byli poszli na mały, niż na wielkich ludzi*”.

Oczywiście dwór Zygmunta III również odczuwał wpływy etykiety hiszpańskiej, ale z wieloma różnicami. Nie obowiązywały sztywne ceremoniały towarzyszące obrzędowi religijnym, wstawania i kładzenia się spać, czy ubierania. Etykieta nie narzucała członkom rodziny królewskiej ustalonego planu dnia. Jak pisał Leszek Podhorodecki „*pomimo drobiazgowej etykiety, nie krępowała ona działalności pary królewskiej i nie zatruwała życia dworzan*”. Z większym rygiorem podchodzono do publicznych uroczystości, ale nawet tutaj panowała większa swoboda. Nie istniał żaden spisany ceremoniał, nie było stałych urzędników odpowiedzialnych za daną czynności. Przepisów proceduralnych nie spisano nawet na wypadek elekcji, obrad sejmu, czy poselstw dyplomatycznych. Uroczystości odbywały się wedle ustalonej formuły, odwołując się do pamięci ludzkiej. I tu pojawiał się problem, bo o ile pewne wydarzenia, jak np. przyjmowanie poselstw zagranicznych, czy uczyty, powtarzały się dość regularnie, to inne, jak np. przyjmowanie hołdów lennych od księcia pruskiego, miały miejsca tylko raz na pokolenie, więc czasem nie pamiętano jak dana uroczystość ma wyglądać. Paweł Piasecki zanotował: „*Nie był dobrze wiadomy stary w tej mierze obyczaj, ile że podobny obrządek jak się odprawił, już lat 45 przeminęło*”. Nieraz w czasie ważnych uroczystości gubiła się laska marszałkowska lub okazywało się, że marszałków w ogóle nie ma na dworze. Przekładano też przyjmowanie poselstw z powodu niewystarczającej liczby dworzan, co niektóre państwa mogłyby odebrać jako przejaw słabości Rzeczypospolitej. Zdarzały się braki odpowiedniej ilości krzesel podczas uczt lub zbyt małe ilości podanych dań.

Zygmunt III traktowany był przez swoich poddanych z szacunkiem, witany był niskim pokłonem i całowaniem w dłoń. Podczas obrad sejmu na dźwięk imienia króla posłowie wstawali i zdejmowali czapki. Szlachta często składała

wizyty na dworze, przy okazji świąt i nowego roku. Starano się nie wyjeżdżać z Warszawy bez pożegnania z królem. Poseł francuski relacjonował: „*Polacy udają się w odwiedziny na dwór królewski, kiedy im się podoba.*” Obyczaje dworu polskiego budziły zdumienie w całej Europie.

Plan dnia

Zarówno Zygmunt, jak i Anna wstawali bardzo wcześnie, zawsze o tej samej godzinie. Dzień zaczynał się od Mszy Świętej, a następnie król „*to listy podpisywał, to spraw sądowych z największą uwagą i cierpliwością słuchał, to z przytomnymi senatorami względem czasowych okoliczności naradzał, z nieznużeniem nigdy umysłem zawsze te zatrudnienia przeciągając dopóty, póki który z senatorów nie oznajmił, że stół już zastawiano*”. Po obiedzie aż do 1604 r. Zygmunt zażywał drzemki, ale później zaniechał tego zwyczaju. Królowa Anna również poświęcała wiele czasu na „*dewocje*”. Każdy dzień rozpoczynała od dwugodzinnych medytacji, wysłuchania mszy i rachunku sumienia.

Zygmunt III był „*[...] wrogiem bezczynności, oddany pilnie sprawom publicznym i funkcjom państwowym, godziny w życiu nie zmarnował. Gdy inni za dnia sapli lub odpoczywali, on nieustannie coś dhibał, czymś był zajęty około czegoś pożytecznego, lub przyjemnego się trudił*”.

Zarówno za czasów Anny, jak i Konstancji punktualnie zasiadano do stołów, a służba perfekcyjnie wywiązywała się ze swoich obowiązków (co nie było normą na dworach następnym Wazów).

Rozrywki

„*Ani sam biesiad nie wyprawia, ani na nich nie bywa za wyjątkiem, gdy przyjmuje posłów zagranicznych, odprawia wesele lub pragnie łaskę swą okazać komuś z panów*” pisał Claudio Ragnoni w 1604 r. Faktycznie Zygmunt III był człowiekiem poważnym, przekonany o swojej doniosłej roli jako monarcha. Z biegiem czasu rozwiązał jednak sztywny gorset konwenansów i zaczął korzystać z uciech życia. „*A gdy nadeszła pora rozrywki, bodaj w kręgle grał i na cytarze brzdąkał i w zamkniętym kórku, maskę zrzuciwszy, bawił się po swojemu, beztrosko, niczym zwykły śmiertelnik*”. Świadczą o tym liczne informacje rozsiane w ówczesnej korespondencji.

Król lubił grę w piłkę (rodzaj dzisiejszego tenisa), czym wzbudzał konsternację wśród szlachty, gdyż uznawano to za zabawę niemiecką. Waza również polował, szczepił melony w swoich ogrodach i puszczał latawca (zrobił to zaraz po przybyciu do Polski w 1587 r.).

Na dworze pierwszego Wazy popularne były również tańce włoskie i francuskie, ale także i polskie. Do tańca zapraszał zawsze mężczyzna, co odróżniało dwór polski od habsburskiego, gdzie jak zanotował Stefan Pac „*panny [...] kawalerów brały*”. Duchowni nigdy nie brali udziału w zabawie, co też jest jedną z różnic obyczajów na dworze Zygmunta, w stosunku do reszty Europy. Korowód taneczny rozpoczynał król i królowa, za nimi podążali naprzemiennie senatorowie i damy dworu. Francuski obserwator zapisał „*korowód napuszonych mnichów kroczących w procesji*”, i faktycznie, ówczesny taniec polegał na powolnym chodzeniu w rytm muzyki i składaniu sobie pokłonów. W miarę tańczenia wzrastało tempo ruchów, do tego stopnia że niekiedy łamano kończyny, a któraś z dwerek nawet poroniła!

Sztuka na dworze królewskim

Najśłynniejszym artystą na dworze Zygmunta III był włoski malarz Tomasz Dolabella, który przybył na dwór królewski ok. 1600 r. Dolabella wzorował się na sztuce weneckiej, stosował nowoczesne wówczas rozwiązania w operowaniu światłem, tworzeniu kompozycji, iluzji przestrzennej. Odrzucał technikę tempery na rzecz malowania olejem na płótnie. Włoski malarz miał ogromny wpływ na malarstwo polskie.

Wiele prac Dolabelli unikło zniszczeniu, część zginęła w czasie pożaru Krakowa w 1850, inne jak np. „*Triumf Żółkiewskiego prowadzącego jeńców kłuszyńskich*”, czy „*Carowie Szujscy przed Zygmuntem III*” został spalony na polecenie cara Rosji Piotra I.

Zygmunt III słynął z zamiłowania do sztuki. Zajmował się malarstwem, rzeźbiarstwem, złotnictwem obróbką bursztynu, sznycerstwem i złotnictwem. Osobiście wykonywał takie przedmioty jak złote kielichy, pateny, monstrancje, świeczniki, lampy i zegary. Następnie przekazywał je kościołom lub osobom zaprzyjaźnionym, jak np. Franciszkowi Mniszchowi, który otrzymał łańcuch z medalionem z podobizną samego króla. Niektóre dzieła króla

trafiły do Monachium jako część posagu królowej Anny Katarzyny Konstancji. Artystyczne zainteresowania króla potwierdza relacja jednego z dworzaków: „[...]Zygmunt III malował, rytował i rzeźbił [...] srebrne i złote figury, aparaty kościelne ozdobione perłami, złote kielichy, świeczniki, lampy do świątyń w Częstochowie i Loreto”. Choć król był „arbitralny i ekskluzywny, rozważny i ostrożny, nad warsztatem i przy palecie zapomniał o swym dostojeniu i pracował nieraz jak zwykły rzemieślnik. Wtedy traktował artystów niemal jak kolegów.” Zygmunt III był estetą, posiadał kontakty z artystami europejskimi, a jego kolekcja obrazów liczyła 200 sztuk. Na Zamku Królewskim można było znaleźć obrazy takich artystów jak Rubens, Rembrandt, Jordaens, Reniego, Guercino, Jana Brueghla. Zygmunt III sam zajmował się malarstwem, jeden z jego obrazów miał zostać pomylony z dziełem Rubensa.

Pasją króla była również muzyka, grywał na klawikordzie, sam również śpiewał. Utworzył również orkiestrę, która liczyła 60 muzyków. Dygnitarze Rzeczypospolitej często wynajmowali królewskich instrumentlistów, by dawali oni koncerty w ich posiadłościach.

Pierwszy Waza na tronie polskim interesował się również teatrem. W latach 1616-1617 i 1618 na Zamku Królewskim występowała trupa aktorska Johna Greena, oraz Arenda Aerschena. Wystawiano sztukę „Faust” autorstwa Christophera Marlowe’a.

Zygmunt III interesował się również historią, zwłaszcza dziejami Polski i Szwecji. Zbierał książki, a jego prywatna biblioteka liczyła w szczytowym momencie trzy tysiące woluminów. Część z nich znajduje się obecnie w Bibliotece Narodowej i w Sztokholmie. Król wspierał Reinholda Heidensteina, a następnie Stanisława Łubieńskiego w jego pracy spisania historii Polski, co zaowocowało wydaniem w 1672 r. „Dziejów Polski od śmierci Zygmunta Augusta”.

Moda na dworze

W 1587 r. Zygmunt III przybył do ojczyzny swojej matki, miał wówczas na sobie zbroję, którą szybko zamienił na strój hiszpański, który zasadniczo różnił się od stroju polskiego. W Hiszpanii, Austrii, czy we Francji noszono bowiem spodnie, a w Polsce suknie, które zasłaniały spodnie wpuszczone w cholewy butów. Spodnie w Polsce nazywano gaciami, a zachodnie pludrami. Końcem XVI w. pludry te były szerokie i marszczone, sięgające do połowy uda. Do kompletu noszono kamizelkę, kaftan lub kabat, oraz śnieżnobiałą kryzę. Polacy natomiast nie uznawali kryzy, a nawet kołnierzy, które chowano pod odzieniem wierzchnim. Nie noszono w Rzeczypospolitej również pończoch, gdyż przy wysokich butach były one całkowicie zbędne.

Na dworze Zygmunta III istniał salon dworskiej mody, który tworzony był przez zespół krawiecki, szatny, który dostarczał materiałów bieretarzowi, pasamonikowi i haftarzowi, ponadto dbał o stroje królewskie. Oprócz nich w skład salonu wchodził złotnik, który ozdabiał ubrania Wazów.

Piotr Skarga chwalił monarchę za „pogardę dla zbytków”, co jednak nie przekładało się na ich ubiór. Wszyscy polscy Wazowie ubierali się niezwykle bogato i przeznaczali niebotyczne sumy na stroje. Ubrania były zdobione złotym lub srebrnym haftem.

Stroje rodziny Zygmunta III szyto z kosztownych tkanin sprowadzanych z Italii lub Niderlandów. Właśnie na terenach dzisiejszej Holandii i Belgii kupowano jedwab, tabin i płótno, z których szyto koszule. W 1593 r. agent króla, niejaki Claudi, zakupił w Mediolanie tkanin i materiałów za kwotę 20 tysięcy złotych. Claudio Ragnoni w 1604 r. pisał: „opaski u kapeluszy ozdobią śliczne i drogie klejnoty; nosi także pora, raz czarne, kiedy indziej czaple z klejnotami wielkiej wartości, guziki złote z diamentami, rubinami i temu podobne”, oraz „Chodzi [król] stale po włosku, nosząc latem suknię z czarnego aksamitu wyrabianego w kwiaty, a zimą płaszcz takż podbity sobolami i rysiami”.

Bożena Fabiani twierdzi, że pogląd jakoby Zygmunt III wprowadził w Polsce modę na czarny kolor, oraz nosił się wyłącznie z hiszpańską jest nieprawdziwy. Świadczyć o tym mają spisy inwentarzowe, oraz źródła ikonograficzne ukazujące Wazę w kolorowych strojach.

Mali Wazowie nosili się na modłę europejską, tzn. w skrojonych sukienkach. Wizerunki Władysława i jego rodzeństwa przedstawiają ich w pludrach, kaftanach i wysokich kapeluszach.

Literature

- Jan, Ginter oprac., (1971), *Cudzoziemcy o Polsce. Relacje i opinie*, Kraków, Wydawnictwo PWN.
- Adam, Przyboś, Rober, Żelewski oprac. (1959), *Dyplomaci w dawnych czasach. Relacje staropolskie z XVI-XVIII stulecia* Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Jan, Dumanowski, Paweł Garbacz, Wojciech Krawczuk wyd. (2002), *Listy Anny Wazówny do rodziny Gylliensternów z lat 1591-1612*, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego .
- Niemcewicz, Julian oprac. (1822-1833), *Zbiór pamiątek historycznych o danej Polsce z rękopisów tudzież dzieł w różnych językach o Polsce wydanych oraz listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym*, t. 1-4 Warszawa, t.5 Puławy, t.6 Lwów, Domena Publiczna.
- Ossoliński, Jerzy., *Pamiętnik*, wyd. Władysław Czapliński (1976), Wrocław, Ossolineum
- Kazimierz ,Wóycicki (oprac. 1846), *Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza*, Warszawa, Domena Publiczna.
- Books:
- Fabiani, Bożena (1988), *Na dworze Wazów w Warszawie*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
- Fabiani, Bożena (1980), *Niziołki, łokietki, karlikowie. Z dziejów karłów nadwornych w Europie*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
- Fabiani, Bożena (2014), *W kręgu Wazów: ludzie i obyczaje*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
- Fabiani, Bożena (1996), *Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
- Lechicki, Czesław (1936), *Dokoła mecenatu Zygmunta III*, Lwów, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.
- Lechicki, Czesław (1929), *Jezuici i Skarga na dworze Zygmunta III*, Lwów. Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.
- Lechicki, Czesław (1932), *Mecenat Zygmunta III i życie umysłowe na jego dworze*, Warszawa, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego.
- Lileyko, Jerzy (1976), *Zamek królewski*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
- Lileyko, Jerzyn (1984), *Życie codzienne w Warszawie za Wazów*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
- Niemcewicz, Julian (1860), *Dzieje panowania Zygmunta III*, Kraków 1860, Domena publiczna.
- Ochmann-Staniszevska, Stefania (2007), *Dynastia Wazów*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.
- Wisner, Henryk (1991), *Zygmunt III Waza*, Wrocław, Wydawnictwo PWN.
- Zins, Henryk (1974), *Polska w oczach Anglików XIV-XVI w.*, Warszawa, Wydawnictwo PWN.

Zaides Kristina Denisovna

Saint Petersburg State University (SPSU), Saint Petersburg, Russia
zaidi94@mail.ru

Языковая реакция говорящего на ошибку: типы ошибок и типы реакций

The article is dedicated to basic types of speaker's reactions to their mistakes, such as stumbling, mistakes in a stress, stylistic inaccuracies, etc. A linguistic significant estimation of the speech is usually called meta-communication, which is a communication about the process, the code, the channel and conditions of the communication. As a material for the investigation were used oral spontaneous monologues based on several communicative scenarios (a reading of a passage from the text, a retelling of a passage from the text, a describing of a picture and a story), which are unify into a corpus BACT – Balanced Annotated Collection of Texts, that represents real state of the modern monological Russian speech.

Key words: spontaneous speech, monologue, mistakes, speaker's reflexion, meta-communication.

Рефлексия носителей языка по поводу собственной речи является интереснейшим материалом для исследования соотношения грамматики языка и функционирования речи в сознании человека. В свою очередь, изучение реакции говорящего на ошибки в его собственной речи, особенно спонтанной, неподготовленной, может во многом прояснить как механизм порождения речи, так и процесс ее усвоения.

Целью исследования является качественный, количественный и дискурсивный анализ различных реакций говорящего на ошибки разного типа в его речи. Материалом для исследования послужили тексты из блока «Звукового корпуса русского языка», создающегося на филологическом факультете СПбГУ, — Сбалансированной аннотированной текстотеки. Корпус сбалансирован социальным и психологическим характеристикам информантов, по типам монологической речи, а также снабжён специальной разметкой — лингвистическим аннотированием. Испытуемым предлагались четыре различных коммуникативных сценария: чтение и пересказ сюжетного и несюжетного текстов, описание сюжетного и несюжетного изображений и свободный рассказ на заданную тему. На данный момент в аспекте исправления ошибок говорящими проанализировано 578 монологов различного типа, записанных от 161 информанта, среди которых студенты, медики, юристы и иностранцы, изучающие РКИ.

Понятие рефлексии как реакции на собственную речь, ее семантику, парадигматику и прагматику имеет синоним, воплощаясь в котором оно и вошло в мировую лингвистику, — это метакоммуникация, особый вид общения, представляющий собой «коммуникацию по поводу коммуникации». Метакоммуникация необходима для оценки и комментирования различных коммуникативных умений самим говорящим; это важная составляющая речевого поведения человека. Метакоммуникация передает от адресанта к адресату сведения о канале, коде и условиях коммуникации (Bateson 2009; Стрибижев 2005; Матюхина 2004).

Среди метакоммуникативных единиц, свойственных спонтанной монологической речи, можно выделить комментирование забывания слова или факта предтекста, дискурсивные маркеры старта и финала речи, маркеры поиска говорящим слова и его оценки и мн.др. (Арюхина 2005; Вежицка 1978; Зайдес 2017; Пигрова 2001). Предметом данной статьи являются маркеры самокоррекции, с помощью которых информант выстраивает, корректирует свою речь.

Ключевым понятием в данном исследовании является понятие ошибки. Анализ словарных значений показал, что ошибка может пониматься как неправильность в действиях, поступках, суждениях или мыслях и как погрешность в написании слова (Ожегов, Шведова 1999, Евгеньева 1981–1984, Ефремова 2000). Отталкиваясь от последнего понимания можно доказать, что ошибка бывает не только орфографической.

Устной спонтанной речи, безусловно, чуждо явление орфографической ошибки, но зато очень близко явление фонетической, например, оговорки различного типа:

Берестов проводил его до самого крыльца / а Мурестов <...> Мурестов! <смех> Муромский а-а-а <смех> уехал не прежде / как взял с него честное слово на другой же день / и с Алексеем Ивановичем / приехать отобедать по-приятельски / в Прилучино [м, 20-25, низкий УРК, студ, СЧ].

Самая распространенная ошибка в спонтанной монологической речи — это лексическая ошибка (то есть ошибка при подборе слова), ее трудно отграничить от стилистической или речевой, так как зачастую невозможно определить, по каким именно причинам нежелательно появление данного слова в конкретном контексте, например:

всё это [...] как конфетка всё сделано // приятно нет / интересно [м, 43, высокий УРК, юр, интр, СР].

Частотны в монологах и грамматические ошибки (морфологические и синтаксические), например, вызывает затруднения выбор личной формы глагола при переходе от авторского «мы» к единоличной форме:

выходные пропадают / но будем рассказывать о выходных которые / точнее / буду рассказывать о выходных которые // выпадают [м, 25, низкий УРК, юр, СР].

Наконец, бытуют и фактические ошибки, связанные как с неверным воспроизведением исходного текста, например:

тогда / мистер Симпсон закрыл глаза / нет Томпсон закрыл глаза / и решил положить на бога [ж, 36, средний УРК, мед, СО];

так и связанные с неправильно вспомненным фактом из жизни говорящего, например:

там вот в одном [нрзб] значит] э-э] читали объявление / семь соток/ нет! шесть соток / шесть соток стоили девяносто тысяч долларов [м, 43, высокий УРК, юр, амб, СР].

Вышеприведенная классификация — типичная классификация ошибок, использующаяся в том числе и при оценивании работ учеников по русскому языку в школе и при обучении русскому языку как иностранному (Залевская 1996). Однако с точки зрения механизма порождения спонтанной речи интересна другая классификация ошибок (Сапунова 2009: 89–91). Ошибки в устной речи могут быть замеченными и незамеченными. Безусловно, часто невозможно с точностью определить, заметил ли говорящий свою ошибку, но иногда это возможно, например, по наличию вокруг этой потенциальной «ошибки» пауз хезитации или других маркеров затруднения говорящего в построении речи. Замеченные ошибки, в свою очередь, могут быть исправлены говорящим или оставлены без коррекции. С точки зрения теории метакоммуникации интересны, конечно, замеченные и исправленные ошибки, хотя и прочие привлекательны для собственно лингвистического и психолингвистического анализа.

Можно выделить следующие основные способы исправления ошибки в своей речи:

1) самокоррекция, которая осуществляется посредством специальных слов-операторов: *не/нет, или, вернее, точнее, наверно(-е), всё-таки* и других (61% в материале исследования);

2) высказывания с маркерами самокоррекции, сопровождающиеся рефлексией говорящего по поводу своей ошибки. По значению такие рефлексивные высказывания выражают аргументацию собственной позиции, отсылают к собственному знанию вещей, эксплицируют сомнения в высказываемом и т.д. (39%).

Самокоррекция ошибки может производиться информантом с помощью различных маркеров. Рассмотрим те из них, что встретились в материале исследования.

- Самокоррекция, осуществляемая с помощью отрицательных частиц *не* или *нет* (56% всех типов); является самым простым для говорящего способом опровергнуть предыдущее суждение или отклонить выбор слова, например:

он тянулся к окошку краешком глаза <смех> не / не так / он тянулся к окошку / чтобы краешком глаза увидеть хотя бы небо / <смех> [ж, 20, низкий УРК, студ, экстр, СП];

там это в тайге // охотничья иж... избушка // это тайга / это // или нет // нет это не тайга // это // это липы // просто парк какой-то [жэ, 49, низкий УРК, мед, НО].

- Самокоррекция, имеющая языковое проявление в виде союза *или* (8%). Часто по смыслу такие высказывания передают комментирование подбора стилистической единицы, наиболее уместной в данном контексте, например:

забросив удочку / он вытащил / или правильнее сказать / выловил замечательную / огромную рыбу [ж, 46, высокий УРК, юр, амб, СО].

Сомнения в произношении тоже эксплицируются говорящим с помощью противительного союза *или*, в данном случае информант затрудняется с ударением в имени собственном:

и снабдив его лучшей долей жизни распустить затем райком союза за халатность обслуживания членской массы / но еще Чйклин / Чиклйн Чйклин / Чиклйн / мне так больше нравится / но еще Чиклин и Елисей / так Чиклйн или Чйклин / действительно [ж, 20, низкий УРК, студ, экстр, СЧ].

- Маркеры самокоррекции — вводные слова типа *вернее* или *точнее*, служащие для ввода в речь слова, наиболее подходящего в данном контексте, по мнению информанта (10%):

мы не знали как его наказать // вернее / э-э ну советовались друг с другом / как его наказать [ж, 42, низкий УРК, мед, СП];

(а-а) [сгу... сгуцались тучки / *вернее*] *плыли (...)* то открывая небо / то закрывая небо [ж, 22, низкий УРК, юр, экстр, НП].

- Самокоррекция, осуществляемая посредством использования вводного слова *наверно(-е)* (8%):
далее выселись красивые // осокóри (спрашивая) // и величавые сосны // осóкори наверно // (вдыхая) в одном месте на вырубке белели кладки досок свежие бревна и срубы [м, 20-21, средний УРК, студ, НЧ].

Как видно, так часто выражаются сомнения говорящего в постановке ударения или в произношении незнакомого слова.

- Самокоррекция, реализуемая усилительной частицей *всё-таки* в сочетании с единицами, выражающими сомнение, например, с уже упомянутым словом *наверное* и с союзом *но* (5%):

и хотя есть проблески солнца и где-то вдали проглядывается / такое голубое немножко покрытое дымкой / сероватой дымкой небо / вероятно это не осеннее / это наверно летнее всё-таки небо / хотя вот желтоватые краски уже / появились / на кронах деревьев / но всё-таки осеннее небо бывает более ярким [ж, 45, высокий УРК, мед, НО].

Здесь всё построение синтаксической конструкции – противопоставительное: *вероятно это не — это наверно, хотя вот — но всё-таки*, и оно усиливается уступительным придаточным с союзом *хотя*.

- Самокоррекция, осуществляемая введением в свою речь восклицательного междометия *а!*, используя которое говорящий выражает понимание: «я неверно сказал, а теперь я понял, что нужно было сказать». Этот тип самокоррекции встречается только при чтении текстов (5%):

сии столь оклеветАнные см<...> а! оклеветАнные <...> нет <...> оклеветАнные с<...> ладно / оклеветАнные зрители вообще суть мирные <...> люди от природы услужливые / склонные к общежитию / скромные в притязаниях на почести и не слишком сердо<...> сребролюбивые [м, 20-25, низкий УРК, студ, НЧ].

Самокоррекция отражает мучительную борьбу говорящего со стихией языка, направленную на его упорядочивание и подчинение его некой общей системе. Вот почему варианты системы, не подчиняющиеся общим тенденциям в узусе, часто искажаются носителями языка в более удобную, по их мнению, сторону.

Перейдем к различным типам языковой рефлексии говорящих над ошибкой, совершенной ими при речепроизводстве. Вместе с маркером самокоррекции *не* или *нет* может встречаться и развернутый рефлексив (44% всех типов). Это модальные конструкции со значением возможности, например:

я бы сказала тополь какой-нибудь / две таких больших широких / нет / широких нельзя сказать / ну вот тут два таких / достаточно крупных [ж, 19-22, средний УРК, студ, НО].

Включаются сюда также и почти словарные дефиниции лексемы — малоупотребительное, сниженное, устаревшее, — которые дают сами носители языка:

вы забросили / не невод // нет // невод это в старину // ну / обычно / там / крючок / леска / червячок / на конце / а рыба не клюёт [ж, 45, высокий УРК, мед, НП].

Информант при коррекции своей речи может объяснять произошедшую заминку, связанную с длительной (по мнению говорящего, а не в абсолютной мере) паузой при чтении, а также с невозможностью однозначно решить проблему произношения (20%), например:

Берестов и стремян<...> и стремянный <...> стремянный <...> стремной я бы сказала / закричали во всё горло / пустили собак следом / поскакали во весь <...> опор // лошадь Муромского / не бывшая никогда на охоте / испугалась и понеслась <...> и понесла [ж, 20-25, высокий УРК, студ, СЧ].

Интересно, что иногда говорящий стремится защитить собственную когнитивную компетенцию, таким образом, даже совершая ошибку, не хочет признавать, что она произошла по его вине:

*на / заднем / фоне картины / по-видимому источник света расположен / я думаю что всё-таки это закат // **хотя можно думать нет / скорее всего закат хотя если кто-то со мной может поспорить то можно было бы думать что это и раннее / очень утро** / но я склоняюсь в сторону заката потому что очень такие жёлтые тона насыщенные* [ж, 43, средний УРК, мед, НО].

Может встречаться защита собственной позиции, связанная с совершением фактической ошибки, например, мена названий государств (24%):

*потом очень бы хотела бы съездить в Южную Америку / там в Португалию или Аргентину /// ой / <смех> **не в Португалию / а в Бразилию / я думала про Бразилию / а сказала Португалия** <смех> // очень хотелось бы в Бразилию или Аргентину / **я не то сказала / по географии у меня 5 было всю жизнь / практически / так что я в курсе дела где Португалия где Бразилия*** [ж, 20, низкий УРК, студ, экстр, СР].

Наконец, как и всё досадное в нашей жизни можно свести к анекдоту или к шутке, так и в речи можно просто посмеяться над совершенной ошибкой, снимая тем самым коммуникативное напряжение и возможную негативную реакцию адресата на нашу языковую компетентность и коммуникативные умения (8%):

*Берестов проводил его до самого крыльца / **а Мурестов <...> Мурестов!** <смех> **Муромский а-а-а <смех>** уехал не прежде / как взял с него честное слово на другой же день / и с Алексеем Ивановичем / приехать отобедать по-приятельски / в Прилучино* [м, 20-25, низкий УРК, студ, СЧ].

Такой тип реакции на ошибку встречается только в монологах-чтениях.

Многие экстралингвистические факторы влияют на нашу повседневную речь. Это могут быть и гендерные характеристики говорящего, его возраст, социальное положение, уровень образования и род деятельности, более того, даже психологические характеристики, такие как уровень экстраверсии и тип темперамента. Так, как показало данное исследование, женщины в полтора раза чаще мужчин прибегают к самоисправлениям и рефлексии над ними (61% против 39%). Уровень речевой компетенции также оказывает влияние на частоту самокоррекции. Чем ниже этот уровень, тем больше вероятность того, что человек, во-первых, допустит ошибку, во-вторых, исправит ее в режиме самокоррекции, и в-третьих, не пренебрежет случаем ее прокомментировать. Экстраверты в 3 раза чаще интровертов и в 5 раз чаще амбивертов склонны к самокоррекции в монологической речи (65% корректирующих единиц в речи экстравертов, 21% — в речи интровертов, 14% — амбивертов), что становится еще одним языковым дифференциальным признаком для различения этих психотипов (о др. признаках см: Fishman 1978; Tannen 1990; Ерофеева 2005; Кирилина 1999).

Казалось также, что определенные типы спонтанных монологов вызывают больше затруднений у говорящих. Например, чтение наибольшим образом привязано к предтексту и в нем, вроде бы, вероятность ошибки при выборе лексемы минимальна, но зато есть простор для разного рода отысков; пересказ и описание менее привязаны к предтекстам, говорящий имеет достаточную свободу при выборе языковых средств и, по идее, должен стараться избегать незнакомых ему слов, конструкций, оборотов, в которых он не уверен и вероятность ошибиться в которых для него высока. Свободный рассказ полностью задан говорящим, его не держат ни пересказываемый текст, ни описываемое изображение. Однако частотность конструкций с самокоррекцией одинакова для всех типов монологов (по 28%), кроме пересказа текста (14%).

Ошибки в речи, особенно в неподготовленной и спонтанной, — это неизбежное явление, тесно связанное с таким способом ее исправления, как языковая самокоррекция. Интересно то, что часто в процессе коммуникации или при выполнении трудного речевого сценария мы совсем не ограничиваемся простой заменой слова или его части, а часто еще и комментируем нашу речь, помогая адресату — провести соответствие между знаком и его референтом, самим себе — выстроить речь согласно определенным конвенциям, языку — в полной мере реализоваться в речевой деятельности, согласно Л. В. Щербе (Щерба 1974).

References

- Bateson, Gregory (2009). Information and codification: a philosophical approach. In: Ruesch J., Bateson G. *Communication: the Social Matrix of Psychiatry*. New Brunswick: Transaction Publishers. Pp. 168–211.
- Fishman, Pamela M. (1978). Interaction: The Work Women Do. In: *Social Problems*. Vol. 25, No. 4. Pp. 397–406.
- Tannen, Deborah (1990). *You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation*. New York: William Morrow & Co.
- Арюхина, Елена Геннадьевна (2005). *Метакоммуникативные высказывания, управляющие содержательной стороной диалога и интенцией высказывания*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород.
- Вежбицка, Анна (1978). Метатекст в тексте. В: *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 8. Лингвистика текста. М.: Прогресс. С. 402–421.
- Евгеньева, Анастасия Петровна (1981–1984). *Словарь русского языка: В 4-х т.* М.: Русский язык.
- Ефремова, Татьяна Федоровна (2000). *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: Св. 136000 словарных статей, около 250000 семантических единиц*: В 2 т. М.: Русский язык.
- Ерофеева, Елена Валентиновна (2005). *Вероятностная структура идиомов: социолингвистический аспект*. Пермь: ПГУ.
- Зайдес, Кристина Денисовна (2017). Типология метакоммуникативных единиц русской спонтанной монологической речи. В: *Компьютерная лингвистика и вычислительные онтологии*. Выпуск 1 (Труды XX Международной объединенной конференции «Интернет и современное общество, IMS–2017, Санкт-Петербург, 21–23 июня 2017 г. Сборник научных статей). СПб: Университет ИТМО. С. 46–56.
- Залевская, Александра Александровна (1996). *Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте*. Тверь: Твер. гос. ун-т.
- Кирилина, Алла Викторовна (1999). *Гендер: лингвистические аспекты*. М.: Ин-т социологии РАН.
- Матюхина, Юлия Владимировна (2004). *Развитие системы фатической метакоммуникации в английском дискурсе 16–20 вв.* Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Харьков.
- Ожегов, Сергей Иванович, Шведова, Наталья Юльевна (1999). *Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений*. М.: Азбуковник.
- Пигрова, Елена Константиновна (2001). *Метакоммуникативные маркеры в устной спонтанной речи*. Дис. ... канд. филол. наук. СПб.
- Сапунова, Екатерина Михайловна (2009). *Неподготовленное чтение как вид речевой деятельности и тип устного спонтанного монолога (на материале русского языка)*. Дис. ... канд. филол. наук. СПб. (машинопись).
- Стрибижев, Виктор Викторович (2005). *Речевые клише в современном английском языке: метакоммуникативная функция*. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Белгород.
- Щерба, Лев Владимирович (1974). О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании. В: *Языковая система и речевая деятельность*. Л.: Наука. С. 24–39.

Hrabren Dobrotić

Filozofski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
dobrotich@gmail.com

Reprezentacija popularne kulture u dramskom tekstu na primjeru Radakovićeve drame „Dobrodošli u plavi pakao“

Borivoj Radaković's drama Welcome to the Blue Hell (premiered in 1994, published in 2002) represents an innovation in the context of contemporary Croatian drama. Subtitled "Comedy/Chaos in Two Half-Times", it avoids clearly defined form, announces a chaotic structure, and specifies sport as the topic of the text. The main conflict (which does not have a dramatic resolution, functioning instead as a part of everyday life) is based on questioning consumption in the period of transition. This leads to addressing a range of themes, such as leisure as opposed to work culture, everyday rituals, the problems of a dysfunctional family in a transition country, resistance in the form of sports fan hysterical rebelliousness and "resistance out of leisure", offered by generations that spent their youth in socialism and therefore, they cope with the period of transition as consumers.

Key words (in order of importance): contemporary Croatian culture, popular culture, the period of transition, dysfunctional family, resistance to consumer culture

Uvod

U okviru proučavanja romana u odnosu s popularnom kulturom, bilo da je riječ o popularnom romanu, ili tzv. „žanrovskoj fikciji“ i njezinom razvoju unutar popularne kulture i utjecaju na nju, bilo o reprezentaciji popularne kulture u sadržaju romana, postavlja se pitanje mogućnosti istovjetnog odnosa popularne kulture s ostalim književnim žanrovima, rodovima ili vrstama. Prihvatimo li da se osim romana u domeni popularnog pojavljuju novele i pripovijetke te kraće prozne forme pa zaključimo da možemo govoriti o popularnoj prozi (vidi npr. Kolanović 2011.), zanima nas kakva je situacija s dramom. Na primjeru drame *Dobrodošli u plavi pakao*, prve u dramskoj trilogiji *Plavi grad* Borivoja Radakovića, pokazat će se kako je popularna kultura reprezentirana u suvremenoj hrvatskoj drami (spomenuti tekst prouzvoden je 13. svibnja 1994. u Kerempuhu u režiji Petra Večeka, iako je dramska trilogija objavljena tek 2002.) te pokušati odgovoriti na pitanje postoji li popularna drama u (hrvatskoj) književnosti.

Dramatis personae – reprezentacija tranzicijskih kolektiva

Sva dramska lica ovoga komada određena su na popisu samo imenom, ili, češće, nadimkom. Uz imena četvorice prijatelja iz kvarta, Bože, Čube, Zdene i Jure, stoji i odrednica BBB, s time da je samo Jura još i taksist, jedini je od njih zaposlen. Žac i Marija, Božini otac i majka, u čijoj se kući događa radnja, opisani su kao bivši hipi, odnosno stara rokerica, otac kao nezaposlen, a majka nema opis posla pa se pretpostavlja da ona hrani obitelj. Imenovane su Sanja i Renata, Božina sestra i njezina prijateljica i susjed Ante. Kao posljednje dramsko lice, ali ne i najmanje važno, naveden je televizijski spiker. Obilježavanje likova kao članova navijačke skupine, zapravo je njihovo određenje kao primjera određenog kulturnog uzorka, čija sličnost ili različitost s drugim kulturnim uzorcima definira kulturu. U drami se to jasno vidi, jer je njezina struktura imanentno dijaloška, što podrazumijeva sukob stavova pa će kulturne razlike i sličnosti između BBB-a (kojima je navijanje način života) starih hipija i rokera (starijih buntovnika, koji su prihvatili smireniji način života, ipak tvrdoglavo ustrajući u stavovima koji oblikuju neku vrstu otpora, npr. prema kapitalizmu, ideologiji, zaposlenju i radnoj kulturi i sl.) te dvaju ženskih likova (Sanje i Renate) koji na popisu nisu pobliže određeni (što ih a priori svrstava u konzumente masovne kulture, ili „obične ljude“, no tumačenje ostatka teksta ne daje nužno tome za pravo), biti možda i jače izražene nego, npr., u romanu.

Trnjanska kuća kao mjesto radnje, devedeset minuta koliko utakmica traje kao vrijeme radnje, petorica navijača pred televizorom i tri ženska lika, ne pretjerano zainteresirana za nogomet, no imaju razumijevanja za mušku stranu, njihovi dijalozi i međusobni odnosi tvore zatvoreno dramsko diskurzivno polje. Posljednja dva lika s popisa, kojima

možemo pridodati i glas Božinog „poslovnog partnera“ s kojim o propalom poslu razgovara telefonom (a time pojačava napetost kod već ionako iznerviranih Boysa), svojevrsne su upadice u spomenuto polje. Lik susjeda Ante, Dalmatinca, gotovo da je subverzivan element koji povremeno probija u polje i narušava njegovu strukturu, ali njegova blaga narav i nedostatak prave zainteresiranosti za utakmicu čine njegove ponekad zajedljive komentare i česte ulaske u kuću upravo dok traje utakmica pomalo komičnima, bez prave šanse da se naruše već uspostavljeni dobrosusjedski odnosi. Spiker međutim, kao komentator utakmice predstavlja, osim televizijske slike, jedinu vezu s događanjima na terenu pa se njegove replike mnogo više uvažavaju. Ostali likovi daju mu za pravo da govori, međusobno se ušutkujući ne bi li ga bolje čuli, prema njegovom neutralnom komentatorskom tonu odnose se s odobravanjem, odnosno neodobravanjem, ovisno o situaciji, komuniciraju s njim, raspravljaju i svađaju se te međusobno raspravljaju o njegovim replikama. Spiker je, prema tome, pokretač dramske radnje, koji unosi potrebu da se oko utakmice vodi rasprava, osigurava da ne ponestane materijala za dijalog.

Prvi prizor prvog poluvremena prikazuje svakodnevnu situaciju iz života Sanje i Bože, brata i sestre, raspravu koja je uvijek na granici svađe, s povremenim uvredama koje ni jedna strana ne shvaća ozbiljno. Tematski, međutim, rasprava se odnosi na potrošačku kulturu. Sam početak drame obilježen je propitivanjem potrošnje u tranziciji, odmah odajući koliko će ta tema biti važna za dramu u cjelini. Božo prigovara Sanji, koja čeka prijateljicu pa idu „malo van“, o cijenama u klubovima u koje zalaze, a ne slaže se pretjerano ni s muškim dijelom njihovog društva koji ih časte. Istovremeno, ne uspijeva pronaći otvarač za pivo koje je kupio u lokalnom dućanu i kojega će popiti kod kuće. Naglasak je pritom, osim na nepravednu razliku u cijeni pića u dućanu i u klubu, stavljen i na rodno pitanje: replikom „...prije si mogel upast u svaki lokal, kurac, popit si kaj hoćeš...“ i Sanjinim odgovorom da možeš i sad, na što Božo zaključuje da možeš ako si žensko (Radaković 2002: 10), problematiziraju se dvije potrošačke skupine, „šminkeri“ i „navijači“, pri čemu ovi prvi piju manje i skuplje, a djevojkama pića plaćaju, dok ovi drugi rijetko kada piju i u kafićima, nego kupuju veliko pivo u dućanu, piju više, a povremeno se, kao Božo svojoj sestri, požale što cure njima nešto ne plate. Također, radi se o pitanju prikupljanja kapitala, odnosno odakle novac „šminkerima, unproforcima, crnima“, dok niža socijalna klasa nema novca.

Rasprava o zaradi i potrošnji nastavlja se u drugom prizoru u kojem sudjeluje cijela četveročlana obitelj. Patrijarhalni sustav vidljiv je unatoč tome što je otac nezaposlen, odnosno, prema svojim riječima, niti ne želi raditi, što je zaostatak njegove buntovničke mladosti i pokušaj otpora radnoj kulturi u tranziciji, i to iz dokolice.. Majka je, kao što saznajemo u četvrtom prizoru, jedina zaposlena, hrani obitelj, ali i obavlja kućanske poslove. Čini se da muška riječ u ovim prizorima ima veću težinu, čemu svjedoči intonacija i broj replika muških likova, no ipak se Mariji treba opravdati kada se raspituje odakle kome u obitelji novac za troškove koji, prema njezinom mišljenju, nisu potrebni. U kratkoj raspravi s Žacom oko njegove nezaposlenosti i njezinog rada za cijelu obitelj, replike su podjednake dužine i žestine, a međusobne optužbe i opravdanja ne prerastaju u žešću svađu, liče više na svakodnevnu prepirku koja neće promijeniti situaciju, što sve daje dojam da obitelj ne živi u posebnom skladu, niti u naročitoj neskladu, da se snalaze u tranziciji, ne žive ni dobro ni loše, odnose se s nostalgijom za „prošlim vremenima“ i nastoje pružiti otpor potrošačkoj kulturi, koji samo prividno uspijeva, što je njima, uostalom i dovoljno.

Sukob generacija ostvaren je na ideološkoj i dokoličarskoj razini. Stari buntovnik Žac s dečkima Božine generacije uglavnom razgovara o alkoholu i nogometu, s nostalgijom se prisjećajući svoje mladosti: u „njegovo vrijeme“ igrao se bolji, pošteniji, rekli bismo, profinjniji nogomet, a pilo se tradicionalno i umjereno.. Kada se govori o nogometu, dečki ga obično slušaju, no njegovu naviku pijenja gemišta Božo smatra staromodnom, a pijenje piva svojstvom „nove generacije“, nakon čega mu Žac predbacuje neumjerenost i „balav“ odnos prema pijenju. Početkom drugog poluvremena, prije nego li se dečki vraćaju iz obližnjeg kafića gdje su otišli „presjeći“ jednim kratkim žestokim pićem, Renata dolazi po Sanju pa njih dvije vode kratak razgovor s Marijom. Majčinski zaštitnički odnos i ispitivanje o tome gdje i s kim djevojke izlaze nailazi na neodobravanje kod Sanje, koju to očito živcira, dok se Marija opravdava svojim odgojem prema kojem je svojoj majci uvijek govorila u koje, tada popularne, klubove i kafiće izlazi. Sve navedeno svakodnevne su rasprave, nemaju težinu pravoga sukoba i potvrđuju raniju tezu da drama počiva na povremenom nerazumijevanju i manjim verbalnim neslaganjima, ali pravog dramskog sukoba ovdje nema.

Elementi popularne kulture

Sljedeće ću odlomke posvetiti kratkoj analizi brojnih motiva vezanih uz popularnu kulturu, kulturu dokolice i svakodnevice koji se u drami pojavljuju vrlo često, pokazujući nam dijalog drame s popularnom kulturom i mogućnost da tekst i sam zaživi kao njezin aktivni dio.

Nogomet je središnji tematski dio drame, a likovi osim navijanja govore o pravilima, povijesti NK Dinamo iz Zagreba, ali spominju i utjecaj nogometa na kulturu. Uvodna didaskalija pretpostavlja da soba koju gledamo na pozornici izgleda poput „malog hrama BBB-a“. Kao rekviziti spominju se suvenirni, koje fanovi oduvijek skupljaju, ali i posteri, čija je popularnost kao kolekcionarskog materijala mladih nestala otprilike s devedesetima i značke, popularne u socijalizmu, a danas uglavnom u ulozi kolekcionarskog materijala. U petom prizoru prvog poluvremena ulaze dečki spremni za utakmicu. Didaskalija otkriva njihov izgled koji i danas važi kao navijački imago: „spitfajerice“, kape, šalovi i majice s navijačkim motivima i plave traperice. Zbog izgleda i načina na koji dečki ulaze, Marija ironično komentira da je Božo doveo cijeli stadion, na što joj on odgovara da Sjever nije mogao doputovati, misleći upravo na najvatrenije navijače koji se tradicionalno okupljaju na sjevernoj maksimirskoj tribini.

Dijakronijska perspektiva otpora javlja se u obliku priča o socijalizmu i o aktualnom ratnom stanju u državi. U četvrtom prizoru prvoga poluvremena Božo prepričava situaciju iz kafića kada je branitelj obolio od PTSP-a ozlijedio njegovog prijatelja strelicom za pikado, a Jura se nadovezuje s pričom o samoubojstvu nekog branitelja, također oboljeloga, na Jarunu. Iako je moguće da likovi ove priče barem djelomično izmišljaju, ili su i sami čuli prepričavanja, slušatelji uvijek slušaju onoga koji pripovijeda, jer su priče očito zanimljive, bile one vjerodostojne ili ne. Priče toga tipa redovita su tema tzv. drame ratne traume, koja je česta i u hrvatskoj književnosti 90-ih i početka 2000-ih, a nerijetko su se pojavljivale u crnim kronikama dnevnoga tiska (Isto: 18-20). Zatim, u trinaestom prizoru, svjedoci smo Božinoj ratnoj priči iz prve ruke. U početku usmjerena na navijače Hajduka koji uvredljivo skandiraju navijačima suparničkog kluba, Božina kritika opravdava Zagrepčane koji su u rat išli dobrovoljno. Na kraju, uzrujan, Božo se vraća na događaje s bojišta u Jamničkoj pa ga ostali smiruju ne bi li ih podsjetio na PTSP-ovce iz ranijih priča, iako i sam priznaje da bitku nije doživio, jer su ga slomljene noge otpustili pa time još jednom umanjuje vjerodostojnost priče, koja zbog je zbog ozbiljne tematike, vrlo ozbiljno shvaćena.

Budući da su domoljubi i navijači, čiju kulturu muški likovi u drami reprezentiraju, priče o rodnome gradu koje oni pripovijedaju prikazane su izrazito lokalpatriotski. Spominjali smo upadice susjeda Dalmatinca, koji izvana provocira zatvoreni navijački diskurs svojim periodičnim posjetima, a k tome prodaje vino i pršut hvaleći svoju domaću robu iznad jeftinije industrijske. U tim se scenama odjednom javlja mnoštvo glasova i raste napetost koja nikada ne prelazi u konflikt (susjedi su u dobrim odnosima), nego se kanalizira prema televizoru i situaciji na terenu, ili preko šala na račun Dalmatinaca koje nisu izravno upućene Anti, koji ih s podsmijehom prihvaća i ne propušta podsjetiti na situaciju da u prvom poluvremenu Hajduk uvjerljivo vodi s 2:0. Međutim, lokalpatriotizam se još jače odražava na mikrorazini, govorimo li o zagrebačkim kvartovima: Čuba kao najokorjeliji navijač, kome fizički sukob nije stran, prepričava kako se u klubu potukao zbog nečije izjave da je „Dubrava do Kvatrića“, na što je Čuba odgovorio da je „Trnje do Trgača“ i izazvao sukob.

Rituali svakodnevice za navijače su povezani s mačizmom, samodokazivanjem i otporom dominantnoj kulturi. Slobodno vrijeme, kojega mladi likovi uglavnom imaju previše, provode u socijalnom eskapizmu u vidu alkoholizma i konzumacije opojnih sredstava, u kvartu ili kafiću, „ne radeći ništa“ uz cigaretu, na tribinama i u tučnjavi. Ova stereotipna slika navijača čitatelju je poznata iz medija i svakodnevice, ali drama ne prikazuje ni jedan lik negativno, nego se fokusira na njihove socijalne probleme, društvenu nezainteresiranost i pozitivan otpor prema dominantnoj kulturi, ideologiji i ratnom neprijatelju. Oni su pripadnici alternativne kulture, koja ne teži postati dominantnom, čak i prihvaćaju činjenicu da će nekako upravo njihova socijalna klasa biti u svakoj situaciji potlačena i da im ništa drugo ne preostaje, nego se braniti i pružati otpor. Stoga mladim muškim likovima ove drame nisu strana mačistička hvalisanja u vidu priča o sitnim zabranjenim radnjama, npr. pušenju duhana u osnovnoj školi i opravdavanju svog statusa pušača (Isto: 42-44), tučnjavama u kvartu (45), ali i na Maksimiru i u Beogradu (61-3), a pri kraju i podsmijavanje njima suprotnim supkulturama: studentima s Filozofskog fakulteta (65) i hipijima (69) u sceni kada zajedno s njima Žac puši „travu“. Likovi mladih djevojaka, Sanje i Renate, replikama su manje zastupljene u drami i također stereotipno oblikovane. Kao pripadnice dominantne potrošačke struje, neće se zapravo slagati s navijačkim navikama i pričama, ali će ih tolerirati, jer su i same, zapravo, pripadnice iste klase. u međusobnim razgovorima

pojavljuju se teme iz svakodnevice, kao posudba odjeće, ili u drugom poluvremenu, problematiziranje abortusa, „abiča“, kako one izgovaraju (Isto: 52).

Zaključak

Ovim radom nastojala se pokazati mogućnost da se dramu kao književnu vrstu shvati u kontekstu popularne kulture, bilo kao tekst ili predstavu koja se svojim žanrom, tematikom, stilom i jezikom nudi široj publici i postaje dijelom glavne popularno-kulturne struje, ili barem kao tekst ili predstava koji u tolikoj mjeri dijalogizira s popularnim, sadrži u sebi reference na popularnu kulturu i reprezentira situacije iz iste. Činjenica da je drama praižvedena u satiričnom kazalištu, pred publikom sačinjenom uglavnom od navijača nogometnog kluba te uz pratnju popularnog pop-rock benda, da uz to, kao što je prikazano u analizi, reprezentira elemente navijačke supkulture (ili čak kontrakulture u ovoj situaciji, kada navijači postaju subverzivni element u borbi protiv tadašnje uprave kluba, ministarstva i predsjednika), zagrebački kvartovski žargon i tipična mjesta iz svakodnevice radničke i srednje građanske klase iz vremena kada je tekst nastao, potvrđuje nam da se o drami može govoriti u užem kontekstu popularne kulture. Treba ipak biti oprezan pri zaključivanju na temelju ovoga komada koji služi kao dobar primjer za potvrdu postavljene teze, jer predstava nije doživjela mnogo izvedbi, a tekst je u knjizi objavljen tek osam godina nakon praižvedbe, a ne smije se zanemariti ni to da je dramu moguće svrstati u postmodernu književnost, gdje je granica između popularne i dominantne kulture vrlo tanka, ako nije i ukinuta.

Literatura

- Kolanović, Maša (2011), *Udarnik! Buntovnik? Potrošač...* - popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije. Zagreb, Naklada Ljevak.
- Nikčević, Sanja (2003), *Djed i alkohol, sin i droga*. *Vijenac*, #234
<http://www.matica.hr/vijenac/234/Djed%20i%20alkohol,%20sin%20i%20droga/> <29. 06. 2016.>
- Radaković, Borivoj, (2002). *Plavi grad – Zagrebačke drame*. Zagreb, Henacom.

Magdalena Gapsa

Univerza v Lodžu, Filološka fakulteta, Lodž, Poljska
magdagapsa@onet.eu

Najpogostejša otroška imena v Sloveniji in na Poljskem

First name is one of the most important words our life, even though we are not fully aware of it. Nowadays it has lost its important protective functions. Parents choosing a name for their child are no longer guided by its original meaning but more and more often by prevalent fashion.

The aim of this work is comparison of the most common baby names in Slovenia and Poland. The meaning of the most popular names will be presented briefly as well.

Key words: first names, baby names, Poland, Slovenia

Zelo pogosto se zgodi, da gremo kar ravnodušno mimo svojega imena – domnevamo, da je dano od naših staršev in nima večjega pomena ter vpliva na naše daljše življenje. Vendar je ime ena izmed najpomembnejših besed (če ni najpomembnejša) v življenju vsakega človeka. Z njegovo pomočjo je možna identifikacija. To je tudi prva stvar, ki jo o nas izve družba. Nekdaj naj bi ščitilo otroka pred hudobnimi duhovi ali povzročalo neke lastnosti karakterja ter videza. Danes je ime izgubilo svoje izjemno pomembne voščilno-zaščitniške funkcije (Keber 2002a). Starši imena za svojega otroka ne izbirajo več toliko na podlagi pomena, ampak glede na to, katera imena so v modi oz. se skladajo s priimkom. Deset najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na izbor in dajanje imen, je opisoval tudi slovenski jezikoslovec in slavist Janez Keber, in sicer v članku *Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji*.

V obdobju globalizacije se lahko družimo s predstavniki drugih držav. Točno takrat se zavedamo različnosti imen glede na državo porekla. V svojem delu se bom osredotočila na najpogosteje dana imena v zadnjem času, in sicer v meni najbližjima državama – na Poljskem in v Sloveniji. Cilj dela je primerjava najpogostejših imen za novorojenčke v obeh državah po podatkih iz leta 2014.

1. Ime je predmet jezikoslovnih raziskav. Spada v jezikoslovno znanstveno vedo, poimenovano imenoslovje (onomastika). Osebna imena obravnava antroponomastika. Že prej so bile obdelane raziskave o izvoru imen ter o pogostnosti njihove uporabe. V Sloveniji so se s tem ukvarjali v glavnem Franc Miklošič, France Kos, France Bezljaj, Franc Jakopin, Pavle Merkuš, Snježana L. Štuhec, Zora Tavčar ter Janez Keber, na čigar dela in članke se bom še večkrat sklicevala. Glavni raziskovalci na Poljskem so Witold Taszycki, Tadeusz Milewski, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Rzetelska-Feleszko, Aleksandra Cieślíkowa, Jan Grzenia, Franciszek Sowa ter Maria Malec, avtorica knjige *Imię w polskiej antroponimii i kulturze*, ki vsebuje množico uporabnih podatkov.

2. Da bi našli pravi odgovor, kaj je v bistvu ime, pogledimo v slovar. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo:

»imé [...]

1. beseda, več besed, ki se uporabljajo za razlikovanje, določevanje

a) posameznega človeka

b) posameznega iz iste vrste [...] osebno ime lastno ime človeka« (SSKJ, 1975: 23,24)

Tukaj se je vredno sklicati na raziskave Janeza Kebr, ki opozarja, da ima beseda *ime* v slovenščini več pomenov. *Ime* je del *osebnega imena*, ampak vemo, da *ime* lahko pomeni tudi katerokoli *lastno ime*. Takrat, ko *imena* ne spremlja *priimek*, govorimo o *rojstnem imenu* oz. *krstnem imenu* pri kristjanih. *Osebno ime*, ki je osnovno identifikacijsko sredstvo, se nahaja tudi v registrih prebivalstva. V Sloveniji je to Centralni register prebivalstva Republike Slovenije (CRP), na Poljskem pa Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) (Keber 2002).

3. Najnovejši podatki, tako poljski kot slovenski, predstavljajo seznam najpopularnejših imen za novorojenčke iz leta 2014. Osredotočila se bom samo na deset najpopularnejših imen za fantke in deset za punčke v obeh državah, ter na kratko prikazala njihov pomen. Imena so navedene po pogostnosti uporabe. Vse statistične podatke o pogostnosti

uporabe imen in številu otrok, ki jih nosijo, prihajajo iz spletnih strani Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in poljskega Ministrstva za notranje zadeve in administracijo (MSWiA). Ker obstaja veliko slovarjev oz. leksikonov, ki podrobno razlagajo etimologijo imen, ni smiselno, da bodo tukaj le prepisane, saj si vsak lahko sam poišče podrobno razlago. Iz poljskih knjig posebej priporočam tri – *Księga naszych imion* (J. Bubak, 1993), *Twoje imię* (H. Fros, F. Sowa, 1995) ter *Słownik imion* (J. Grzenia, 2002). Osnovno slovensko delo o izvoru in pomenu imen je *Leksikon imen* (J. Keber, 2001), vredna ogleda je tudi knjiga *Vse o imenih v Sloveniji* (S. Lenarčič, 2012).

Podatki v naslednjih dveh odlomkih bodo navedeni po naslednjem vzorcu: ime; ustrezno ime v slovenščini/poljščini; izvor oz. nastanek imena; pomen; morebitni dodatni komentarji ali podatki. Pri iskanju ustreznega imena v drugem jeziku sem si pomagala s knjigo *Słownik imion* (W. Janowowa, 1991), če pa ni vsebovala določenega imena – s spletno stranjo *Behind the Name*.

3a. Najpopularnejša imena za fantke v Sloveniji in na Poljskem.

Tabela 1: Najpogostejša imena za dečke leta 2014

Vira podatkov: spletni strani SURS in MSWiA

	Slovenija		Poljska	
	ime	število	ime	število
1	Luka	276	Jakub	9 382
2	Nik	269	Kacper	7 232
3	Filip	253	Antoni	7 143
4	Jakob	240	Filip	6 903
5	Mark	208	Jan	6 817
6	Žan	203	Szymon	6 112
7	Anže	197	Franciszek	5 139
8	Jan	183	Michał	5 004
9	Jaka	180	Wojciech	4 959
10	Vid	177	Aleksander	4 896

POLJSKA:

JAKUB; sl. Jakob: svetopisemsko, hebrejsko ime; pomeni 'Bog naj varuje'; pomen povezan tudi z besedo *peta*, ker se je *Jakob* rodil kot drugi dvojček in se je držal svojega brata Ezava za peto – takrat pomeni 'on drži za peto' ali 'on sledi za kom' (Fros in Sowa 1995: 297; Keber 2001: 251);

KACPER; sl. Gašper, Gašpar: narečna različica perzijskega imena *Kasper*; pomeni 'stražar zakladnice, zakladnik' ali 'veličasten' oz. 'tisti, ki skrbi za svojo čast' (Grzenia 2002: 181, 185);

ANTONI; sl. Anton, Antonij: latinsko ime; pomeni 'izhajajoči iz rodu Antonii' (Fros 1995: 102);

FILIP; sl. Filip: grško ime; pomeni 'ljubitelj konj' (Fros in Sowa 1995: 228);

JAN; sl. Janez, Jan: biblijsko, hebrejsko ime; pomeni 'Jahve (tj. Bog) je milostljiv, se je usmilil' (Keber, 2001: 254);

SZYMON; sl. Simon: hebrejsko ime; pomeni 'Bog je poslušal' (Grzenia 2002: 302);

FRANCISZEK; sl. Frančišek, Franc: germansko ime; pomeni 'človek iz plemena Frankov' (Grzenia 2002: 128);

MICHAŁ; sl. Mihael, Miha: biblijsko, hebrejsko ime; pomeni 'kdor je kakor Bog' (Grzenia 2002: 242; Keber 2001: 352);

WOJCIECH; sl. Vojteh: slovansko dvočlensko ime, sestavljeno iz *Voj-* 'vojak' in *-ciech* 'veseliti (se), uteha' (Grzenia 2002: 331);

ALEKSANDER; sl. Aleksander: grško ime; pomeni 'tisti, ki brani može, skrbi za može' ali 'tisti, ki odvrča može (privzeto – vragove)' (Grzenia 2002: 43);

SLOVENIJA:

LUKA; pl. Łukasz: latinsko ime; po eni razlagi pomeni 'tisti, ki izhaja iz Lukanije', po drugi razlagi je povezan z besedo *lux* v pomenu 'svetloba, svetlost, sijaj' (Keber 2001: 314);

NIK; *pl. Mikolaj*: skrajšana oblika grškega imena *Nikolaj*; pomeni 'zmaga v boju' (Keber 2001: 379);

FILIP: gl. gor;

JAKOB: gl. gor;

MARK; *pl. Marek*: skrajšana oblika imena *Marko*; latinsko ime; pomeni 'Martov, nanašajoč se na boga Marta' ali 'kladivo' (Keber 2001: 336);

ŽAN; *pl. Jan*: različica imena *Janez* (gl. *Jan*); izhaja iz francoskega imena *Jean* (Keber 2001: 509);

ANŽE; *pl. Jan*: različica imena *Janez* (gl. *Jan*); skrajšana ali ljubkovalna oblika iz starejših oblik imena *Janez*, lahko tudi iz nemške oblike *Hans* (Keber 2001: 118);

JAN; *pl. Jan*: skrajšana oblika imena *Janez* (gl. *Jan*) (Keber 2001: 253, 254);

JAKA; *pl. Jakub*: različica imena *Jakob* (gl. *Jakub*) (Keber 2001: 250, 251);

VID; *pl. Wit*: latinsko ime; pomeni 'življenje', lahko tudi 'mladič' ali 'ded'; nekatere različice imena se dajo razlagati tudi iz slovanskega *vit* 'vladar, mogočen, vladajoč' (npr. *Vitomir, Ljudevit*) ali iz germanskega *wid* 'gozd' (Keber 2001: 484);

3b. Najpopularnejša imena za punčke v Sloveniji in na Poljskem.

Tabela 2: Najpogostejša imena za deklice leta 2014

Vira podatkov: spletni strani SURS in MSWiA

	Slovenija		Poljska	
	ime	število	ime	število
1	Eva	282	Lena	9 642
2	Ema	271	Zuzanna	8 856
3	Nika	228	Julia	8 572
4	Lara	227	Maja	8 055
5	Sara	222	Zofia	6 733
6	Zala	207	Hanna	6 407
7	Julija	206	Aleksandra	5 935
8	Mia	202	Amelia	5 586
9	Neža	188	Natalia	5 205
10	Zoja	179	Wiktoria	5 149

POLJSKA:

LENA; *sl. Lena*: skrajšana oblika imena *Helena*, deluje tudi kot pomanjševalnica oz. različica imena *Magdalena*; grško ime; pomeni 'sijajna, bleščeča' (privzeto – kot Luna) ali 'plamenica' (Bubak 1993: 191; Grzenia 2002: 143; Keber 2001: 229, 299, 316);

ZUZANNA; *sl. Suzana*: biblijsko, hebrejsko ime; pomeni 'lilija' (Grzenia 2002: 338);

JULIA; *sl. Julija, Julka*: latinsko ime, nekateri strokovnjaki ga uvrščajo med keltska imena; ženska oblika imena *Juliusz*, pomeni 'izhajajoča iz rodu Julija' (Bubak 1993: 162, 164; Fros in Sowa 1995: 325);

MAJA; *sl. Maja*: skrajšana oblika oz. različica imena Marija; pomeni 'ugledna, častivredna' (Grzenia 2002: 222);

ZOFIA; *sl. Zofija, Zofka*: grško ime; pomeni 'modrost' (Fros in Sowa 1995: 542);

HANNA; *sl. Ana, Anica, Anja*: takšna oblika je v stari poljščini nastala kot posledica izgovorjave s pridihom imena *Anna*; hebrejsko ime; pomeni 'milost, usmiljenje', njegov smisel je lahko 'polna prisrčnosti, milosti' (Grzenia 2002: 55, 142);

ALEKSANDRA; *sl. Aleksandra*: ženska različica imena *Aleksander* (gl. gor) (Grzenia 2002: 43);

AMELIA; *sl. Amelija, Amalija*: starogermansko ime; pomeni 'pogumna, aktivna' (Grzenia 2002: 48);

NATALIA; *sl. Natalija, Nataša*: latinsko ime; pomeni 'dan rojstva' ali 'rojen na božič' (Grzenia 2002: 253);

WIKTORIA; *sl. Viktorija*: latinsko ime; pomeni 'zmaga' (Grzenia 2002: 324);

SLOVENIJA:

EVA; pl. Ewa: svetopisemsko ime; pomeni 'dajajoča življenje, mater' ali 'mati živečih' (Fros in Sowa, 1995: 217; Keber, 2001: 196);

EMA; pl. Emma: skrajšana oblika nemškega imena *Emma*; pomen povezujejo tudi z grško besedo *ármenos* 'dodan, prilegajoč se' (Keber 2001: 188);

NIKA; pl. Weronika, Nikola: ženska skrajšana ustreznica imena *Nikolaj* (gl. *Nik*) (Keber 2001: 379);

LARA; pl. Larysa: skrajšana oblika starogrškega imena *Larisa*; nekateri dopuščajo, da je *Lara* različica imena *Laura*; pomeni 'prebivalka Larise, ženska z Larise' (Keber 2001: 295);

SARA; pl. Sara: svetopisemsko, hebrejsko ime; pomeni 'kneginja, vladarica' (Keber 2001: 425);

ZALA; pl. Rozalia, Róža: skrajšana oblika imena *Rozalija*, izpeljanke iz imena *Rosa*; pomeni 'roža'; ljudskoetimološko se lahko ime *Zala* povezuje s pridevnikom *zála* in bi bilo tako sorodno z imeni *Krasna*, *Lepa* (Keber 2001: 499, 416);

JULIJA; pl. Julia: gl. gor;

MIA; pl. Maria: različica imena *Marija*; svetopisemsko, hebrejsko ime; pomeni 'tista, ki jo ljubi Bog', 'razsvetljevalka' ali 'gospa, vzvišena' (Keber 2001: 324);

NEŽA; pl. Agnieszka: izhaja iz latinskega imena *Agnes*; nastalo je po izpustu prvega zloga; pomeni 'čista, nedolžna' ali 'jagnje' (Keber 2001: 377);

ZOJA; pl. Zoe: grško ime; pomeni 'življenje'; po pomenu je sorodno imenom *Živa* ter *Vida* (Keber 2001: 504);

4. Raziskovalni problem, predstavljen v članku, je vreden daljših raziskav in poglobljanja. Gradivo v njem je predstavljeno skromno in zaradi omejitve dolžine članka ni možno opisati vsega, kar je pomembno. Vendar lahko že s tako maloštevilnimi primeri vidimo, da v obdobju globalizacije in jezikovne internacionalizacije obstajajo podobnosti med otroškimi imeni na Poljskem in v Sloveniji ter da uporabljamo podobna imena. Pomembno je, da so v obeh državah kljub geografski oddaljenosti so popularna ista imena, na primer Jakob, Jan, Filip med ženskimi pa Julija. Če pogledamo še malo starejše statistične podatke, lahko opazimo nekakšno okamnitev sistema imen. Že nekaj let otroci dobivajo ista imena. Verjetno večina staršev sledi prevladujočim trendom in hoče dati otroku ime, ki je trenutno modno. Zaradi tega so se v zadnjem času na Poljskem rodile večinoma le Julije (ime *Julia* je bilo najpogosteje dano dekliško ime na Poljskem, vse do leta 2013, ko je najpopularnejše ime postalo *Lena*) ali Jakubi (ime *Jakub* je med najpogosteje danimi imeni na Poljskem na prvem mestu neprekinjeno že najmanj deset let), v Sloveniji pa je večina fantkov poimenovana Luka ali Nik (v takšnem zaporedju sta obe imeni najpogosteje dani imeni za fantke neprekinjeno od leta 2010). Majhen sled globalizacije je lahko tudi to, da se skoraj ne pojavljajo v uporabi slovanska zložena imena (razen imena *Wojciech* na Poljskem).

Treba je vzeti na znanje tudi splošno slovensko težnjo po dajanju otrokom zelo kratka imena (P. Jakopin (1996) je dokazal, da je povprečno slovensko ime dolgo 5.88 črke). Slovenci imajo raje imena sestavljena iz treh ali štirih črk ali dveh zlogov. Če preštujemo povprečno število črk in zlogov slovenskih in poljskih imen, navedenih v tem članku, dobimo naslednje rezultate: Poljska: fantovska imena – 6.5 črke, 2.3 zloga; dekliška imena – 6.1 črke, 2.6 zloga; Slovenija: fantovska imena – 3.8 črke, 1.5 zloga; dekliška imena – 3.9 črke, 2.1 zloga. Moda izbiranja kratkih imen ima korenine v 80-ih letih, že močno pa se kaže v 90-ih letih (Žajdela, 2009). Morda je to posledica želje staršev, da bi dali otroku izvorno, nenavadno ime. Mogoče je to tudi vpliv Zahoda. Tudi ta zadeva je vredna nadaljnjih raziskav.

Bibliografija

- Bajec, Anton (1975), *Slovar slovenskega knjižnega jezika. Knj. 2, I-Na*. Ljubljana, SAZU, Inštitut za slovenski jezik.
- Bubak, Józef (1993), *Księga naszych imion*. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Fros, H. in Sowa, F. (1995), *Twoje imię: przewodnik onomastyczno-hagiograficzny*. Kraków, Wydawnictwo WAM.
- Grzenia, Jan (2002), *Słownik imion*. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Jakopin, Primož (1996), Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov? *Slavistična revija*, 44 (2), 193-200.
- Janowowa, W., Skarbek, A., Zbijowska, B. in Zbinowska, J. (1991), *Słownik imion*. Wrocław, Warszawa, Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
- Keber, Janez (2001), *Leksikon imen: izvor imen na Slovenskem*. Celje, Mohorjeva družba.
- Keber, Janez (2002a), Rojstna imena, hišna imena, vzdevki, psevdonimi v Sloveniji. *Jezikoslovni zapiski*, 8 (2), 47-69.
- Keber, Janez (2002b), Slovarček imenoslovnih in drugih jezikoslovnih izrazov. *Jezikoslovni zapiski*, 8 (2), 141-150.
- Lenarčič, Simon (2012), *Vse o imenih v Sloveniji*. Ljubljana, Modrijan.
- Malec, Maria (2001), *Imię w polskiej antropimii i kulturze*. Kraków, Wydawnictwo Naukowe DWN.
- Rzetelska-Feleszko, Ewa (2002), *Słowiańska onomastyka, encyklopedia (Zv. I)*. Warszawa, Kraków, Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
- Žajdela, Ivo (22. 2. 2009), Velik del imen pri nas je tujega izvora. *Družina*. Pridobljeno 21. 6. 2016 s spletne strani <https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/58-8-NasPogovor-1>.
- Najpogostejša imena rojenih v 2014*. Statistični urad Republike Slovenije. Pridobljeno 21. 6. 2016 s spletne strani <http://www.stat.si/ImenaRojstva/sl/BabyNames>.
- Najpopularnije imiona nadawane w 2014 roku*. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pridobljeno 21. 6. 2016 s spletne strani <http://www.mswia.gov.pl/download/1/21627/imiona-2014.pdf>.
- Behind the Name*, <http://www.behindthename.com>.

Tomasz Zoltán Heffler

Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
heffler.tomasz@eninternet.hu

Dysfemizmy, kakofemizmy i eufemizmy w polskim slangu i mowie potocznej

This paper focuses on euphemisms and dysphemisms in Polish slang. Euphemisms are expressions used in place of ones that may be offensive or suggest something unpleasant. Usually they are used to refer to taboo topics such as sex and religion and can be caused by superstition, politeness or self-censorship etc. Dysphemisms on the other hand are expressions which are offensive and contrast with euphemistic expressions. Usually are motivated by hatred or contempt etc. Euphemisms and dysphemisms can be expressed in a number of ways, including metaphor, metonymy, synecdoche and irony.

Key words: Polish slang, euphemism, dysphemism, cacophemism, colloquial speech, emotive and expressive function

Jak wiadomo, slang cechuje silna ekspresywność i ludyczność. Inną ważną cechą slangu jest immutacja, a więc zastępowanie słów innymi – w tym przypadku chodzi o zastępowanie słów pierwotnych, całkowicie przyjętych przez społeczeństwo w dowcipny, zabawny, oryginalny sposób. (Cseresnyési 2004: 69, 71; Várnai – Kis: 22) (Kwestia tego, co uznajemy za dowcipne i oryginalne należy oczywiście do kwestii subiektywnych.) Użyte odpowiedniki będą nacechowane w jakiś (często hiperboliczny) sposób w stosunku do oryginalnego słowa (*nazwa wprost, verbum proprium* [Dąbrowska 2009: 12] lub *ortofemizm* [Allen – Burridge: 31]), co wynika z funkcji ekspresywno-uczuciowej slangu. To nacechowanie może być pozytywne, neutralne lub negatywne. Slang nacechowany pozytywnie lub neutralnie w stosunku do nazwy wprost możemy uznać za eufemizujący, a slang mający stosunek negatywny, analogicznie, za dysfemizujący (lub kakofemizujący).

Eufemizmy i dysfemizmy charakteryzują się większą kolokwialnością i obrazowością niż *verbum proprium* do którego się odnoszą. (Allen – Burridge: 33; Szathmári 2004: 44) Warto dodać, że według Cseresnyésiego, (2004: 72) slang, z powodu swojego zastępczego charakteru, jest w pewnym sensie spokrewniony z eufemizmem. Uzasadniają to także Dumas i Lighter (Várnai – Kis: 295) pisząc, iż charakterystyczną cechą slangu jest to, że „chroni on użytkownika przed krępującym uczuciem powodowanym użyciem konwencjonalnego wyrażenia”, co w pewnym sensie moglibyśmy uznać za częściową definicję eufemizmu. W swoich piętnastu punktach dotyczących charakterystyki slangu Partridge twierdzi, iż powodem użycia slangu między innymi jest próba łagodzenia, a więc eufemizacja tragedii i nieuchronności przed śmiercią. (Várnai – Kis: 22) Można by tu jeszcze wspomnieć Czeszewskiego, który pisze w słowie wstępnym do swojego *Słownika polszczyzny potocznej* następująco: „liczne eufemizmy i frazeologizmy [mowy potocznej] pokazują, jakich treści nie umiemy wyrażać, używając polszczyzny ogólnej.” (2008: 5)

Do użycia eufemizmów z pragmatycznego punktu widzenia skłaniają między innymi takie powody, jak strach, różne zakazy społeczne (np. wstyd, przyzwoitość, skromność, własny interes itd.), oraz zamiar ominięcia wyrażenia wulgarnego lub drastycznego. (Dąbrowska 1999: 217–218) Jeśli chodzi o działanie tabu, tzn. zakazu społecznego, to „może [ono] obejmować różne dziedziny – od strachu przed śmiercią przez wstyd nazywania pewnych części ciała, części garderoby, funkcji fizjologicznych, podnoszenia prestiżu pewnych miejsc i zawodów.” (Dąbrowska 1999: 220)

Trzeba zaznaczyć, że eufemizmy na ogół występują tam, gdzie na oryginalne słowo zostało nałożone tabu społeczne (Dąbrowska 1999: 217), mimo to współcześnie możemy używać eufemizmów w każdym przypadku, gdy z powodów dyplomatycznych lub innych, ominięciem pierwotnego słowa chcemy zaprezentować kogoś, coś, lub siebie w jak najbardziej korzystnym świetle. (Dąbrowska 2009: 12). Szathmári (2008: 219) przypomina, iż w wypadku eufemizmów spotykanych w slangu powodem ich użycia jest w mniejszej mierze charakter *tabu*, taktowność, czy też chęć zamaskowania oryginalnego wyrażenia i konotacji, które się z nim wiążą. Według niego ich użycie jest raczej motywowane chęcią do odbiegania od uzusu, od normy językowej. Dlatego nazywa je

„*quasieufemizmani*”. (2008: 221) (Należy dodać, iż termin, który Szathmári uważa za trafny, pochodzi od innego badacza, nazwiska którego autor niestety nie zaznaczył.)

W przeciwieństwie do eufemizmów, kakofemizmów lub dysfemizmów używamy wtedy, gdy mamy na celu dewaluację, deprecjonowanie danego zjawiska lub danej osoby. (Na podstawie dostępnych definicji, które zazwyczaj twierdzą, iż dysfemizm/kakofemizm jest przeciwieństwem eufemizmu, można powiedzieć, że określenia *dysfemizm* i *kakofemizm* są sobie praktycznie równoznaczne i ciężko jest ustalić jakąkolwiek dystynkcję między nimi. [Dąbrowska 1999: 226; Szathmári 2004; Allen – Burridge: 31] Dlatego dla klarowności w dalszej części pracy będę posługiwał się terminem *dysfemizm*.)

Kartkując *Słownik eufemizmów* możemy stwierdzić, że część określeń w nim zawartych może być określona jako slang, jeżeli przyjmiemy, że slang jest pewnego rodzaju (podświadomą) grą, zabawą językową polegającą na zastępowaniu słów. (Cseresnyési: 71) (Trzeba zaznaczyć, że słownik zawiera również słowa określone jako „*eufemizmy wulgarne*”, które moim zdaniem w pewnych wypadkach można również zakwalifikować jako dysfemizmy.) Tutaj oczywiście musimy przypomnieć sobie fakt, iż ważnym elementem slangu jest świeżość i walka z normą, niekonwencjonalność, które wynikają z tego, że slang jest też pewnego rodzaju bronią służącą do zwalczania banałów oraz łagodzenia rzeczywistości. (Cseresnyési: 71) Więc jako slang powinniśmy zakwalifikować te słowa, które wykazują się w pewnym sensie błyskotliwością, metaforycznością, pomysłowością, a te które są po prostu frazesami niskiego prestiżu, będą należeć po prostu do mowy potocznej. Słów po prostu wulgarnych również nie powinniśmy zaklasyfikować jako slang, ale mimo to, wśród słów slangowych często zdarzają się wyrażenia wulgarne. (Szikszainé: 619) Wyrażenie sprośne według Cseresnyésiego (2004: 70) może być uznane za slang, jeżeli nie zostało ono użyte w jego prymarnym znaczeniu. (Warto to porównać z określeniem „*eufemizm wulgarny*” Dąbrowskiej.) Mimo wszystko ustalenie tego, które leksemy należą do slangu, a które należą do mowy potocznej, jest ciężkim zadaniem nawet dla językoznawcy zajmującego się tym tematem. Wynika to między innymi z tego, że, jak wiadomo, slang czerpie swój zasób słów z różnych dziedzin, tak więc i z mowy potocznej, a wiele słów slangowych, kończąc swój slangowy żywot, staje się częścią leksyki potocznej, a tego, od kiedy do kiedy słowo należy do leksyki slangu, ciężko ustalić, co wynika z natury zjawiska.

Mówiąc o slangu często możemy spotkać się z opinią, według której jest on przepełniony wulgaryzmami, mało tego, niektórzy nawet utożsamiają go z mową wulgarną. O tym, czy slang jest obsceniczny, chciałbym powoływać się na słowa Mihályja Pétera. Według niego slang nie uznaje tabu języka standardowego; wręcz przeciwnie, nazywa rzeczy po imieniu, z jednej strony ponieważ charakteryzuje go nonkonformizm, a z drugiej strony dla umocnienia ekspresywności, a więc z powodów funkcjonalnie uzasadnionych. Gdy w przeciwieństwie do slangu, stosuje się obsceniczny, wulgarny sposób mówienia i używa się słów tabuizowanych nadmiernie i bez funkcji, wyraża się przez to jedynie nieokrzesany i szorstki charakter mówiącego. Inną przyczyną, która powoduje, iż slang nie może być uważany za obsceniczny jest fakt, iż slangowe synonimy wyrażen tabu związanych z życiem seksualnym są pełne humoru, są dowcipnie eufemistyczne i metaforyczne, a jak twierdzi Péter, humor i obsceniczność wykluczają się wzajemnie. (Fenyvesi – Kis – Várnai: 32–33)

Ale jak każda zabawa lub gra, jak przypomina Cseresnyési (2004: 71), slang również może być grubiański i nieokrzesany. Tym możemy tłumaczyć dużą ilość dysfemizmów w slangu, co na pierwszy rzut oka nie godzi się z poprzednio wspomnianą funkcją „łagodzenia rzeczywistości”. Aczkolwiek jest to zjawisko relatywne. Wystarczy przypomnieć sobie niektóre powody motywujące użycie dysfemizmów i fakt, iż użycie dysfemizmu w odpowiedniej sytuacji może też sprawić ulgę mówiącemu (Allen – Burridge: 31), na przykład w wypadku napiętego nastroju, czy też wzburzenia emocjonalnego lub zdenerwowania. (Szikszainé: 259)

Podczas gdy eufemizmy łagodzą zbyt brutalne lub gorzkie fakty czy myśli, dysfemizmy służą właśnie do ich uwypuklenia. (Szathmári 2008: 217) Podobnie do eufemizmów, użycie dysfemizmów może być powodowane strachem albo też niesmakiem. Oprócz tego powodami mogą być: nienawiść, pogarda lub lekceważenie. Jak pisze Dąbrowska, dysfemizmy wykorzystuje się „głównie w celu gorszego przedstawienia złych cech przeciwnika, eksponowania jego wad, obniżania prestiżu niektórych narodowości [np. metonimiczne *hitlersyn* czy *adolf* o Niemcu] czy zawodów.” (1999: 226) Przykładami na takie dysfemizmy mogą być metonimiczne *ciapaty* o człowieku pochodzenia indyjskiego czy też pakistańskiego (*chapati* jest rodzajem pieczywa), *zabojad* o Francuzie,

makaroniarz o Włochu, albo *kebab* o Turku. (Możemy powiedzieć, że w przeciwieństwie do eufemizmów w slangu, w tym przypadku nie będziemy mówić o „*quasidyfemizmach*”.)

Osoba mówiąca może uciec się do użycia dysfemizmu, gdy osoba lub rzecz o której jest mowa frustruje lub denerwuje ją albo gdy denotatum budzi w niej dezaprobatę i w wyniku czego pragnie jej ubliżyć oraz ją upokorzyć, poniżyć i zdegradować. (Np. *kujon*, czy *dziobak* o dobrym uczniu.) Mówiący może też użyć dysfemizmu w celu autoironicznym (Szikszainé: 259), mając na celu uniknięcie dezaprobaty np. zazdrosnych współlokatorów i powodowanej nią ogólnej frustracji i napiętego nastroju. Przykładem na taki przypadek może być sytuacja, gdy nowo upieczony właściciel willi nazwie ją *chalupką*, a nowy samochód sportowy nazwie *bryczką* lub *wózkiem*. Według Szikszainé (2007: 618) użycie dysfemizmów może być też powodowane dążeniem do maskowania uczuć. Wiąże się z tym takie synonimy slangowe denotatów *dziewczyzna* i *kobieta* jak np.: *dupa*, *laska*, *lachon*, *cielęcinka*, *miotła*, *dojara*.

Musimy wreszcie wspomnieć o niektórych środkach stylistycznych, przez które wyrażają się eufemizm i dysfemizm. Eufemizm nie jest tropem samodzielnym. Korzysta on z form charakterystycznych dla innych tropów. Jak możemy oczekiwać, z powodu figuratywnej, ekspresywnej natury zjawiska będą to najczęściej klasyczne formy: metafora, metonimia, synekdocha, ironia oraz sarkazm itp. Warto zaznaczyć, że już sam Arystoteles twierdził, iż eufemizm jest w pewnym sensie metaforą, a według Kwintyliana jest on rodzajem ironii, która zresztą sama ma funkcję kamuflującą. Często jest też eufemizacja za pomocą wyrażen pochodzenia angielskiego, typu „*Dżizas/Dżizes/Dzisas*”, „*o, fuck!*” albo: „*co za shit!*”

Otyłość brzuszna (fachowo: *otyłość typu męskiego*, która zresztą jest również peryfrazą metonimiczną) możemy określić jako *beerceps* lub *mięsień piwny* – w pierwszym przypadku mamy do czynienia z połączeniem angielskiego słowa *beer* i *biceps*. Jest to eufemizm metonimiczny, ponieważ słowo *beer* wskazuje na przyczynę skutku; natomiast *biceps* jest jakby metonimią mięśni brzucha. W drugim przypadku chodzi o peryfrazę, to znaczy zastąpienie wyrazu szeregiem innych.

Eufemizmem słowa *prostytutka* może być np. *murwa*, co jest dobrym przykładem na eufemizm utworzony za pomocą zmiany fonetycznej. *Tirówka* czy *jagodzianka* będą eufemizmami metonimicznymi prostytutki stojącej przy szosie wzdłuż lasu, natomiast słowo *grzybiara*, które moglibyśmy zinterpretować podobnie do poprzedniego przykładu, będzie raczej dysfemizmem synekdochicznym – inaczej *pars pro toto* – ze względu na noszoną przez nią chorobę. Oczywiście możemy ją ująć też jako aluzję, czy też metonimię ze względu na to, że nie wiemy dokładnie, o jaką chodzi chorobę. *Dziura publiczna* albo *społeczna* jest peryfrazą, która zawiera element synekdochy. *Lambdziara* jest dysfemizmem metonimicznym kobiety spędzającej dużo czasu w dyskotekach; określenie nawiązuje do tytułu piosenki z lat czterdziestych, popularnej w pewnych kręgach kobiet. Podobnymi określeniami metonimicznymi mogą być *solaria* o kobiecie spędzającej dużo czasu w solarium i *barowa* o kobiecie czekającej przy barze, „aż jakiś *koks* stawi jej *drina*”.

Bard może być ironicznym określeniem grajka ulicznego, niekoniecznie grającego dobrze, zbierającego pieniądze na alkohol. *Jabol* jest metonimią taniego alkoholu i wskazuje na surowiec z którego został wyprodukowany, choć niekoniecznie, więc możemy go też uznać za metaforę lub ewentualnie metalepsję. *Awaria dupy* jest eufemizmem peryfrazującym; możemy też ją określić, używając terminu Dąbrowskiej, jako *eufemizm wulgarny*. Sytuacja jest podobna w przypadku peryfrazy *beton w dupie* określającej zatwardzenie.

Słowo *rzygać* możemy eufemizując określić metonimicznym *kebabować*; inną immutacją będzie *beltać*, co w swoim oryginalnym znaczeniu jest synonimem słowa *mieszać*. Słowem pochodnym od leksemu *beltać* będzie *belt*, który określa tani alkohol. Nie jest trudne zauważyć metonimiczne powiązania między leksemami.

Według Arystotelesa „ci którzy naśladują, przedstawiają postacie działające, a te z kolei muszą być szlachetne, albo nikczemne (niemal zawsze bowiem charaktery sprowadzają się do tych dwu rodzajów, gdyż o różnicy naszych charakterów stanowią wady i cnoty), przedstawiają je bądź jako lepsze, bądź jako gorsze, bądź jako takie, jakimi są w rzeczywistości.” (1448a) Myślę, że zmieniwszy wyrażenie „postacie działające” cytatu na wszelkie możliwe jednostki i wydarzenia świata, możemy w pewnej mierze zilustrować problem slangu, którym wszyscy, czy też w sposób świadomy, czy nie, usiłujemy wyrazić swój stosunek do rzeczy i zjawisk otaczającego nas świata, w którym żyjemy.

Bibliografia

- Allan, Keith - Burridge, Kate (2006), *Forbidden words. Taboo and the censoring of language*. New York, Cambridge University Press.
- Cseresnyési László (2004), *Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája*. Budapest, Tinta.
- Czeszewski, Maciej (2008), *Słownik polszczyzny potocznej*. Warszawa, PWN.
- Dąbrowska, Anna (2009), *Słownik eufemizmów, czyli w rzeczy mocno w sposobie lagodnie*. Warszawa, PWN.
- Dąbrowska, Anna (1999), Zniekształcenie obrazu rzeczywistości poprzez użycie pewnych środków językowych (eufemizm i kakofemizm), [w:] *Językowy obraz świata*, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin, s. 215-227.
- Fenyvesi Anna – Kis Tamás – Várnai Judit Szilvia (1999), *Mi a szleng? Tanulmányok a szleng fogalmáról*. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.
- Kis Tamás (1997), *A szlengkutatás útjai és lehetőségei*. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.
- Kurkowska, Halina – Skorupka, Stanisław (2001), *Stylistyka polska. Zarys*. Warszawa, PWN.
- Polański, Edward – Nowak, Tomasz (2010), *Leksykon wiedzy o języku polskim*. Kraków, Petrus.
- Szabó Dávid – Kis Tamás (2012), *Szleng és lexikográfia*. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.
- Szathmári István (2008), *Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve*. Budapest, Tinta.
- Szathmári István (2004), *Stilisztikai lexikon*. Budapest, Tinta.
- Sziksainé Nagy Irma (2007), *Magyar stilisztika*. Budapest, Osiris.
- Várnai Judit Szilvia – Kis Tamás (2002), *A szlengkutatás 111 éve*. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó.

Internet:

biblioteka.kijowski.pl/arystoteles/poetyka.pdf
figury.net.pl
www.miejski.pl

Dina Kamberić

Filozofski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
dina.kameric@gmail.com

Književnost, trauma, pamćenje: utjecaj antiratnog pisma na savremeno bosanskohercegovačko stvaralaštvo

Bosnian literature, created in the 90's of the last century, often categorized as anti-war literature, testifies about poetic changes that occurred under the influence of new social circumstances (war, transition).

Hybrid forms, confessional tone, problematize memory and trauma are some of characteristics of the genre of short stories that were published by writers such as Miljenko Jergović, Irfan Horozović, Aleksandar Hemon and others. This paper examines the ways in which anti-war Bosnian literature, particularly shorter literary forms, transformed later, and what is its impact on contemporary Bosnian-Herzegovinian literary production.

Key words: anti-war literature, trauma, memory, exile.

Bosanskohercegovačka književnost, nastajala devedesetih godina 20. stoljeća, često kategorizirana kao (anti)ratno pismo, svjedoči o poetičkom prevratu koji se desio pod utjecajem novih društvenih okolnosti. Raspad Jugoslavije, rat, a kasnije i tranzicija, upisali su se u književno stvaralaštvo, prije svega mlade generacije umjetnika.

Obrat prema angažiranoj književnosti, hibridnost književnih formi, dnevničko-ispovijedni ton, problematiziranje pamćenja i traume, obrat prema priči i pričanju, neka su od obilježja žanra kratke priče, kakve su pisali pisci Miljenko Jergović, Semezdin Mehmedinović, Selvedin Avdić, Karim Zaimović, Alma Lazarevska, Irfan Horozović i drugi. Načini na koje se antiratno pismo u Bosni i Hercegovini kasnije transformiralo su različiti, ali primijetan je kontinuitet prisustva teme rata od devedesetih naovamo.

Sedamdesetih, i naročito osamdesetih godina 20. stoljeća, poetika postmodernizma je dominantna poetika. Nove društveno-političke okolnosti, uvjetovane raspadom Jugoslavije, prouzrokovale su snažan poetički rez – prekid postmodernističkih književnih praksi i interes za nove narativne modele. Ova nagla transformacija, uvjetovana ratom, značila je okretanje stvarnosnoj prozi, najčešće formi kratke priče, koja graniči sa lirskim (*Sarajevo blues* Semezdina Mehmedinovića) u čijoj se osnovi vješto smjenjuju fiksijski i fakcijski elementi. Djela mlade generacije, nastajala devedesetih, propituju rat i poziciju pojedinca u njemu.

Nastajala često kao ispisivanje osobnih svjedočenja, ona pokazuje šta se desi kada zbilja prodre u književnost, kada se ostvari dodir teksta i vlastite kože.

Međužanrovska prožimanja i hibridizacija književnih formi, povratak priči i pričanju, obnova realističke tradicije, čime književnost postaje neka vrsta osobnog svjedočenja o ratu, označit će početak književnog fenomena koji još uvijek traje.

Djela nastala u ovom periodu iskazuju tragičnu poziciju pojedinca, nesprenog i nemoćnog da se suprotstavi povijesti. Pri tom se ističe apsurdistička slika pojedinčevog doživljaja velike povijesti i odricanje svakog oblika smislenosti njenih tokova (Kazaz 2006). Zanimljivo je da djela nastala u ovom periodu nemaju namjeru glorificirati nacionalni mit niti isticati povijesni kontinuitet kolektiva. Naprotiv, naslanjajući se na „austroугarsku temu“, koja je dugo bila opsesivna tema bosanske književnosti, čine obrat ka individualnom doživljaju pojedinca, koji ironiziranjem stvarnosti dovodi u pitanje smisao glorificiranja nacionalnog identiteta. Ovaj proces će naročito zaživjeti kasnije, kada djela budu odmaknuta od neposrednog dokumentarističkog svjedočenja. Stoga je primijetno redefiniranje povijesnog pamćenja, otpor prema mitologizaciji i nacionalnoj viktimizaciji u korist individualnih svjedočanstava o osobnim gubicima, strahu, stradanjima i apsurdu rata i nezavidne pozicije pojedinca u njemu, što u konačnici uvjetuje nove modele kulturnog sjećanja.

Stoga se vrši otklon prema izvanjskoj motivaciji, teme književnih djela postaju teme neposredne stvarnosti, za čije iskazivanje je najpodesnija forma kratke priče.

U ovom periodu se osjeća snažna dominacija žanra pripovijetke nad drugim žanrovima. Razlog se ogleda u podesnosti ove forme da se njome iskažu crtice iz svakodnevnog života, uklopljene u širi kontekst ratne zbilje. Kritika ovu pojavu tumači kao obnovu „pripovjedačke Bosne“, sintagme iza koje se krije specifičan odnos prema priči i pričanju u bosanskoj kulturi, u kojoj se, prelaskom iz usmene u pisanu formu pripovijedanja, petrificiraju značenja.

Pripovijetka se u našoj književnosti, slično romanu u drugim književnostima, našla u ulozi „romana u malom“, kako to definira Zdenko Lešić, sa biografskim narativom uklopljenim u osnov narativa pripovijetke (Kazaz 2006: 272).

Upravo taj biografski motiv omogućuje osobni pristup povijesti, odricanje od mitologema kolektiva i epsko-herojskog doživljaja nacionalne povijesti. Budući da mnogi pisci osobna iskustva iz vojničkog života pretvaraju u priču (npr. zbirka priča *Pod pritiskom* Faruka Šehića), u njima pronalazimo beznade i traumu koju proživljava pojedinac suočen sa smrću i snažan otpor prema kulturi ratništva.

Praveći distinkciju između nacije i ideologije, pisci uspijevaju izbjeći zamku banalnosti i uklapljanja u nacionalni viktimološki mit. Gubitak se tako pretpostavlja kao nadnacionalni poraz, čime se univerzalizira pozicija žrtve. Trauma, smrt i patnja transcendiraju i uklapaju se u univerzalnu traumu čovječanstva.

Kritika je poetski obrat nastao devedestih imenovala „novom pripovjedačkom Bosnom“, aludirajući na povratak priči i pričanju, ali i na specifične političke okolnosti u kojima su se ove poetike javile. Ova veza je vidljiva posebno na narativnom planu, u specifičnom načinu pripovijedanja koji postoji kao zapisana forma usmenog kazivanja. U tom kontekstu, zanimljivo je iščitavati djela Miljenka Jergovića (posebno zbirke pripovjedaka *Karivani* i *Sarajevski Marlboro*), te pripovijetke Fadile Nure Haver.

Tematski, okretanje ratnoj stvarnosti, nije u potpunosti isključilo postmodernističke postupke. Postmodernistička hibridnost se, na strukturalnom planu, ostvirivala kao žanrovska isprepletenost (*Sarajevo blues* Semezdina Mehmedinovića), kao simbioza kratke priče i poezije ili pak kao eksperimentiranje sa rubnim žanrovima. Tako u *Tajni džema od malina* Karima Zaimovića čitamo niz detektivskih priča čija je poveznica Sarajevo. Ironiziranje historijskih događaja, „tajna“ smisla svjetskog poretka urušava se u apsurdnosti čija je konačnost ratni užas.

Postmoderizam se nameće kroz interes za metatekstualnim iščitavanjem povijesti književnosti kao povijesti čovječanstva, također vidljivo u zbirci *Tajna džema od malina* ili, nešto kasnije, u romanu *William Shakespeare u Dar es Salamu* Irfana Horozovića, kao i u Jergovićevoj zbirci *Inšalah, Madona, inšalah*, u kojima, zbog pomjerenih granica fikcije i falcije nije jasno kada završava priča a počinje život.

Destabiliziranje mita postupkom karnevalizacije, tvorenjem groteske koja destruiira mit, u ovim djelima svjedoči o iznimno jakom prisustvu postmodernističke poetike. U drugim zbirkama, npr. *Sarajevski Marlboro* Miljenka Jergovića, *Davo u Sarajevu* Nenada Veličkovića, ili pak prozi Josipa Mlakića, osjetan je povratak naturalističkim narativnim postupcima, pri čemu proza postaje specifičan oblik svjedočenja. Lokalni ratni užas postaje metafora stradanja općenito.

Zasnivajući djelo na poetici svjedočaja i snažnom etičkom angažmanu, pisci ponekad cijele priče preuzimaju iz stvarnosti (*Priče s Dobrinje* Hadžema Hajdarevića) ili pak ispisuju autobiografske fragmente, kako to čini Faruk Šehić u zbirci priča *Pod pritiskom* ili pak Damir Uzunović i Josip Mlakić u svojim djelima, koji iskustvo vojnika upisuju u tekst.

S druge strane, autorice često grade priče u kontrastiranju ratnih i mirnodopskih tema (*Smrt u Muzeju moderne umjetnosti* Alme Lazarevske ili *Kad umrem da se smijem* Fadile Nure Haver). Unatoč tome što pripovijetke u ovom periodu problematiziraju užas rata, u njima, ironiziranjem patnje i uplitanjem duhovitih opaski iz svakodnevnog života, životna snaga uvijek nanovo poražava destruktivnu silu rata, onako kako to imenuje Fadila Nura Haver naslovom svoje zbirke priča.

Uvjetno podijeljeno na ratno, poslijeratno (tranzicijsko) i posttranzicijsko pismo, zbog interesa za neposrednu stvarnost, često iskazano (pseudo)dokumentarističkim formama i jednostavnijim jezikom, bosanskohercegovačka književnost dijeli slične puteve razvoja sa književnostima zemalja nastalih raspadom Jugoslavije, prevashodno

hrvatskom književnošću. Posmatrana u širem interliterarnom kontekstu, ova književnost zapravo ispisuje i kolektivne traume evropskih tranzicijskih društava.

Dvijehiljadite označavaju ponovnu dominaciju romana.

Zamijetno je da se opsesivne teme ratne književnosti nastavljaju u djelima kategoriziranim kao književnost u egzilu. S temom rata kao pozadinskim motivom, egzilantski pisci donose i novu dimenziju stradanja, identitarne krize pojedinca, istrgunog iz vlastitog kulturog konteksta, nasilno premještenog u novi, s nemogućnošću prevazilaženja identitarne drame. Drame identitarnog rasula, koje prati nostalgija i tragika izmještenosti, svoj vrhuac doživljavaju u prozi Aleksandra Hemona (roman *Pitanje Bruna*).

Zajednički nazivnik egzilantske proze autora s prostora bivše Jugoslavije prati osjećaj bezdomnosti, snažne identitetske izlomljenosti i prisustva traume (roman *Kako vojnik popravlja gramofon* Saše Stanišića). Time se napušta uži prostor lokalnog, ratom obilježenog prostora, pa se drama prenosi u širi kontekst otuđenosti Drugoga u okolnostima dominantne kulture onih naspram kojih se ta drugost tvori. Rubni identiteti koji prate ove likove uklapaju se u širu suvremenu kulturu bezdomstva, na način na koji taj proces vide Zygmund Bauman i Ian Buruma. U tom smislu, evidentan je pokušaj uspostavljanja dijaloga sa prošlošću, nerijetko kroz problematiziranje pamćenja kao oblika uspostavljanja dijaloga sa punim identitetom. Problematiziranje prošlosti u savremenoj bosanskohercegovačkoj književnosti pokušaj je suočavanja sa „viškom historije“.

Literatura

Bauman, Zygmunt (2011), *Tekuća modernost*, Zagreb, Pelago.

Kazaz, Enver (2004), *Bošnjački roman XX vijeka*, Zagreb – Sarajevo, Zoro.

Kazaz, Enver (2006), *Nova pripovjedačka Bosna*, u: Sarajevske sveske br. 13, str. 271-286, Sarajevo, Mediacentar.

Kodrić, Sanjin (2012), *Književnost sjećanja: Kulturno pamćenje i reprezentacija prošlosti u novijoj bošnjačkoj književnosti*, Sarajevo, Slavistički komitet.

Oliwia Kasprzyk

Department of Intercultural Studies in Central-Eastern Europe, University of Warsaw, Poland
kasprzyk.oliw@gmail.com

„Maszyna do tworzenia wrażeń”. W. Majakowski o kinie (1913-1915)

For Futurists cinema was the epitome of major media values – dynamism, machinism, presentism and it had specific relation with the reality. Cinema was the art that fulfilled avant-garde's ideals. In the interpretation of the Futurists film was the ideal material that could realize the concept of total art.

In this paper we plan to present the views of young V. Mayakovsky on the cinema. His articles published in “Kine-zhurnal” during the years 1913-1915 will serve as a main source of this paper. During that time Mayakovsky wrote several texts that covered a wide range of topics, including articles on relationship of cinema with other art forms (theater, music, literature), as well as with other areas of human activity (psychology, press, war). In these articles Mayakovsky showed that in everyday life and in mass entertainment one can find art that grows out of pure artistic needs and has its own ideals of beauty, aesthetics and conventions. Cinema was an artistic revolution and its experiences were widely used in other areas of human life (theater, literature, press).

Keywords: Mayakovsky, theatre, cinema, avantgarde, Futurism

„Отечественный кинематограф своего первого десятилетия пережил четыре периода бытия. – pisze T. Sidina (2013: 141) – Первый – очарованность техническим чудом, второй – подражание театру, третий – отмежевание от театра и поиск собственного языка, четвертый – переход кино в ранг искусства”. Młodość Majakowskiego zbiegła się z młodością sztuki filmowej. Poeta od początku przejawiał silne zainteresowanie nową sztuką kina, widząc w nim tę przyszłość, z której nie zdawali sobie sprawy niektórzy współcześni mu krytycy. Podkreślał to B. Liwshyc, mówiąc, że Majakowski widział w kinie urzeczywistnienie swojej wizji współczesnej sztuki, jej związku z techniką, swojego marzenia o sztuce dla ulicy, dla milionów (Чернышев 1987: 52).

O wpływie, jaki Władimir Majakowski – zarówno jako poeta, ale i autor scenariuszy, aktor, krytyk i teoretyk filmowy – miał na rozwój rosyjskiego kina pisało wielu działaczy kultury i nauki. Jeden z największych radzieckich reżyserów i teoretyków kina, Siergiej Jutkiewicz, współautor animacji *Баня* (1962) i *Маяковский смеётся, или Клон-75* (1975), napisał, że „Маяковский – и в том его сила – был для людей советского киноискусства более чем поэтом” (cyt. za Молдавский 1984: 127). Ponadto o tym, jak istotny wpływ Majakowski miał na sztukę filmową świadczy fakt, że wiele najbardziej znaczących zjawisk w rozwoju kina lat 20. w różnym stopniu było z nim albo związane, albo czerpało z jego twórczości. Jednocześnie – pośrednio lub bezpośrednio – inspirował on założycieli kina radzieckiego – S. Eisensteina, Dz. Wiertowa, L. Kulszowa, W. Pudowkina.

Zgodnie z rozwojem teorii kulturowych XX wieku niemożliwym jest obecnie badać literaturę bez jej współzależności z innymi rodzajami sztuk. Artystyczna działalność człowieka w całości nabrała syntetycznego charakteru, a przejawem najbardziej skomplikowanej i wielopoziomowej syntezy sztuk jest właśnie kino. „Литература, мастерство актера и режиссера, живопись, музыка и многое другое — его компоненты, его составные части” (Молдавский 1984: 127). Poprzez zgłębianie korelacji z malarstwem, literaturą, poezją, muzyką „находишь более глубинное психологическое обоснование (...) рожденное на стыке театра и литературы” (Молдавский 1984: 127), dzięki czemu rozwój sztuki filmowej był najpierw bardziej związany z malarstwem i poezją epicką (lata 20.), a później z prozą i liryką (początek lat 30.).

Wszystkie współzależności, w mniejszym lub większym stopniu, młody Majakowski poruszył w cyklu artykułów, opublikowanych w wyspecjalizowanym organie prasy – „Киние-журналу” („Киние-журнал”) w okresie od 27 lipca 1913 do 17 września 1915 roku. Jednak tylko pierwsze trzy artykuły, które poeta napisał w związku z dyskusją o relacjach teatru i kina, były podpisane inicjałem imienia i pełnym nazwiskiem Majakowskiego (В. Маяковский). Pozostałe 24 artykuły były napisane pod różnymi pseudonimami (Владимиров, Владимиров, К. О-ов, В-ов, А. В. Н-ев, В. Тарасов, Вл-в, А. В-д, Н-и, А. Владимиров, А. Влодимеров).

Kinematograf i teatr

Dla Majakowskiego punktem wyjścia dla rozważań na temat kinematografu jest teatr – jego przeszłość i przyszłość. W swoim pierwszym artykule pt. *Театр, кинематограф, футуризм* Majakowski pisze: „Великая ломка начатая нами (...) во имя искусства будущего – искусства футуристов, не остановится (...) перед дверью театра”. Istniejącą wówczas „sztukę przeszłości”, porównuje do stanu neurastenii, zmęczonej formy artystycznej, która nie jest w stanie stworzyć nic nowego. W artykule na pierwszy plan wysuwa dwa problemy: 1) artystyczny status współczesnego mu teatru (czy teatr jest sztuką?), 2) zależność sztuki teatralnej od rosnącej popularności kina.

Teatr i jego rolę Majakowski analizuje na poziomie scenografii i języka. Poeta twierdzi, że teatr aż do pojawienia się sztuki futurystycznej, był tylko „искусственным прикрытием для всех видов искусства” i ma wątpliwości czy może on funkcjonować samodzielnie jako oddzielna sztuka. Twierdzi on, że na scenie słowo wykorzystywane jest jako środek służący „выражению случайных для искусства моральных или политических идей”. W tym widzi on teatr jako „некультурный поработитель искусства” i słowa, co dowodzi tylko, że aż do pojawienia się futurystów teatr nie istniał w formie samodzielnej sztuki.

Grzech współczesnego teatru zawiera się w tym, że na jego scenie próbuje się przekazać fotograficzne przedstawienie życia, a dynamiczny charakter sztuki aktorskiej został uwięziony przez martwe dekoracje. Majakowski głosi śmierć istniejącego teatru, który powinien przekazać swoje dziedzictwo sztuce filmowej. W przyszłości teatru Majakowski widział „особое (...) новое, свободное искусство актера”, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy kino przejmie na siebie obowiązki teatru (naiwny realizm).

Majakowski nie zgadza się z istniejącymi zasadami funkcjonowania sztuk, których celem stało się jedynie naśladowanie rzeczywistości, kopiowanie przyrody, dublowanie życia, ponieważ prawdziwa sztuka to zjawisko zupełnie innego porządku. Protestuje on kategorycznie przeciwko *mimesis* w teatrze, próbom przenieść na scenę „ничем не прикрашенную улицу”. Majakowski twierdzi, że aby przedstawić rzeczywistość nie potrzebny jest „весь сложный театральный бутафорский механизм”, a ruch miejski w pełni jest w stanie odtworzyć tylko kinematograf. Teatr w porównaniu do kina, jeśli chce naśladować rzeczywistość, robi to znacznie słabiej. To właśnie kinematograf zmusi twórców do zastanowienia się nad teatrem jutra, nad nową sztuką teatru i na tym polega jego rola kulturowa. Kino może i powinno mieć wpływ na zmianę w odbiorze i tworzeniu współczesnego teatru.

Technika i jej rola w sztuce

Dla Majakowskiego zbliżający się rok 1916 – to moment oczekiwania i proroctwo rewolucji. Wiązał on z nim również swoje nadzieje na oswojenie przez Rosjan techniki. Mimo że „современная жизнь – это бунт вещей”, Rosjan cechowała specyficzna technofobia, strach, brak wiary w siłę techniki, zwracał on uwagę wręcz na „прямое физическое отвращение русского человека ко всякой механичности”. Na zmianę takiego stosunku może mieć wpływ kino, które znosi odległości, pokazując każdy możliwy przejaw życia. Kino – jedna z przyczyn przeobrażenia się ludzkiej duszy.

W tym kontekście Majakowski zadaje sobie pytanie o problem dominacji maszyn w świecie sztuki. Porusza on kwestię wzajemnych relacji człowieka i maszyny, pracy ręcznej i maszynowości, a także problem miasta, maszynowości miasta oraz intensywności i napięcia współczesnego życia. Wszystkie te zjawiska, według poety, miały duży wpływ na wrastającą wśród społeczeństwa potrzebę kantowskiej „swobodnej gry zdolności poznawczych”, czyli sztuki. Osiągnięcia rewolucji przemysłowej doprowadziły do wydzielenia się grupy „robotników piękna”, artystów, których zadaniem jest określić, co determinuje trud jednostkowy jako społecznie przydatny.

Przeciwnicy kina twierdzą, że może ono zaferować tylko „мигающие, безвкусные штампы труда” zamiast prawdziwego piękna. Majakowski nie widzi tego niebezpieczeństwa jest zwolennikiem wykorzystania gramofonu, fotografii, kina w sztuce, maszyna „не уничтожила человека, а только ярко провела линию между вдохновителем, организатором труда и его рядовым тупым работником”. Obscowanie i przyswajanie techniki daje artyście impuls, dzięki któremu jest on w stanie zrozumieć, że „искусство не копия природы”.

Rozwój techniki przyczynił się do tego, że sztuka przestała być zjawiskiem elitarnym i stała się zjawiskiem egalitarnym, nastąpiła jej demokratyzacja. Demokratyzacja kinematografu odpowiada na współczesną miejską dynamikę, a to zwycięstwo techniki w żadnym stopniu nie oznacza wykluczenia sztuki z życia społecznego.

Kinematograf i literatura

Myśl o nowym teatrze ruchomych obrazów dawno zrodziła się w literaturze pięknej, jednak dopiero rewolucja przemysłowa doprowadziła do zmian w psychice ludzkiej. Mieszkańcy miast zaczęli wymagać od teatru odzwierciedlenia zmiennego, dynamicznego życia. Kino zaczęło przenikać do literatury krytycznej, potem na strony literatury pięknej – powieści, opowiadań, by w końcu poeci miasta zaczęli wysławiać „жизнь на экране полотна”. Majakowski twierdzi, że wszystko to wskazuje na to, jak głęboka w człowieku jest potrzeba sztuki kina.

Z punktu widzenia literatury omawia on pole działań kinematografu – zadaje on sobie pytanie, na ile kino jest twórcą wartości artystycznych, a nie tylko dublerem utworów literackich. Majakowski twierdzi, że o ile teatralna inscenizacja utworu pierwotnie dla sceny nieprzeznaczonego jawi się skażeniem woli artysty, to kinematograf jako nowy obszar dla przekazywania i ukazywania piękna nie widzi różnicy między słowami dla lektury a tymi służącymi wyrażeniu teatralnemu. Kinematograf może stać się nowym gatunkiem działalności artystycznej, która bez skażenia utworów wyjawia je w nowych formach.

Kinematograf i psychologia

Majakowski zastanawia się na tym, jak zmieniają się granice psychiki ludzkiej pod wpływem sztuki filmowej oraz jak zmieniła się dynamika myślenia. Kino wywołuje u ludzi całą gamę emocji. Technika sprawiła, że człowiek stał się bardziej wrażliwy na bodźce, na świat, który stał się mu bliższy i bardziej zrozumiały, dzięki gazetom, pociągom, samolotom. Wszystko to doprowadziło do pewnej nerwowości, porywczosci człowieka, jego przeżycia i dramaty również nabrały dynamiki i szybkości „коротких вспишок”, których teatr nie jest w stanie przekazać. To kino wyraża potrzeby ludzi współczesnych, dążących do wiecznej, burzliwej przemiany.

Oprócz tego psychologia, rozumiana jako głębi i katastrofy duszy ludzkiej, jest niewyczerpanym materiałem dla artysty. Jednak współczesny teatr, zamiast prawdziwej i naturalnej dla niego formy, którą jest widowisko, przyjmuje i wykorzystuje formy retoryki. Majakowski walczy o to, by teatry porzuciły swoje przestarzałe, statyczne formy przekazu – „бросьте рутину, бросьте литературщину!”.

Muzyka i kinematograf

Majakowski podkreśla, że istniejące prace poświęcone relacjom muzyki i sztuki filmowej poruszają wyłącznie jedno zagadnienie – muzyki jako niesamodzielnego i towarzyszącego elementu etud kinowych. Muzyka – to najbardziej abstrakcyjna, niematerialna z istniejących sztuk i najbardziej dynamiczna forma bytu. Dlatego też niedorzeczny jest do niej stosunek teatru naturalistycznego, który zamiast dążyć do „złania się” na scenie wszystkich przejawów sztuki w jedną niepodzielną całość, doprowadza do zniewolenia oddzielnych składowych gatunków, stając się tylko mechanicznym zbiorem wszystkich sztuk. Całkowicie odmienny charakter ma współzależność muzyki i kinematografu, który daje więcej przestrzeni wyrazu, ponieważ jego ramy nie są tak ostro określone. Muzyka, chociaż wpływa na ogólny ton obrazu, może nadal pozostać samodzielną formą wyrazu.

Kinematograf i wojna

Według Majakowskiego wojna to zjawisko najbardziej jaskrawie wyrażające przejawy współczesnego życia, życia w ciągłym ruchu, burzy i naporu, a cały postęp cywilizacyjny współczesności sprowadza się właśnie do niej. Na początku wojny Majakowski widzi ją jako punkt wyjścia do pytania o współczesną sztukę zaangażowaną; twierdzi, że wojna daje szansę nowej sztuce by ta mogła wyrazić się w swojej prawdziwej formie. Stara sztuka oparta jest na bezruchu, statyczności, a jedyną formą, która jest w stanie przekazać dynamikę ruchu jest kinematograf, ponieważ „он сам – движение”.

W 1913 roku młody Majakowski nie widzi jeszcze kinematografu jako samodzielnej sztuki. Brak naturalnego piękna w przyrodzie wynika z tego, że jest ono wyłącznie rezultatem działalności artysty, który przywołuje do realnego życia obrazy sztuki. Z kolei kino może występować jako udany lub nieudany powielacz jego obrazów. Kino

i sztuka – zjawiska różnych porządków. Sztuka kreuje wysokie obrazy, kino – mnoży obrazy i rozsyła je w różne części świata. Majakowski twierdzi, że kino oddzielnym rodzajem sztuki być nie może, chociaż może dostarczać przyjemności estetycznej. Jednak jego pogląd na sztukę filmową szybko zaczął się zmieniać i w 1922 roku Majakowski napisał wręcz swoiste credo, wyznanie wiary: „Для вас кино – зрелище. Для меня – почти мирозерцание”.

Bibliografia

Literatura podmiotu

- В-ов. (1914), Кинематограф и реклама. *Кине-журнал*, 11, 38-39.
- Вл-в. (1913), *Кинематограф в лазарете*, 23/12/1914., *Кине-журнал*, 21, 20-22.
- Владимиров (1915), Война в кинематографе и в остальных искусствах. *Кине-журнал*, 3-4, 72-76.
- Владимиров (1915), Война – доктор для больных предрассудками. *Кине-журнал*, 5-6, 129-131.
- Владимиров (1914), Заграница и кинематограф. *Кине-журнал*, 15, 20-22.
- Владимиров (1914), Женщины, мода и кинемато (Легкомысленный фельетон для серьезных людей). *Кине-журнал*, 11-12, 66-68.
- Владимиров (1915), Кинематограф и газета как пути искусства. *Кине-журнал*, 9-10, 66-68.
- Владимиров (1914), Минутное и вечное. *Кине-журнал*, 21-22, 55-56.
- Владимиров (1914), Мученики природы. *Кине-журнал*, 13, 60-63.
- Владимиров (1915), На другой день после окончательной победы. *Кине-журнал*, 7-8, 115-116.
- Владимиров (1915), Озадаченные дачники (Отражение в кривом зеркале). *Кине-журнал*, 13-14, 70-72.
- Владимиров (1914), Что такое «новый год» для кинематографа?. *Кине-журнал*, 1-2, 62-63.
- Владимиров В. (1914), Кинематограф и война. *Кине-журнал*, 14, 22-23.
- Владимиров (1915), Кинематограф и искусство недавнего прошлого. *Кине-журнал*, 17-18, 78-79.
- Владимиров (1914), Жизненные парадоксы и кинематограф. *Кине-журнал*, 10, 46-48.
- Владимиров А. (1913), Литература в кинематографе (Продолжение статьи «Кинематограф в литературе»). *Кине-журнал*, 21, 20-22.
- Влодимеров А. (1913), Кинематограф в литературе. *Кине-журнал*, 21, 22-24.
- Д-в. (1913), Кинематограф и оскорбленная мораль. *Кине-журнал*, 18, 20-22.
- Н-и. (1913), Кинематограф как законодатель эстетической «моды». *Кине-журнал*, 19, 29-31.
- В-д. А. (1913), Музыка и ее отношения к кинематографу. *Кине-журнал*, 20, 23-25.
- Маяковский Владимир (1913), Театр, кинематограф, футуризм. *Кине-журнал*, 14, 24-25.
- Маяковский Владимир (1913), Уничтожение кинематографом "театра" как признак возрождения театрального искусства. *Кине-журнал*, 16, 27-29.
- Маяковский Владимир (1913), Отношение сегодняшнего театра и кинематографа к искусству. Что несет нам завтрашний день? (Полезно и для критиков). *Кине-журнал*, 17, 27-31.
- Н-ев А. В. (1914) «Господа, да поймите же вы, наконец!...» (Монолог горячего человека). *Кине-журнал*, 9, 57-58.
- О-ов К. (1914), Зрелище или «психология»? *Кине-журнал*, 12, 51-52.
- С-он Б. (1914), Кинематограф как предвестник мировых идей. *Кине-журнал*, 8, 38-39.
- Тарасов В. (1914), Кому нужен кинематограф?. *Кине-журнал*, 1, 22-24.

Literatura przedmiotu

- Арензон Евгений (2008), *Маяковский в «Кине-журнале»: к проблеме псевдонимных статей 1913–1915 гг.* In: *Творчество В.В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и пути исследования*, 400-434, ИММ РАН.
- Марусенко Михаил (1994), *Новое о Маяковском? : Об авторстве псевдоним. ст., приписываемых В. В. Маяковскому*, Языковой центр СПбГУ.
- Милявский Борис (1970), Неизвестный Маяковский. Новое о поэте. *Литературная газета*, 3, 8.
- Молдавский Дмитрий (1984), *Маяковское кино*, In: *В мире Маяковского: сборник статей*, vol. 2, 126-156.
- Тренин Владимир, Харджиев Николай (1932), Забытые статьи В.В.Маяковского 1913–1915 гг. Комментарии. *Литературное наследство*, 2, 117-164.
- Цидина Т. (2013), *Отечественный кинематограф : начало пути (1908-1918 гг.)*, ЧГАКИ.
- Чернышев Андрей (1987), *Русская октябрьская киножурналистика*, Изд-во Московского университета.

Adrienn Kocsis

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
kocsis.adrienn986@gmail.com

Dekonstrukcja roli Matki Polki w niektórych utworach Joanny Bator

The polish mother is an assigned role of women in polish society. However feminists currents in Poland have questioned this role and raised the question, whether role of polish mother is actually chosen by herself or it is only a myth, which polish society has found patriarchal. In Joanna Bator's works appear different women, who are usually not suitable for this role. They are mothers, who don't meet the requirements of society and can't love her children, because being a mother is not an obvious role that everybody knows, it has to be acquired. Some succeed and some not. Why don't have these mothers obvious feelings to their children? What can be the reason of this phenomenon? According to Joanna Bator psychoanalysis can provide answer for this question.

Keywords: polish mother, destruction, feminism, Joanna Bator

Badacze zajmujący się tematem polskiego feminizmu doszli do wniosku, że za bierność i słabość polskich kobiet jest odpowiedzialna w największej mierze historia Polski. Dlaczego mogą oni to twierdzić? Na to pytanie daje odpowiedź Magda Środa w swoim artykule: „Czym się zajmował historyczny Polak od Grunwaldu po stan wojenny? – walką. Mieliśmy sprawę z Krzyżakami, by odstąpili z naszych ziem, potem niemal ze wszystkimi, by dali nam nieco piastowskiej przestrzeni od morza do morza, potem był potop, potem rozbiory, potem okres powstań, bez których dusza polska nie mogłaby się ukształtować ostatecznie. Następnie wielkie wojny światowe” (Środa 1992:10). W tych burzliwych czasach etos szlachecki był najważniejszy i tu nie było miejsca na żadną podmiotowość, ponieważ priorytetem była niepodległość państwa. Mężczyźni walczyli, ale co robiły kobiety? Zajmowały się dziećmi, gospodarstwem, długami, zakupami i jak pisze Środa: „wysyłaniem cebuli na Syberię” (Środa 1992:10).

Z etosem szlacheckim ściśle łączy się etos rycerski. O tym szczegółowo pisze Sławomira Walczewska w książce pod tytułem *Damy, rycerze, feministki*. Według etosu rycerskiego zadaniem mężczyzny-rycerza jest walka, obrona kobiety, a kobieta ma wspierać go duchowo, nagrodzić go podziwieniem i uszanowaniem. Jest to zrytualizowany system wymogów płci wobec drugiej, a efektem tego systemu został kontrakt płci w społeczeństwie. Ten kontrakt ma korzenie jeszcze w średniowieczu, natomiast jego efekty możemy czuć w Polsce jeszcze w dzisiejszych czasach (Walczewska 2000:66).

Polska badaczka Monika Ksieniewicz też pisze o historycznym aspekcie roli polskich kobiet w społeczeństwie. Wskazuje ona na to, że kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy, przeniosła się do domu, a rodzina stała się jedyną gwarancją przetrwania narodowości. Macierzyństwo i wychowanie dzieci stało się sprawą polityczną. Bycie matką, oznaczało najważniejsze zadanie kobiet, ponieważ Polska musiała przetrwać. Matka Polka musiała nauczyć dzieci języka, przekazać wiarę i wiedzę o kulturze narodu, który był pod obcym zaborem (Ksieniewicz 2004). Oto wyznaczona droga dla każdej kobiety według patriarchalnego społeczeństwa polskiego. Polskie przysłowie, które brzmi następująco: „mężczyzna jest głową, a kobieta szyją, która nią kręci” daje kobietom pozorną władzę, a to jeszcze wzmacnia mit Matki Polki.

Okazało się jednak, że nie wszystkie kobiety odnajdują się w roli matki, nie wszystkie mogą wypełnić wyznaczoną przez społeczeństwo rolę. Matki przenoszą swoje frustracje na dzieci, a milczenie albo negacja tego zjawiska pogarsza sytuację. Od czasu psychoanalizy wiemy, że dzieciństwo i dojrzewanie mają decydujący wpływ na kształt dorosłego życia każdego człowieka. Traумы i nierozwiązane konflikty z tamtego okresu przeważająco kształtują psychikę. Dorastanie dziewczynek wymaga od nich wyrzekania się matki jako obiektu seksualnego. Jeżeli dorastająca dziewczyna nie chce naśladować swojej matki, nie bierze jej za wzór, ten proces staje się bardziej skomplikowany. Może się zdarzać, że matka uważa swoją córkę za rywalkę w uzyskaniu męskiej uwagi, częściej jednak matki spełniają swoją rolę: przygotowują córkę do konkretnej roli – jedynej, którą znają: do roli żony i matki. Córki, które widzą nieszczęście swojej matki i jej podrzędny status w społeczeństwie, obwiniają je same za to i

jednocześnie uświadamiają sobie, że jako kobiety są skazane na to samo (Lubańska 2010). Te córki nie chcą spełnić roli wymaganej przez społeczeństwo, a one same muszą odnaleźć swoją strategię, ponieważ matki nie mogły nauczyć jej alternatywnych możliwości, przecież one same nie znają żadnej innej.

W utworach Joanny Bator nie możemy znaleźć ani jednej normalnej, zdrowej relacji między matką a córką. W utworach Bator główne role mają kobiety, śledzimy ich los, a mężczyźni pojawiają się wtedy, kiedy trzeba powikłać wątek, skomplikować fabułę. W pierwszych dwóch tomach, w rodzinnej sadze poznajemy trzy kobiety: Zofię, Jadzię i Dominikę, babcię, córkę i wnuczkę. Badając relację Zofii i Jadzi na pierwszy rzut oka widzimy ogromny dystans między nimi. Już na pierwszych stronach czytamy: „Diabły Zofii śmierzdziały spaloną mięsem i miały wywinięte wargi, zawsze wilgotne. [...] Nie umiała zacumować na dłużej przy córce, zaraz ją znosiło do spiżarki, do ogrodu, do lasu po szyszki na rozpałkę. Brudasio, kocmołuchu, załamywała ręce, diabły cię do piekła pociągami zabiorą” (Bator 2009:11). Na razie nie wiadomo, dlaczego, ale Zofia nie umie na dłużej pozostać w otoczeniu Jadzi, a z tekstu jeszcze dowiadujemy się, że „Jadzia posłusznie spełniała polecenia matki, której obsesja czystości ograniczała się do podmywek w gorącej wodzie z octem. W ich domu talerze lepiły się do stołu, nietoperze piszczały nocami na strychu, myszy wiły gniazda w zbutwiałych króliczych skórkach poupychanych w każdej szufladzie, ale Zofia nigdy nie zapomniała o wrzątku i occie” (Bator 2009:12). Kilka stron później czytamy: „Gdy pociąg z Jadzią na pokładzie pochłonięty został przez tunel lasów, Zofia poczuła ulgę, bo wydawało jej się, że wraz z nim zniknął przebijający spod octu zapach spalenizny” (Bator 2009:15).

Na razie nie rozumiemy, dlaczego dla Zofii smród spalonego mięsa i ocet mają takie wielkie znaczenie, i dlaczego korzysta z octu tylko przy myciu siebie i Jadzi, ale sprzątaniami całkowicie się nie zajmuje. To też nie jest wiadomo, dlaczego zapach spalenizny łączy się z Jadzią. Tylko o wiele później dowiadujemy się, że Zofia chciała pozbyć się niechcianej ciąży, położyła się i czekała na pociąg „Zofia leżała tak, jak trzeba, na plecach, z głową w kierunku, z którego miała nadjechać lokomotywa, bo ważne by przetoczyła się nad ciałem od góry do dołu, a nie odwrotnie” (Bator 2009:133). Dzięki narracji retrospektywnej krok po kroku możemy połączyć puzzle w całość. Tylko w połowie powieści dowiadujemy się, że Maniek Gorgól, kto zawsze budził w Zofii wstręt swoim smrodem spalonego, zgwałcił ją tej samej nocy, kiedy Zofia kochała się z ukochanym mężczyzną, Ignacym, polskim Żydem, który schował się u Zofii. Ponieważ Jadwiga nie była podobna ani do Inacego, ani do Mańka, Zofia przez wieki nie wiedziała, kto jest ojcem Jadzi, dlatego ciągle szukała znaków na niej. Stąd pochodzi to maniackie używanie octu, co może usunąć na razie nieodczuwalny, ale zawsze możliwy do czucia smród spalonego mięsa.

W takim niekochającym i niezrozumiałym otoczeniu wyrosła Jadwiga. Ona nigdy nie odczuwała miłości macierzyńskiej i z tego powodu nie mogła się jej nauczyć. Kiedy Jadzia urodziła swoją córkę, miała problem z wytworzeniem z nią więzi. Po urodzeniu wpadła w depresję, zajmowała się tylko sprzątaniami i likwidowaniem bakterii, a córkę, Dominikę zajmowała się teściowa Jadwigi, Halina. Już na początku relacja matki i córki zepsuła się, nawet nie rozwinęła się. Ten dystans na początku określił ich dalszy związek. Matka nigdy w życiu nie poznała swojej córki i jak wynika z tego, nigdy nie mogła jej rozumieć. Jadzia miała swoje plany i oczekiwania dotyczące życia Dominiki, natomiast Dominika też miała swoje wyobrażenia. Wbrew oczekiwaniom Jadzi, Dominika nie chciała zostać na zawsze w małym miasteczku, wyjść za mąż, najlepiej za Niemca. Dominika chciała podróżować, poznać nowych ludzi, cały świat. Świat dla Dominiki nie oznacza grozy czy bakterii, tylko otwieranie na nowości, możliwości. W przeciwieństwie do Jadzi Dominika zawsze chciała być w ruchu, a nie siedzieć w domu, w bezpieczeństwie i widzieć tylko tę część świata, którą pokazuje telewizja. Atrybutami Dominiki są szybkość, chudość, indywidualizm, duże, rozczochrane włosy, niechęć do jedzenia, jest otwarta, ciekawa na cały świat, nie boi się ryzyka. W przeciwieństwie do Dominiki Jadwiga jest wolna, gruba, miękka, wygląda jak inne kobiety w socjalizmie, ma porządne włosy, lubi jeść, siedzieć w domu, Jadzia rusza się tylko w znanym otoczeniu, w nieznanach miejscach czuje się źle bojąc się bakterii. Te dwie kobiety nigdy nie będą się rozumieć, ale to nie oznacza, że siebie nie lubią, oznacza to tylko ciągłą walkę za zaakceptowanie.

Pokazane te relacje są niezdrowe, ale walka między kobietami jakoś tak uspokaja i uporządkuje się, Jadwiga pozwala Dominice wybrać swoją drogę. Inaczej wygląda natomiast relacja Leokadii i jej syna, księdza Adasia. Adaś zakochał się w Dominice i chciał z nią być i zrezygnować z powołania. Dowiedziawszy się o tym Leokadia chciała uratować swojego syna. Natomiast nie dała mu szansy na wybór, sama, zamiast swojego syna podjęła decyzję, szantażowała Adasia, chciała mieć wpływ na jego duszę, Leokadia wykorzystwała swoją potęgę nad synem. Adaś nie

miał szanse wobec rozplakanej matki, musiał zrezygnować ze świeckiej miłości i pojechać do Rzymu. Leokadia podporządkuje swojego syna, nie traktuje go jako indywiduum, Adam musi spełnić jej oczekiwania i żyć według jej reguł. Dwukrotnie kastruje go: pozbawia go własnej woli oraz z możliwości życia seksualnego.

W utworze *Ciemno, prawie noc* spotykamy następny stopień potęgi matki. Poznajemy tu rodzinę Waszkiewiczów. Ojciec, Marian chciał, żeby syn, Marek był podobny do niego, żeby został lekarzem. Natomiast Maria, matka Marka, chciała, żeby syn zawsze był blisko do niej. Nigdy nie chciała go odpuścić od siebie. Od autorki nie dowiadujemy się dużo o małżeństwie Waszkiewiczów, ale na pierwszy rzut oka widać, że rodzina jest w rozpadku. Ojciec żyje w innej rzeczywistości, ciągle myśli i mówi o swojej młodości, o przygodach z najlepszym przyjacielem. Marian jest niemądrym mężczyzną z wielkim ego, dla którego najważniejsza jest męskość, męskie sprawy. Dla mnie cały ten związek z najlepszym przyjacielem, Tadzikiem jest podejrzany, i chociaż o tym nie ma mowy, myślę, że to nie była tylko przyjaźń, lecz przyjaźń z ekstrami. Jego żona, Maria nie jest jego partnerką, raczej podrzędną żoną. Ich syn, Mareczek ma czterdzieści parę lat, ale on dalej jest maminsynkiem. Syn dalej jest określany mianem chłopaka, jakby Maria nie chciała, żeby Marek wyrastał. Marek próbował wydostać się z tego związku, ale nie potrafił. Jego matka sprzedawała sieroty, żeby mieć pieniądze dla siebie i syna. Wszystko zrobiła, żeby Marek jej nie opuścił. W książce jest bardzo przerażająca scena: „syneczku, mamusia tu jest”. Przytuliła go, bezwładnego, sflaczałego, i cały czas mówiła jak do dziecka, że wszystko będzie dobrze [...] Matka przytuliła Mareczka i dała mu pierś. Ssał jak dziecko. Zamknął oczy i wyglądał na szczęśliwego, a ja wtedy odwróciłam oczy, choć było już za późno, obraz zostanie ze mną na zawsze, i zadzwoniłam po policję. „Synku!” słyszałam jeszcze krzyk matki Marii, gdy przyjechali, „synku, mamusia cię nigdy nie opuści!” (Bator 2012:267). Marek jest całkowicie pozbawiony własnej woli. Jest bezsilny, cały ten związek jest chory. A co powodowało takie wychowanie? Marek lgnie do dzieci. W powieści wszystko wskazuje na to, że jest pedofilem, natomiast okazuje się, że jednak nie. Lubi obserwować dziewczynki z ukrycia, ale nigdy nie dotykał ich, bo nie miał odwagi.

Powieść jest pełna strasznych matek: opowiada o Cygance, która wybrała za męża alkoholika, z którym razem pili, matka po pijanemu śpiewała, a ojciec molestował wspólne dzieci w pokoju obok. Druga matka próbowała zabić swoje córki, w tym wypadku dowiadujemy się, że jej życie też było bardzo trudne, pełne traum, z czego powodu zwariowała. Bator pokazuje tylko rozpadające się rodziny, zepsute życie, ludzi skrzywdzonych, którzy z taką przeszłością nie mogą stworzyć normalnej rodziny, ale niestety próbują, dlatego takie historie zawsze będą i nigdy nie będą kończyć na szczęśliwe.

Jak widać, główną rolę ma matka. Jakby wszystko zależało od niej. Jeżeli matka nie potrafi działać, spełnić tej roli, z dziecka nigdy nie będzie zdrowego, dorosłego człowieka. Jak z tych historii wynika, bycie matką to nie zdolność, nie jest to zakodowane w genach. Nie każda kobieta potrafi spełnić tę rolę, ponieważ nie jest to automatyczne, tak jak społeczeństwo myśli i oczekuje.

Bator nie przypadkowo pokazuje takie matki. Uważam, że chce zwrócić naszą uwagę na współczesne problemy społeczne, bo, jeżeli najmniejsza jednostka społeczeństwa – to jest rodzina – nie działa, to całe społeczeństwo będzie zepsute.

Literatura

- Bator, Joanna (2009), *Piaskowa góra*, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
- Bator, Joanna (2012), *Ciemno, prawie noc*, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
- Ksieniewicz, Monika (2004), *Specyfika polskiego feminizmu*, Kultura i Historia 6.
- Lubańska, Aneta (2010), *Być kobietą – być ofiarą? O prozie kobiecej po 1989 roku*. In: Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji, red. Agnieszka Nęcka, Katowice, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, 35-36.
- Walczevska, Sławomira (2000), *Damy, rycerze, feministki*. Wydawnictwo eFKa Kraków.
- Środa, Magda (1992), *Kobieta, wychowanie, role, tożsamość*. In: Głos mają kobiety, zebra. Sławomira Walszevska, Kraków, Convivium.

Jacek Kudera

Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska
jacek.kudera@uwr.edu.pl

Badanie asocjacji związanych z autorytetem i władzą metodą nagrań skojarzeń swobodnych

Current study compares the associations uttered by 243 Croats during the immediate response experiment. Stimuli were related to three semantic categories: government and politics, family authority and figures from the history. The objective of study was to discover the differences in associations within four groups of Croatian respondents. Comparison with other lists of associations i.e. Edinburgh Associative Thesaurus or results of Kent-Rosanoffs' investigation was the secondary objective of the research.

Key words: associations, power and authority, Croatian, immediate response method, recordings.

Jednym z zainteresowań dyscypliny pogranicza lingwistyki i psychologii jest badanie skojarzeń oraz relacji zachodzących między asocjacją a bodźcem ją wywołującym. Korzystając z aparatu metodologicznego psychologii języka, rezultaty badań nad skojarzeniami można ze sobą zestawiać, badając w ten sposób opinię społeczną. Pozwala to rysować diagnozy nastrojów wśród przebadanej grupy oraz zweryfikować jej preferencje w przypadku gdy bodźcem staje się hasło budzące spory czy kontrowersje.

Jeśli więc postawić pytanie: jakie skojarzenia wywołuje władza i autorytet – spektrum otrzymanych zwrotów zawierałoby wyrażenia wysoce nacechowane stylistycznie: pochlebne i stronnice, wulgarne i pobłażliwe – ale czy różne w zależności od wieku, płci i środowiska językowego? Czy istnieją zatem pojęcia, które wywołują identyczne skojarzenia niezależnie od kręgu kulturowego?

Przeprowadzone badanie skojarzeń bezpośrednich metodą natychmiastowej reakcji pozwoli udzielić odpowiedzi na postawione pytania, porównując stworzoną listę skojarzeń chorwackich badanych z tzw. listą Kent i Rosanoffa oraz zweryfikować założenie o tożsamy paradygmacie gramatycznym bodźca i udzielonej nań odpowiedzi. Spośród wszystkich pojęć analizowanych w badaniu, wybierzmy te związane z autorytetem, gdyż: „słowo autorytet należy właśnie do tych licznych terminów nauk społecznych, które ani nie są jednoznaczne, ani wolne od aury emocjonalnej otaczającej je w ich potocznym użyciu. Słowo to wywołuje dość rozmaite skojarzenia i budzi uczucia wysoce ambiwalentne” (Jarmoszko 2010: 67).

Bodźce wywołujące skojarzenia podzielone zostały na trzy grupy semantycznie związane z obszarami: władzy instytucjonalnej i polityki, autorytetu w rodzinie oraz postaci znanych z narracji historycznej. Prócz analizy semantycznej odpowiedzi, istotna dla badania jest również ich forma gramatyczna.

O metodach

By z powodzeniem dobrać metodologię do badania w językoznawczej perspektywie, należy zastanowić się jak definiowane jest pojęcie skojarzenia. „Asocjacja – czyli skojarzenie przedstawień, zjawisko w swej istocie psychiczne, odgrywające ważną rolę w języku. Na niej w pierwszym rzędzie oparte jest samo istnienie znaku językowego, który de Saussure określa jako stałe, tzn. ustalone przez tradycję danej społeczności językowej, skojarzenie pojęcia z danym „obszarem akustycznym”. W ogóle system języka od strony świadomości mówiących przedstawia się jako układ ustalonych przez tradycję społeczną skojarzeń między elementami treściowymi a przyporządkowanymi im elementami formalnymi (akustycznymi wzgl. wtórnie graficznymi). Również i funkcjonowanie języka, czyli jego używanie w mówieniu, nie jest możliwe bez procesów ciągłej asocjacji” (Polański 1999).

Pierwsze opisane badanie skojarzeń przeprowadził Francis Galton w 1879 roku. Zapisywał on słowa, które przyjdą mu na myśl po odnalezieniu jednej z siedemdziesięciu pięciu opatrzonych różnymi hasłami karteczek. Co istotne, mierzył też czas, który upłynął do momentu przywołania pierwszego skojarzenia. Do dziś okres między

bodźcem a reakcją stanowi istotny wskaźnik w eksperymentach psycholingwistycznych. Galton wyników swoich badań nigdy nie opublikował, uznając je za „intymną anatomię psychiki” (za: Miller 1951: 175). Od tamtego czasu skojarzenia oraz sposób ich powstawania stanowiły istotny temat wielu multidyscyplinarnych rozpraw. Jednym z przełomowych badań, przeprowadzonym na pokaźnej grupie respondentów, był eksperyment Kent i Rosanoffa. Był to test w formie papierowych arkuszy. Jego efektem było powstanie list najczęstszych asocjacji dla języka angielskiego. Analiza wyników stanowiła przyczynek do powstania tzw. norm skojarzeniowych.

Współczesny aparat metodologiczny oferuje znacznie więcej niż test w wersji papierowej. Dźwiękowy kanał odbioru bodźców pozwala na wyeliminowanie wielu dystraktorów, dlatego też badani zostali poddani eksperymentowi, w którym stimulus odbierali w słuchawkach.

Choć niniejsza analiza skupia się wyłącznie na znaczeniowej warstwie udzielonych odpowiedzi, w badaniu został również uwzględniony współczynnik latencji, tj. czasu od momentu wybrzmienia bodźca do chwili udzielenia pierwszego skojarzenia. Wskaźnik ten kształtowany jest między innymi poprzez częstotliwość występowania bodźca języku. Dane dotyczące frekwencji zostały zaczerpnięte z chorwackiego słownika frekwencyjnego (Moguš, Bratnić, Tadić 1999).

Akustyczny eksperyment został oparty na metodzie natychmiastowej odpowiedzi. Przeprowadzono go na grupie studentów Uniwersytetu w Zagrzebiu w ich ojczystym języku. Przebadana grupa liczyła 234 osoby, w tym 134 kobiety i 100 mężczyzn. Transkrypcja uzyskanych odpowiedzi dała łącznie listę asocjacji zawierającą 4680 jednostek.

By dowiedzieć czy wiek i płeć respondentów mają jakikolwiek wpływ na udzielone skojarzenia, przebadaną grupę podzielono wg następujących kryteriów: kobiety urodzone w przedziale lat 1984-1992 i 1993-1996 oraz mężczyźni urodzeni w latach 1985-1992 i 1993-1995.

Jednostkowej analizie służył system transkrypcji stosowany m.in. w korpusie mowy dzieci CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts), co pozwala na odczytanie towarzyszących odpowiedzi reakcji np. śmiechu, westchnienia, kaszlu. Zadaniem badanych jest odpowiedzenie na usłyszany wyraz pierwszym skojarzeniem z nieograniczonego zbioru odpowiedzi. Istnieje wiele modyfikacji tej metody, w których określa się zbiór odpowiedzi czy zniekształca wyrazy, które stanowią podstawę słuchanego nagrania (por. Erdeljac 2009).

Ścieżka dźwiękowa trwa 55,535 sekundy. Rozpoczyna się i kończy dźwiękiem o tonie opadającym. Po głuchym interwale od 1,005 do 2,250 sekundy następuje część próbna nagrania, która również jest zapisywana. Mimo akustycznie udowodnionej (Kurcz 2000: 95) niesymetryczności odbioru mowy lewego i prawego ucha, badani w słuchawkach słyszeć będą ścieżkę o dokładnie takich samych parametrach w lewym i prawym głośniku. Zagadnienie asymetrii hemisferycznej w odbiorze bodźców dźwiękowych zostało więc uwzględnione jedynie w minimalnym aspekcie (Mildner 2008). Komputer nie będzie wysyłał sygnału zwrotnego do słuchawek, więc izolowani akustycznie respondenci będą mogli usłyszeć tylko ścieżkę nagrania, bez swojej odpowiedzi.

Przebieg badania

Respondenci nie zostają uprzedzeni o tematyce leksemów które usłyszą, gdyż mogłoby to spowodować powstanie zjawiska torowania semantycznego, co niewątpliwie wpłynęłoby na wyniki eksperymentu. Badany, po krótkim wstępie wyjaśniającym istotę zadania i jego przebieg, proszony jest o włożenie nauszných słuchawek izolujących dźwięki płynące z otoczenia. Następnie program rozpoczyna emitowanie pierwszej części nagrania. Koniecznym jest w tym przypadku podzielenie ścieżki na próbną i właściwą, by początek nagrania, np. przez tempo, ton czy natężenie dźwięku nie był dla badanych zaskoczeniem i by proces bezpośredniej odpowiedzi nie został zaburzony przez kilka pierwszych, zapoznawczych sekund. Przypadkowa kolejność fraz usłyszanych na ścieżce próbnej ma również na celu uniemożliwienie powstania powiązania tematycznego usłyszanych wyrazów i skojarzenia ich z zagadnieniami autorytetu i władzy. Pierwsza część jest znacznie krótsza, obejmuje jedynie pięć leksemów semantycznie niezwiązanych, choć pod względem akustycznym – identycznych ze ścieżką właściwą. Każdy badany jest w pozycji siedzącej, a uwaga jego skupiona jest wyłącznie na wyrazach w słuchawkach i na wypowiedzianiu pierwszego skojarzenia.

Podział semantyczny bodźców

Stimulusy wywołujące skojarzenia zostały pogrupowane w trzech kategoriach znaczeniowych. Kategoryzacja bodźców umożliwia odkrycie różnic w pojmowaniu autorytetu i władzy. W wielu badaniach tego typu stosuje się również wykorzystanie pseudosłów, tj. nieistniejących leksemów bez żadnej wartości semantycznej, lecz zgodnych z fonosyntaktycznymi regułami języka.

Istotnym kryterium wyboru leksemów należących do trzech kategorii związanych znaczeniowo z władzą i autorytetem, była częstość ich występowania wg słownika frekwencyjnego języka chorwackiego. W grupie stimulusów związanych z władzą instytucjonalną pojawiły się: *prezydentka* (forma żeńska używana znacznie częściej niż w polszczyźnie), *policjant*, *władza*, *Organizacja Narodów Zjednoczonych*, *sąd*, *ksiądz*, *nauczyciel*. Bodźce drugiej grupy to: *ojciec*, *matka*, *rodzina*, *starszy/starzy*. Trzeciej natomiast: *rycerz* i *król*.

Gramatyka odpowiedzi

Według badań Jean Aitchison, dorośli ankietowani w eksperymencie typu *Immediate Response* udzielają przeważnie odpowiedzi, która zawiera się w tym samym paradygmacie gramatycznym, co pojęcie usłyszane (Aitchison 1994) i tak na termin będący czasownikiem odpowiadają czasownikiem, a na rzeczownik zazwyczaj rzeczownikiem.

Analizując czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi dostrzec można zależność iż stosunkowo dłuższy interwał od wybrzmienia bodźca do rozpoczęcia wypowiedzi następował po wyrazie o niższej częstości występowania czy nietypowej formie gramatycznej. Do analizy porównawczej okresu latencji należałoby również włączyć czas akwizycji danego leksemu.

Rezultaty

Analiza otrzymanego materiału może skupiać się na odpowiedziach poszczególnych respondentów, w czym pomocny jest zastosowany system transkrypcji CHAT. Można również przebadaną grupę może ujmować całościowo, wyciągając wnioski zakrojone na nieco szerszą skalę.

Pierwsza kategoria bodźców wywołała wśród wszystkich czterech grup badanych najwięcej skojarzeń o pejoratywnym a niekiedy wręcz wulgarnym charakterze. Wśród kobiet aż 12% wszystkich odpowiedzi było wyraźnie negatywnie nacechowanych wobec bodźca *nauczyciel*. Stimulus *władza* również nie wzbudził pozytywnych skojarzeń. Młodsze grupy respondentów chętniej i odważniej wyrażały swój stosunek emocjonalny względem bodźca *władza*. Anonimowy charakter badania niewątpliwie sprzyjał swobodzie w wypowiedzianiu inwektyw. Najmniej odpowiedzi o wulgarnym i negatywnym stosunku wywołał bodziec *sąd*.

Założenia o zgodności paradygmatu gramatycznego bodźca i udzielonej odpowiedzi nie potwierdza jedynie analiza wyników skojarzeń udzielonych po stimulusie *policjant*. Notowane odpowiedzi zawierają wiele określeń zaczerpniętych z miejskiego slangu, znaczną ilość przymiotników, a nawet – co nieoczekiwane – czasowników typu: *ścigają/lapią*.

Skupiając się na zagadnieniu rodzaju gramatycznego rzeczowników, najczęstszą alternację wywołał bodziec *prezydentka*. Tutaj niezależnie od płci i grupy wiekowej badanych, odpowiedzią o najwyższej frekwencji (31,6%) był rzeczownik rodzaju męskiego – *prezydent*. Spośród wszystkich skojarzeń udzielonych przez kobiety, 3,5% ujawniało tu wyraźnie pozytywny stosunek. Natomiast 7,5% wszystkich męskich asocjacji było ewidentnie pejoratywnych.

Po usłyszeniu słowa *nauczyciel*, 3,3% badanych odpowiedziało *wzór* i *autorytet*. Najmniej pochlebne skojarzenia zostały udzielone przez grupę młodszych kobiet. Dla kontrastu, wśród starszej grupy mężczyzn zanotowano największy odsetek (7,5%) odpowiedzi o pozytywnym stosunku emocjonalnym.

Najmniej wyraźne skojarzenia zostały udzielone po usłyszeniu: *Organizacja Narodów Zjednoczonych*. Złożoność stimulusu warunkowała reakcje typu *nie wiem*, *nie mam pojęcia*, *nie rozumiem*, które stanowiły łącznie 8% wszystkich udzielonych skojarzeń.

W pierwszej kategorii aż 46% odpowiedzi udzielonych po usłyszeniu wyrazu *ksiądz* pokrywało się z wynikami amerykańskiego eksperymentu. Chorwackie *primary association* jest zatem identyczne z amerykańskim.

W kategorii bodźców związanych z rodziną zanotowano najwięcej odpowiedzi typu *autorytet* po usłyszeniu słowa *ojciec*. Starsza grupa kobiet wyraz *rodzina* najczęściej wiązała ze słowem *dzieci* – skojarzenie to stanowiło łącznie 14,1% wszystkich odpowiedzi. Zaś grupa młodszych mężczyzn podobnie odpowiadała już tylko w 3,3% przypadków. Emocjonalny stosunek w tej grupie bodźców ujawniły tylko kobiety. Stimulus *matka* przywołał reakcje typu *moja, najlepsza na świecie, miłość, czułość, troska*.

W trzeciej grupie bodźców Chorwaci skojarzyli pojęcia *król* i *rycerz* z popularnymi imionami władców *Branimir* i *Tomislav*. To właśnie *knez Branimir* uznany jest za jednego z twórców chorwackiej państwowości. Nie dziwi zatem wysoka frekwencja skojarzenia. Anglosaskim ekwiwalentem *primaty association* byłby *Richard* lub *Arthur*. Lecz daleką nadinterpretację stanowiło by stwierdzenie o obecności autorytetu w odpowiedziach respondentów udzielonych po bodźcach trzeciej grupy.

Wnioski

Listy otrzymanych skojarzeń można zestawiać ze sobą, ograniczając pole semantyczne bodźców wywołujących skojarzenia, a nawet określając zbiór możliwych odpowiedzi. Doszukując się między nimi podobieństw, można z należytą ostrożnością, wyciągnąć wnioski o ponadkulturowych zależnościach asocjacyjnych.

Wyraźniej zróżnicowane odpowiedzi można zaobserwować między grupami, które odróżnia kryterium płci. Różnica wieku natomiast, poza kilkoma przykładami, nie miała większego znaczenia na charakter odpowiedzi.

Poza jednym związkiem skojarzeniowym, potwierdzono również twierdzenie Jean Atchinson. Zdecydowana większość udzielonych asocjacji należała do tego samego rodzaju gramatycznego co bodziec torujący.

Bez względu na zastosowaną metodę testu skojarzeniowego, niewątpliwie potwierdzić należy istnienie ponadkulturowych, niezależnych od środowiska językowego relacji asocjacyjnych. Chorwacki test mimo różnej metody zapisu asocjacji, ujawnił w kilku przypadkach identyczne z amerykańskim badaniem związki skojarzeniowe.

Stworzona lista asocjacji na reprezentatywnej grupie badawczej, uzyskana w eksperymencie o kontrolowanych warunkach akustycznych może stanowić inspirację do przyszłych badań nie tylko na niwie psychologii języka.

Literatura

- Aitchison J. (1994), *Words in the Mind. An Introduction to the Mental Lexicon*. Oxford, Blackwell.
- Erdeljic, V. (2009), *Mentalni leksikon. Modeli i činjenice*. Zagreb, Ibis.
- Jarmoszko S. (2010), *Autorytet, kontrowersje i aksjomaty*, Warszawa, Akademia Humanistyczna.
- Kurcz I. (2000), *Psychologia języka i komunikacji*, Warszawa, Scholar.
- Mildner, V. (2008), *The Cognitive Neuroscience of Human Communication*, New York, Lawrence Erlbaum Associates.
- Miller G. A. (1951), *Language and communication*, New York, McGraw-Hill.
- Moguš, M., Bratanić, M., Tadić, M. (1999), *Hrvatski čestotni rječnik*, Zagreb, Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta.
- Polański K. red. (1999), *Encyklopedia językoznawstwa ogólnego*, Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum.

Ewelina Lechocka

Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska

ewelinalechocka@wp.pl

Kulturowo-językowy obraz modrej lilii w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych

This presentation is an analysis of iris motives, which occurred in collection of Warmian and Masurian folk songs elaborated in XIX and XX century. The purpose of this study was to define meaning and function botanic vocabulary mentioned in folkloristic texts and to compare poetic representation of iris motif with its role in every-day-life and culture of Warmia and Masuria's inhabitants. As it was deducted from maintained analysis, the folk output and botanic themes are a valuable source of information about identity of rural population from Warmia and Masuria territories. Utilization of iris motif in folksongs is characteristic for its strong resemblance to empiric reality, in which the plant plays a great role in every-day-life and in immaterial culture.

Key words: meaning, function, blue lily, iris, folksongs, Warmia and Masuria

Modra lilia - informacja etnograficzna

Związek wyrazowy *modra lilia*, funkcjonujący w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych, jest gwarową nazwą rośliny określanej powszechnie jako irys bądź kosaciec. Występowanie tego fitonimu w znaczeniu *kosaciec/irys* jest wynikiem wpływu języka niemieckiego. Germańska nazwa kosaćca – Schwertlilie - zawiera komponent *-lilie* i stąd przy elipsie jej członu pierwszego, została ona utożsamiana z nazwą *lilia* o pierwotnie innym znaczeniu. W gwarach warmińsko-mazurskich zanotowano na oznaczenie tej rośliny pięć nazw: *lilia, lilija, lelija, lelijeczka, lelijuszka i leluja*, przy których przymiotnik *modry* pełni semantyczną funkcję gatunkującą (Dubisz 1977: 119-120). Prototypową cechą kosaćca są bowiem duże kwiaty zwykle w kolorze fioletowym/intensywnie niebieskim, co potwierdzają między innymi definicje leksykograficzne fitonimu (Doroszewski 1963: 1035).

Irys jest popularnym kwiatem ozdobnym, hodowanym często w warmińsko-mazurskich ogródkach. Ceniono go od dawna przede wszystkim ze względu na atrakcyjny wygląd i przyjemny zapach. Jego kłęczę używane jest powszechnie w perfumerii, do aromatyzowania likierów, tytoniu i wyrobów cukierniczych. (Podbielkowski 1980: 172) Na wsiach uprawiano go jednak nie tylko jako roślinę ozdobną, ale również leczniczą. Zaobserwowano bowiem, że kosaciec działa powlekająco na błony śluzowe dróg oddechowych, przywraca naturalny ruch nabłonka rzęskowego i wyzwała odruch wykrztuśny. Stosowanie go nieznacznie zwiększa wydalanie moczu oraz działa przeciwbakteryjnie i ściągająco na błony śluzowe przewodu pokarmowego. Jednakże przy stosowaniu zioła należało zachować ostrożność ze względu na właściwości alergenne. Ponadto do niedawna kłęczę kosaćca znane pod nazwą „korzenia fiołkowego” podawano żąbkującym dzieciom, zaniechano jednak tych praktyk, uznając środek za niebezpieczny. (Rumińska, Ożarowski 1990: 235) Według mitologii słowiańskiej natomiast irys jest tak zwanym kwiatem piorunowym, poświęconym Perunowi – naczelnemu bogu u Słowian wschodnich, który miał pioruny (Moszyński 1967: 432). Poza tym w Polsce przedchrześcijańskiej kosaćce utożsamiane były z bogami kosymi, czyli z Przepłatami, co spowodowane było dwukolorowością charakterystyczną dla wielu odmian irysów. (Białczyński 2016)

Frekwencja i znaczenie motywu *modrej lilii* w pieśniach ludowych

Materiał językowy uzyskany dla potrzeb niniejszych badań jest wynikiem rewizji sześciu antologii pieśni ludowych, opracowanych przez: Władysława Gębika (1952), Oskara Kolberga (1966), Marię Okęcką-Bromkową (1966), Tadeusza Orackiego (1957), Mariana Sobieskiego (1955) i Augusta Steffena (1931). Najobszerniejszą z badanych antologii i tym samym najbogatszą w obecność motywu *modrej lilii* są *Mazury Pruskie* Oskara Kolberga, w których omawiany leksem pojawia się osiem razy w sześciu różnych kontekstach. Pieśni ludowe zebrane przez

Augusta Steffena zawierają sześć przykładów użycia gwarowej nazwy irysa. Zarówno Maria Okęcka-Bromkowa, Tadeusz Oracki i Marian Sobieski zanotowali po dwa teksty folklorystyczne z udziałem analizowanego leksemu. Natomiast w zbiorze Władysława Gębika motyw ten pojawia się jednokrotnie. Reasumując, we wszystkich zgromadzonych antologiach pieśni ludowych z terenów Warmii i Mazur, wyrażenie *modra lilia* i jego derywaty pojawiają się dwadzieścia jeden razy, w osiemnastu różnych kontekstach. Rozbieżność ta wynika z występowania w zbiorach kilku wariantów jednej pieśni.

Wyrażenie *modra lilia* zanotowane zostało w pieśniach ludowych wyłącznie w gwarowych odmianach podstawowego leksemu *lilia*, czyli pod postaciami: *lelia*, *lelija*, *lilija*. Najczęściej, bo aż w dziesięciu przypadkach, zastosowano formę – *lelija*, w której uwzględniono fonetyczne zjawiska alternacji samogłoski a:e oraz dodania samogłoski -i-, typowe dla dawnej polszczyzny i wymowy gwarowej. Pozostałe określenia: *lelia* i *lilija* – semantycznie równorzędne, różniące się jedynie postacią fonetyczną – występują zaledwie jednokrotnie. Oprócz leksemu podstawowego utwory folklorystyczne notują cztery formacje deminutywne fitonimu, takie jak: *lelejeczka* (1), *lelijeczka* (1), *lelijuszka* (2) oraz *lelujeczka* (3), utworzone od tematu *lel-* za pomocą przyrostków wprowadzających wartość ekspresywną rzeczownika. Ponadto dwukrotnie użyto przymiotnika *lelijowy*, będącego derywatem słowotwórczym utworzonym od rzeczownika *lilia* w postaci *lelija* za pomocą przyrostka *-owy*. Należy on do kategorii słowotwórczej przymiotników relacyjnych, będących derywatami odrzeczownikowymi.

Motywy kosaćca wykorzystany w warmińsko-mazurskich pieśniach ludowych odnosi się nie tylko do właściwego znaczenia rośliny jakim jest nazwa gatunku kwiatu, ale wśród użytych w tekstach leksemów następują przesunięcia metonimiczne znaczeń. Oprócz znaczenia ‘czysto roślinnego’, dotyczącego leksemów nazywających całą roślinę, analizowanego wyrazu użyto również w znaczeniu partytywnym - dla nazwania części rośliny. Przesunięcie znaczeniowe z całości obiektu na jego część zgodne jest z definicją słownikową *kwiatu*, która oprócz znaczenia podstawowego wyrazu ‘ozdobna roślina kwitnąca’, uwzględnia również przeniesienie znaczenia nazwy gatunku rośliny na jej część, jaką są ‘barwne, gęsto skupione płatki’ (Doroszewski 1964: 1350-1351). Jednakże realizacje badanego leksemu w tekstach pieśni ludowych, traktują przywołaną modyfikację semantyczną nieco szerzej. Ponadto dwukrotnie wyraz *lilia* wykorzystywany jest w znaczeniu genetycznym - w sytuacji, gdy nazywa surowiec, z którego wykonywany jest dany przedmiot, którym w tym przypadku jest wianek.

Dokonując analizy semantycznej motywu *modrej lilii* wykorzystałam klasyfikację leksyki botanicznej zaproponowaną przez Ewę Rogowską-Cybulską w pracy pt. *Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na podstawie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim.)* Na podstawie tekstowych modyfikacji znaczeń i relacji zachodzących między polisemią a monosemią autorka wyróżnia przesunięcia metonimiczne, wśród których wyróżnia cztery grupy znaczeń, w jakich mogą występować motywy botaniczne. Są nimi znaczenia czysto roślinne, partytywne, botaniczne i rezultatywne. Znaczenie czysto roślinne odnosi się do leksemów nazywających całą roślinę, zwłaszcza rosnącą. Znaczenie partytywne pojawia się, gdy dany wyraz użyty jest w znaczeniu części rośliny, np. groch jako nazwa nasiona warzywa. Znaczenie genetyczne dotyczy nazw surowca roślinnego, np. lipa jako nazwa drewna. Znaczenie rezultatywne natomiast stosowane jest w celu określenia wyrobów z surowców roślinnych, np. kapusta w znaczeniu ‘potrawa’ (Rogowska-Cybulska 2005: 83-122).

Wyraz *lilia* w znaczeniu czysto roślinnym odnoszącym się do leksemów nazywających całą roślinę, zwłaszcza rosnącą użyty został jedenaście razy, co stanowi około 60% wszystkich użyc. Nazwa rośliny w znaczeniu czysto roślinnym najczęściej występuje w kontekście występowania irysa w bliżej nieokreślonym miejscu przed pewną bramą, w pobliżu złotego kamienia: *A przed wroty – kamień złoty, modra lelija.* (Kolberg 1966: 207); *Á przed wroty – kámień złoty, modra lelujeckä.* (Kolberg 1966: 207); *Koło wroty kenięń złoty, modra lelujecka.* (Kolberg 1966: 213); *Koło wroty kenięń złoty, modra lelujecka.* (Kolberg 1966: 520); *A za dworem siwy kamień, modra lelija.* (Kolberg 1966: 532); *A przed wroty kamień złoty, modra lelejeczka* (Oracki 1957: 321); *A przed wroty kamnięń złoty, modro lelijeczko.* (Steffen 1931: 95). W innym przykładzie natomiast, teren rośnięcia kwiatu jest charakterystyczny – stanowi go grób młodej dziewczyny: *Już twa kaška nie żyje, na ji grobie lelije. a w leliji modry ksiat.* (Steffen 1931: 37).

Znaczenie czysto roślinne odnosi się również do kontekstów, w którym nazwa rośliny stanowi element porównania. Jednakże klasyfikacja znaczeniowa fitonimu była w tych sytuacjach niejednoznaczna, co wynikało z funkcjonowania motywu irysa poza światem przedstawionym pieśni ludowych. W utworach, w których brakowało

bezpośredniego wskazania na część rośliny (jak np. w porównaniu *modre oczki jak lilijo*, które oznacza ‘mieć taki kolor oczu jak niebieska część rośliny czyli płatki’), uznawałam że nazwa botaniczna wykorzystana została w znaczeniu czysto roślinnym, tak jak w przypadkach, gdy motyw roślinny służy porównaniu ogólnej sylwetki kobiety do wizerunku rośliny: *Lóna stoi przed kultorem jek modro lelijo, a lón stoi pod dźwierzamy jek marno bestyjo*. (Steffen 1931: 95); *Ona stoi przy oltarzu jak modra lelija, a ja stoję za wrotami jak marna bestyja*. (Okęcka-Bromkowa 1966: 170). Metaforyczne wykorzystanie nazwy rośliny w znaczeniu czysto roślinnym wiąże się również z procesem starzenia się: *A teraz my zziandły [lice] jek modro lelijo* (Steffen 1931: 32). Cecha natury ludzkiej – ‘stawanie się starym’ przyrównane zostało do procesowi więdnienia, odnoszącym się zazwyczaj do całej rośliny. Czasownik *więdnąć* według współczesnej definicji słownikowej oznacza: ‘o roślinach lub ich częściach: tracić świeżość w skutek utraty wody’ (Drabik, Sobol 2007: 465). Proces ten dotyczy zatem całej rośliny, bądź jej części. Jednak ze względu na brak jednoznacznego wskazania na znaczenie partytywne, uznałam, iż w kontekście utworu ludowego – więdnieniu podlega cała roślina. Ponadto starsze słowniki języka polskiego, takie jak np. *Słownik języka polskiego* Witolda Doroszewskiego, łączą proces więdnienia wyłącznie z całą rośliną (Doroszewski 1967: 1088).

Analizowany motyw w znaczeniu partytywnym wykorzystany został dla nazwania części rośliny jaką jest korona z płatkami. Przesunięcia semantycznego z całości obiektu na jego część dokonano w tekstach ludowych częściej, co stanowi niespełna 30% wszystkich użyc. W większości kontekstów kolor płatków kwiatu zestawiony został na zasadzie analogii z błękitem oczu człowieka: *Ona stoi w okienecku jako lelijowy ksiot, modre ocki uplakala*. (Gębik 1952: 44); *Taki dużuchny jako i jo, mo [kochany] modre oczki jak lilijo* (Sobieski 1955, 94); *Ona stoi w okienecku jako lelijowy ksiot, modre ocki uplakala..* (Sobieski 1955: 167) lub niebieską barwę części rośliny przyrównano do bladej, kobiecej cery: *A teraz mnie zbladły [liczka] jak modra lelija, wyjdę na poleczko, wiatrek mnie powiewa*. (Okęcka-Bromkowa 1966: 361). W pozostałych dwóch pieśniach irys rośnie w ogrodzie, ale w tych kontekstach uwaga jest skupiona na zapachu rośliny, zatem nazwa botaniczna pojawia się w znaczeniu partytywnym, gdyż określa część rośliny, z której wydobywa się aromat, czyli płatki: *Zapachniała mnie z twego ogródeczka modra lelija*. (Kolberg 1966: 266); *Zapachniała mię z twojego ogródka modra lelia*. (Kolberg 1966: 524).

Natomiast w znaczeniu genetycznym, odnoszącym się do nazwy surowca roślinnego, wyrażenia *modra lilia* użyto w zbiorach pieśni ludowych dwukrotnie – w celu określenia materiału, z którego został wykonany wianek: *Modra lelijuszka z różą przeplatana* (Kolberg 1966: 218); *Modra leliuszka z różą przeplatana*. (Oracki 1957: 230-231).

Funkcjonowanie motywu *modrej lilii* w pieśniach ludowych

Dokonując analizy funkcjonowania motywu kosaćca w pieśniach ludowych, przyjąłam klasyfikację zaproponowaną przez Andrzeja Stoffa w pracy teoretycznej: *Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich*, odnosząc się jednak do niej krytycznie. Badacz wprowadził bowiem systematyzację motywów roślinnych, wyróżniając sześć głównych funkcji, w jakich występują one w utworach literackich, są nimi: funkcja metaforyczna, dekoracyjna, mimetyczna, przedmiotowa, ekspresywna i symboliczna, z których wykorzystywałam połowę - funkcje: metaforyczną, mimetyczną i przedmiotową, rezygnując z trzech pozostałych z powodu braku w tekstach ludowych kontekstów, do których należałoby przypisać owe funkcje. W konsekwencji ograniczę się do charakterystyki wyłącznie tych funkcji, które dotyczą niniejszego przedmiotu badań.

Pierwsza z nich - metaforyczna - jest zasadniczo odmienna od pozostałych, a jej cechą różnicującą jest brak przedmiotowego odpowiednika motywu w tekście. Nazwa rośliny istnieje poza światem przedstawionym, stanowi jedynie językowy opis kreowanej rzeczywistości. Istotą funkcji jest tworzenie metafory, bycie przedmiotem pomocniczym przenośni. Pozostałe funkcje wiążą się z przedmiotowym osadzeniem motywu w świecie przedstawionym utworu literackiego. Funkcja mimetyczna polega na chęci przeniesienia świata realnego do fikcji literackiej. Motywy występujące w tej funkcji służą stworzeniu naturalnego tła wydarzeń, stanowiąc konsekwencję postawy naśladowania rzeczywistości, dostosowania świata empirycznego do tego, co literackie. Funkcja przedmiotowa natomiast dotyczy wykorzystania występujących obiektów przyrodniczych zgodnie z ich naturą i przeznaczeniem. Należą do niej korzyści wynikające z obcowania człowieka ze światem roślin jak również zagrożenia wypływające z natury (Stoff, 1997: 9-22).

Większość funkcji, w jakich występuje wyrażenie *modra lilia*, wiąże się z przedmiotowym osadzeniem motywu w świecie przedstawionym tekstów ludowych. Największą wśród nich frekwencją wyróżnia się funkcja mimetyczna, która pojawia się w jedenastu kontekstach, służących stworzeniu naturalnego tła wydarzeń i tym samym określeniu krajobrazu regionu. Kosaciec, będąc częścią świata przedstawionego, występując w pewnym, niedookreślonym miejscu: *A przed wroty – kamień złoty, modra lelija*, (Kolberg 1966: 207); *Ā przed wroty – kāmien złoty, modra lelujecka* (Kolberg 1966: 207); *Koło wroty kenięń złoty, modra lelujecka*. (Kolberg 1966: 213); *Koło wroty kenięń złoty, modra lelujecka*. (Kolberg 1966: 520); *A za dworem siwy kamień, modra lelija*. (Kolberg 1966: 532); *A przed wroty kamniēn złoty, modro lelijeczko*. (Steffen 1931: 95); *A przed wroty kamień złoty, modra lelejecka*. (Oracki 1957: 321), jak również rośnie na grobie młodej kobiety, co stanowi charakterystyczny obraz warmińsko-mazurskiego krajobrazu: *Już twa kaška nie żyje, na ji grobzie lelije. a w leliji modry ksiat*. (Steffen 1931: 37); *Już twa kaška nie żyje, na ji grobzie lelije. a w leliji modry ksiat*. (Steffen 1931: 37). Sadzenie na mogiłach dziewcząt lilii oraz bliskich im irysów jest bowiem utrwalonym kulturowo obyczajem, ściśle związanym ze znaczeniem symbolicznym kwiatów, będących znakami przemijania i śmierci. W omawianym przykładzie symbolika funeralna rośliny jest również konotowana przez tradycyjne znaczenie przypisywane odcieniom błękitu i fioleto – kolorom tęsknoty i żaloby (Kopaliński 2012: 22, 89). W dwóch innych pieśniach natomiast irys rośnie w ogrodzie, wydobywając z siebie przyjemny dla ludzkich zmysłów zapach: *Zapachniała mnie z twego ogródeczka modra lelija*. (Kolberg 1966: 266); *Zapachniała mię z twojego ogródkka modra lelia*. (Kolberg 1966: 524). Utwór ten eksponuje tym samym dwie znamienne cechy struktury semantycznej irysa: atrakcyjna woń jako ważna właściwość fizyczna oraz ogród jako typowe miejsce rośnięcia kwiatu. Komponent ‘pachnie’ pełni w ogóle ważną funkcję w kulturowym obrazie kosaćca, czego potwierdzeniem są definicje leksykograficzne fitonimu, które sugerują wprost, że cecha semantyczna ‘ma zapach’ jest prototypową cechą irysa (Podbielkowski).

W siedmiu utworach nazwa *modrej lilii* istnieje poza światem przedstawionym tekstów ludowych, stanowiąc jedynie językowy opis kreowanej rzeczywistości. Brak przedmiotowego odpowiednika motywu w tekście dotyczy funkcji metaforycznej, która w przypadku irysa odnosi się do kontekstów, w których nazwa kwiatu tworzy metaforę, stanowiąc elementem porównania obrazu rośliny do wizerunku człowieka. Najczęściej przedmiotem porównania bywa kolor oczu człowieka i kwiatu irysa. Pieśni te uwydatniają podstawową cechę rośliny, jaką jest intensywnie niebieska barwa płatków, co służy obrazowemu przedstawieniu koloru oczu, zarówno kobiecych, jak i męskich: *Ona stoi w okienecku jako lelijowy ksiot, modre ocki uplakala*. (Gębik 1952: 44); *Taki dużuchny jako i jo, mo [kochany] modre oczki jak lilijo* (Sobieski 1955: 94); *Ona stoi w okienecku jako lelijowy ksiot, modre ocki uplakala*. (Sobieski 1955: 167). W innym utworze natomiast odcień płatków rośliny zestawiony został z białością kobiecej cery: *A teraz mnie zbladły [liczka] jak modra lelija, wyjdę na poleczko, wiatrek mnie powiewa*. (Okęcka-Bromkowa 1966: 361), tworząc tym samym wizerunek kwiatu, którego niebieskofioletowe płatki zbliżające się do odcieni szarości, konotują stan zmęczenia i smutku. Bohaterką utworu jest bowiem młoda kobieta, która przedwcześnie opuściła dom rodzinny i z tego powodu odczuwa znużenie.

Analizowany leksem w funkcji metaforycznej przyjmuje zarówno znaczenie partytywne, jak i czysto roślinne, zależnie od kontekstu, który jednak nie zawsze wskazuje bezpośrednio na znaczenie fitonimu. Podczas gdy użycie nazwy botanicznej w znaczeniu partytywnym nie budzi wątpliwości, znaczenie czysto roślinne bywa niejednoznaczne do rozstrzygnięcia. Zgodnie z przyjętą wcześniej metodą, w sytuacjach, w których brakuje potwierdzenia świadczącego o przesunięciu metonimicznym, uznaję znaczenie czysto roślinne nazwy kwiatu, tak jak na przykład w utworach, w których przedmiotem porównania jest ogólny wizerunek kobiety: *Lóna stoi przed łultorzēm jek modro lelijo, a lón stoi pod dźwierzamy jek marno bestyjo*. (Steffen 1931: 95); *Ona stoi przy oltarzu jak modra lelija, a ja stoję za wrotami jak marna bestyja*. (Okęcka-Bromkowa 1966: 170) Motyw kosaćca w tych kontekstach został wykorzystany do zbudowania semantycznej opozycji: *modra lilia* wyobrazająca piękno i delikatność, skontrastowana została z bestią, uosabiającą brzydotę i dzikość. Ponadto jednokrotnie zwiędnięta kobieca cera przyrównana została na zasadzie podobieństwa do procesu wędnięcia rośliny: *A teraz my zziandły [lice] jek modro lelijo* (Steffen 1931: 32). Ludzka twarz pokryta zmarszczkami jest naturalną konsekwencją wieku, podobnie jak utrata świeżości przez kwiaty – analogia ta rysuje typowy wizerunek irysa jako rośliny poddanej zwyczajnym przyrodniczym procesom.

Najmniejsza ilość kontekstów odnosi się natomiast do praktycznego zastosowania rośliny przez człowieka dla własnych potrzeb i korzyści. Według utworów folklorystycznych, ludzie wykorzystują irysy wyłącznie ze względu na walory estetyczne, przeznaczając roślinę do wyrobu wianków: *Modra lelijuszka z różą przeplatana* (Kolberg 1966: 218); *Modra lelijuszka z różą przeplatana*. (Oracki 1957: 230-231). *Modre lilie* stanowią komponenty ornamentów kwiatowych wraz z różami, co sytuuje oba gatunki kwiatów na równorzędnej pozycji, tworząc tym samym obraz kosaćca jako rośliny bardzo pięknej, dorównującej swą urodą królowej kwiatów. Podstawą konfrontacji tych dwóch fitonimów może być również kontrastowe zestawienie kolorów obu kwiatów, wykorzystujące asocjacje nazw kwiatów z nazwami barw: gdzie niebieski odcień kosaćca jest oznaką spokoju i niewinności, natomiast czerwień róży konotuje energię i namiętność (Kopaliński 2012: 22, 51)

Podsumowanie

Jak wynika w przytoczonych przykładach oraz przeprowadzonych do tej pory badaniach, funkcje, w jakich mogą być wykorzystywane nazwy roślin, są w znacznym stopniu uzależnione od znaczenia, w jakim występują fitonimy. Funkcja mimetyczna najczęściej łączy się ze znaczeniem czysto roślinnym, a funkcja przedmiotowa ze znaczeniem partytywnym i genetycznym. Przykłady odstępstwa od owej prawidłowości są odosobnione, bądź stanowią rodzaj kompromisu ustalonego w niejednoznacznych do rozstrzygnięcia przypadkach. Funkcja metaforyczna natomiast związana jest zarówno ze znaczeniem partytywnym jak i czysto roślinnym, co uwarunkowane jest jednostkowym sposobem tworzenia metafor.

Analiza funkcjonalno-znaczeniowa wykazała ponadto, że wizerunek modrej lilii wykorzystany został w pieśniach ludowych przede wszystkim w celu stworzenia naturalnego tła wydarzeń, co przejawia się w dominacji funkcji mimetycznej. Kosaciec w tych kontekstach stanowi charakterystyczny element krajobrazu, który porasta określoną przestrzeń. Teksty folklorystyczne uwzględniają przy tym wartość symboliczną irysa charakterystyczną dla polskiej tradycji jako kwiatu nagrobnego, znaku śmierci i przemijania. Ponadto w jednym utworze wyeksponowana została ważna właściwość kwiatu, jaką jest zapach.

Nazwa omawianego gatunku kwiatu używana bywa również w roli obiektu stosowanego przez człowieka w celach praktycznych przede wszystkim ze względu na walory estetyczne. Lilia wykorzystywana jest bowiem według pieśni wyłącznie jako komponent wianków. Sytuacja ta dostarcza jednocześnie pewnych informacji na temat charakteru ludzi i ich wrażliwości, podobnie jak konteksty, w których nazwy rośliny użyto w funkcji metaforycznej.

Liczne porównania z udziałem modrej lilii świadczą o głębokim zakorzenieniu wizerunku kwiatu w mentalności mieszkańców Warmii i Mazur. Metaforyczne wykorzystanie rośliny dowodzi wrażliwości Warmiaków i Mazurów na piękno natury oraz docenienia walorów estetycznych roślin. Posługiwanie się nazwą rośliny odnosi się bowiem najczęściej do porównania urody i charakteru kobiety do roślin, czy koloru oczu lub cery do barwy kwiatu. W kontekstach tych wyeksponowano takie cechy kosaćca jak subtelność, delikatność, intensywnie niebieska bądź niebieskofioletowa barwa zbliżona do odcieni szarości.

Warto również podkreślić, że lilia to jeden z nielicznych gatunków kwiatów, któremu Warmiacy i Mazurzy poświęcili tak wiele miejsca w pieśniach ludowych, co stanowi swoistą nobilitację rośliny i świadczy o wyjątkowym miejscu, jakie zajmowała w życiu i kulturze tego regionu.

Bibliografia

- Białczyński Cz. 2016. *Rośliny magiczne:kwiaty, ziola, krzewy – rozkownik, perunika, kukawica, przylaszczka, cieszynianka, korzeń Tęczy, kosaciec, kalina* [online], Białczyński, [dostęp: 30 maja 2016], dostępny w Internecie: <http://bialczyński.pl/czworksiag-wielki-wiary-przyrody/tom-iv-ksiega-wiedy/boskie-emanacje-i-wcielenia/boskie-kwiaty-ziola-i-ofiarne-wiece/rosliny-magicznejkwiaty-ziola-krzewy-rozkownik-perunika-kukawica-przylaszczka-cieszynianka-korzen-teczy-kosaciec-kalina/#comment-26444>
- Doroszewski W. 1963. *Słownik języka polskiego* t. IV, Warszawa.
- Doroszewski W. 1967. *Słownik języka polskiego* t. IX, Warszawa.
- Drabik L., Sobol E. (red.) 2007. *Słownik języka polskiego PWN*, t. II, red. Warszawa.
- Dubisz S. 1977. *Nazwy roślin w gwarach ostródzko-warmińsko-mazurskich*, Wrocław.
- Gębik W. (zestawił) 1952. *Pieśni ludowe Mazur i Warmii*, Olsztyn.
- Kolberg O. 1966. *Dziela wszystkie t. 40 Mazury Pruskie*, red. Pawlak D., Wrocław.
- Kopaliński W. 2012. *Słownik symboli*, Warszawa.
- Moszyński K. 1967. *Kultura ludowa Słowian. T. II. Kultura duchowa*, Warszawa.
- Okęcka-Bromkova M. 1966. *Śpiewa wiatr od jezior*, Warszawa.
- Oracki T (wybrał i opracował) 1957. *Poezja ludowa Warmii i Mazur*, Warszawa.
- Perzowa H., Kołodziejczykowa D. (red.) 2002. *Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur*, t. IV, Warszawa.
- Rogowska-Cybulska E. 2005. *Aktywność nominacyjna nazw roślin w gwarze wagowskiej*, w: tejże, *Gwarowy obraz roślin w świetle aktywności nominacyjnej ich nazw (na podstawie gwary wsi Wagi w powiecie łomżyńskim)*, Gdańsk.
- Sobieski M. (wybrał i opracował) 1955. *Pieśni ludowe Warmii i Mazur*, Kraków.
- Steffen A. 1931. *Zbiór polskich pieśni ludowych z Warmii*, Poznań.
- Stoff A. 1997. *Problematyka teoretyczna funkcjonowania motywów roślinnych w utworach literackich*, [w:] *Literacka symbolika roślin*, red. A. Martuszevska, Gdańsk.

Lenka Macsaliová

Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, Slovenská republika
lenka.macsaliova@savba.sk

Historicita v Rysul'ovom románe Milosť

My posttitled histori city in Rysul'a's novel Grace (1940) will be devoted to the analysis of the novel by Štefan Rysul'a. I will concentrate on addressing the questions of histori city in this work, and also the question of time and the subjective perception with the use of the background perspective of the human race." This means that in prose, we will observe how the author portrays specific time ground breaking, disruptive historical events. Whether it manifests itself as a dynamic, shaken constantly pulsing on the basis of "small history" where it gets to the centre of the attention the man himself. When analyzing this, two principles will be important: the "acceleration" of perception and of the reflection of historical events in opposition to the cyclicity of the grouselle's time, its particular vie wand howt hat may presented in the selected text.

Key words: historicity, historical event, subjective perception

René Bilik v publikácii *Historický žáner v slovenskej próze* píše, že v štyridsiatych a v prvej polovici päťdesiatych rokov dvadsiateho storočia sa historický žáner prejavuje v dobových prozaických textoch tak, že „*tematická línia síce vyrastá z východiskového historického faktu – interpretovanej stopy, identifikovanej v národných/svetových dejinách či dejinách ľudského rodu, ale dôraz sa presúva z udalostného jadra historického faktu na ľudské prežívanie špecifik času*“ (2008: 144). Kľúčovou tu stáva otázka času, ktorý je v literárnom texte vnímaný subjektívne na pozadí perspektívy „ľudského rodu“. V próze sa bude javiť čas zlomových dejinných udalostí ako dynamický, neustále pulzujúci na podklade „malých dejín“, kde sa do pozornosti dostáva človek a zároveň to, čo ho obklopuje a tvorí jeho každodenné univerzum. V analýze románu *Milosť* (1940) sa budem sústrediť na to, či a ako sa práve tento **princíp** „zrýchlenia“ a behu minulých udalostí môže priamo prejavovať v texte.

Priestorovosa dej prózy centralizuje do dediny Šoldovo. Tá sa údajne rozprestierala „pod Kriváňom medzi Hybami a Východnou“ (Brtáň 1941: 12). Brtáň v recenzii *Román liptovských hôr* píše: „zdá sa, že autor mal po ruke nejaké archiválne záznamy, ale zväčša sa opiera o tradíciu, ktorá rozpráva o vypálení a úplnom zničení slobodnej kráľovskej obce Šoldova“ (1941: 12). Táto obec, ktorá je (v súčasnosti) médiami označená ako „slovenská Atlantída“, kde („vraj“) žili ľudskí obri, sa reálne sama o sebe stáva takmer nepreukázateľným priestorom (nakoľko o nej neexistujú konkrétnejšie historické záznamy), no zároveň nadobúda svoje kontúry historickej platnosti v ľudovom tradovaní. Z nich čerpá autor **námet** na literárne oživenie z miestneho kontextu, v ktorom sám prežil svoj život. V dobovej reflexii román figuruje ako „vzácnosť“ v našom literárnom kontexte, v ktorom sa autor „tematicky dotkol (...) sveta nového, a to najmä tým, ako sa priblížil v historickej perspektíve k životným zákonom podtatranskej zeme, teda k svetu, o ktorom si mnohí mysleli, že niet v ňom už neporušených prameňov umeleckej tvorby, že sa už nedá ťažiť z oblasti dedinskej nijako prekvapivo nová umelecká látka“ (Mečiar 1940: 738). Naznačuje sa tu opätovne tradícia, no nie dedinských „legiend“, ale literárneho kánonu. *Milosť* tak bola pozitívne reflektovanie samotnou témou, ale jej mierou inovácie. Vyzdvihované bolo zobrazenie „životného zákona slovenskej zeme a slovenského človeka“ (Mečiar 1940: 738), „zachytenie (...) prírody“ (Brtáň 1941: 12), použitie „jazyka (...) bohatého na ľudové, valaské a goralské zvraty“ (Brtáň 1941: 12), „náboženský pátos“ (A.N. 1940: 14), glorifikácia ľudového mravného a sociálneho života (A.N. 1940: 14), národná a náboženská symbolickosť (A.N. 1940: 14). Na druhej strane však boli autorovi vyčítané zdĺhavé „prírodné líčenia a duševné poryvy hrdinov“ (Brtáň 1941: 12). Práve tieto momenty nám však môžu signalizovať spomínané „zrýchlené“ vnímanie behu minulých udalostí.

Dej románu je obsahovo vykonštruovaný na základe dvoch bojov, pričom prechádza od menšieho zápasu (spor medzi Liptákmi a Poliakmi) k ďaleko rozsiahlejšej bitke (obec Šoldovo proti liptovským zemanom). Príbeh sa však otvára lyrizačno-meditačnou sekvenciou, ktorá zároveň môže slúžiť ako príklad toho, akým spôsobom je próza napísaná: „*Oči sa zbožne upierajú do výšky. Sú ako síňava nebies, v ktorých je pôvod všetkých dejov sveta. Najprv prelietly pestrosť zakvitnutých lúk, preklzly po tmavejši zeleni lesov, pokojne sa kochaly v dial'nych modrých siluetách*

kosodrevia, zaleskly sa na bizarnosti balvanov a opreli sa o vysoké nebesá“ (Rysuľa 1940: 7). Tieto pasáže, ktoré boli Mečiarom v Slovenských pohľadoch nazvané akosegmenty, slúžiace na retardáciu deja a stupňovanie napätia v príbehu (1940: 740), však na tomto mieste smerujú k evokácii podtatranského harmonicky-transcendentálneho prírodného priestoru. Smeruje od dolín až po nebesá a späť. „Záber“ končí dole na hlavnej postave Jánovi Kremeniakovi, ako zhlíada k nebesiam. Ten tu slúži ako pars pro toto pre vykreslenie Slováka ako „svalovca“ s dobrým duchom, ku ktorému neodmysliteľne patrí klobúk, valaška, mosadzné pracky, čím sa naznačuje tradičná národná symbolika „slovenského junáctva“. K celkovému ideálu vykreslenia „obrázku“ slovenského slobodného ľudu pridáva autor aj utopické ponímanie krajiny, ktorá sa v rozprávani zobrazuje „pod filtrom“ romantického motívu (krajina ako miesto pokoja). Dobytok, voda v korytách, slovenská príroda sa mení na zlato. Koexistencia človeka spolu s nimi evokuje pocit raja na zemi. Už na tomto mieste sa dostávame k tendencii zameriavania sa na každodenný kontext bežného človeka („malé dejiny“).

Do opísaného idylického kontextu zasahuje spor medzi Liptákmi a Poliakmi. Otca Jana Kremeniaka napadnú traja poľskí útočníci hneď po tom, ako ich odhalí pri kradnutí oviec. V tomto momente je tu kľúčový motív **pomsty svojho druhu**: „*trescite krivdu, ratujte dobrých ľudí, našich susedov, ale pritom nezabúdajte, že ani poľská vina nespočíva na všetkých Poliakoch, ale len na dvoch troch*“ (Rysuľa 1940: 57) a **jednoty**: „*jedna krv v nich kolovala, jedna žľ ich zalievala*“ (Rysuľa 1940: 33), pričom autor plne pracuje s nastolením kontrastov medzi „hörnymi chlapcami“ a zlodziejmi: jeden mal „*nos ako silápušená hruška, gamby hrubé a zaslinené ani besný pes*“ (Rysuľa 1940: 31); druhý bol „*územčistý, rusých fúzov a ostrihaný (...) na ľavej ruke nemal prostredného prsta*“ (Rysuľa 1940: 32); a tretí „*tenký, červenej tvári, červené fúzy a končitý nos*“ (Rysuľa 1940: 32). Oproti zločincovi, u ktorých nastáva „jednota“ tela a ducha (krádež ako hriech a nepekná vizáž), tak stoja Šoldovanici: „*Uprostred nepriehľadných hôr vyrastlí, silní, obrovskí chlapi, boli kráľmi vyhľadávaní a najímaní do vojen. (...) Boli impozantní, biele kmene jedlí, vlasy vymastené, opasky, na nich pracky vyleštené, valašky nabrúsené, tak stáli ako ozrutné skalné veže Tatier nad nimi*“ (Rysuľa 1940: 72).

Dostávame sa tak k stretu týchto dvoch strán, pričom je zaznamenaný na pomerne malej ploche a aj to fragmentárne. Ešte pred „zrážkou“ Šoldovanov s Poliakmi je na širokej ploche zachytený pochod hôrných chlapcov horami na pomoc svojim druhom, ich príchod pod hrebeň, rozvláčne rozjímanie nad krásou prírody spätej s transcendentným a ľudským, a až potom nasleduje bojová pasáž: „*Východňanci válali balvany, Poliaci sa hnali na nich, čo krok to zúrivejšie, lebo príval skál podtínal nohy a mlčanie Východňanov ich popudzovalo. Hoci príval skál bol hrozný, predsa len napredovali*“ (Rysuľa 1940: 71). Bojová sekvencia sa (zatiaľ) končí tým, ako Poliaci ustupujú. Ďalej sa o tomto súboji píše až v nasledujúcej kapitole, nakoľko medzi prvú a druhú polovicu opisu boja vkladá autor sekvencie, kde popisuje národu Šoldovanov, význam ich pomenovania a ich mierový vzťah k vládárom (vystupujú tu dve historické postavy uhorský kráľ Matej I. i knieža Nitrianskeho kniežatstva a neskôr uhorský kráľ Ladislav I. Svätý, ktorí tu však figurujú skôr ako postavy v domácej „legende“, povesti, ktorou autor poukazuje na vzájomný rešpekt a úctu panovníka ako predstaviteľa najvyššej moci a dedičanov).

Keď sa v próze dostaneme k „druhej polovici“ bitky, opätovne jej opis pôsobí veľmi jednoducho, bez rozvetvenejších príkras: „*Bojový hluč netrval dlho. Zatmelo sa, slial sa prudký lejak, zahrnelo strašne, potom utíchlo. Rýchlo prišlo, chytré pomínulo. Ale účinok bol strašlivý. Poliač v úľaku zdesene cúvala dolu, mnohí už ležali, bedákali, chrčali, krv sa valila*“ (Rysuľa 1940: 77). Vidíme už len výsledok bitky, kde sa hlásia straty na oboch stranách. Niekde je vidieť odťatú ruku, rozštiepenú hlavu či ležiaceho nebožtíka. Burcujúca pasáž, ktorá je popísaná na maximálne dvoch stránkach tak oproti ostatným segmentom textu naplňa atribút dynamického behu minulých udalostí, ktoré sú charakteristické tým, že sú zlomové pre toho daného človeka (Jana Kremeniaka) alebo skupinu ľudí (Šoldovania, Poliaci). Tento spor však iba predznamenáva väčšiu bitku, ktorá sa má odohrať medzi zemanmi a dedičanmi zo slobodnej kráľovskej obce. Zatiaľ čo prvý stret smeroval k motívu pomsty, druhý väčšou časťou prerastá do širšieho kontextu a naberá motív rebélie, boja za slobodu, pričom autor v jednom segmente textu trochu odbočuje aj do tematiky zbojníctva.

Zatiaľ čo stret, boj Poliakov a Šoldovanov podnietilo napadnutie Jana Kameniaka staršieho, tuto je to trochu odlišné. Janko Kremeniak (mladší) bol napadnutý troma panskými horármi a pri sebaobrane usmrtil dvoch horárov, pričom tretí utiekol a označil ho za „*strašného zbojníčiska*“ (Rysuľa 1940: 108 – 109). Zatiaľ čo v romantizme figuruje zbojník ako postava heroická, ktorá trestá, berie bohatým a dáva chudobným, tu sa obracia, naberá úplne iné

kontúry v rámci optiky vnímania tejto figúry. Z pohľadu pánov a ich prisluhovačov sa stáva krvilačným vrahom, ktorý je nebezpečný nielen pre nich, ale aj pre celú societu. Vraciame sa teda ku kompozícii priebehu prvého stretu, ktorý sa zopakuje aj na plochenového konfliktu. Znovu sú tu meditačno-lyrizačné pasáže premietané na panoramatickosť prírody, ktorá reflektuje nepokoj z toho, k čomu má dôjsť: „*Prišli dni šedivé, temné, pod všetkými hoľami bola osuheľ hlásajúca, že je zle, že nedobre, vtáctvo umívalo, slnko sa hanbilo, mesiačik sa skrýval a klenba nebies začala slzy ronit*“ (Rysul'a 1940: 150). Každodennosť, akási nemennosť času či bezčasovosť, kde sa bežné udalosti dňa zlievajú do plynulého cyklu zautomatizovania činností, je narušená dramatickými udalosťami, ktoré narúšajú toto „zastavenie času“ a spôsobuje tak zrýchlenie reflexie času. Takými to segmentmi sú v tomto prípade príchod vojsk, odchod dedinčanov do hôr, pozatváranie vyslancov Šoldova, odboj dedinčanov. Práve tie postupne zdynamizujú dej prózy, ktorá vyúsťuje do dvoch partov boja (vypálenie dediny Šoldovo a záverečný boj). Do prvej časti pracovne zahrnieme príchod vojska: „*Viedol ho sám kapitán Gregovský, podlý nepriateľ ľudu. Nadutý korhel, bez jemnejšieho citu ľudskosti. Chlap veľkej postavy, žiadaný chlipnými ženštinami, spustlík. Na žiadosť pána Ostrožica pridelený so sto päťdesiatimi vojakmi z Likavy na Novohrádocký zámok*“ (Rysul'a 1940: 111) a s ním spojenú zmenu spoločenského slobodného fungovania dedín: „*Dediny byly povinné odvádzať v naturáliách a v peniazoch veľké dávky na udržovanie vojska. Chlapi-vojaci boli podobní veliteľovi, jablko nepadá ďaleko od stromu a od hlavy ryba smrdí*“ (Rysul'a 1940: 111). Velitelia sú tu nositeľmi negatívnych atribútov, Revaj vystupuje ako tyran, Gregovský ako nevládný alkoholik. S nimi následne spája autor pánov a vojenský kontext.

Situácia vyúsťuje do taktického napadnutia vojakov Šoldovanmi, Poliami, Magurákmi a Rusínmi: „*Vojaci nemali stihu ani na svoje zbrane siahnúť, tu čiapka sletela s hlavy, tu flinta tresla o skalú, tu úsmev žartu smiešaný s hrôzou, nebolo kedy hnevivú prísnu podobu dať tvári. Sila tlaku bola tak príšerná, že na všetky formality sa zabudlo, iba šťastie pre mnohých, že nohy byly, a tie neposlúchajúc hlavu, pracovaly na záchrane. Niektorý štvornožky sa vliekol, iný v bolesťiach kričal, mnohý chrčiac neodíšiel*“ (Rysul'a 1940: 180). Vidíme tu vojakov, ktorí sú podgurážení vínom a opozične triezvych dedinčanov. Dôležité je však zobrazenie tohto napadnutia, ktoré je opakovane veľmi detailné, no detail samotný je tu skôr úsporný, avšak ťažiskový. Rýchly záber na padajúcu čiapku, na náraz zbrane o skalú, detail skrivených úst, končatín človeka, ležúceho štvornožky, následne krik a chrčanie. Autor tu tak postupuje v dynamickom slede od toho najjemnejšieho detailu až po ten najdrsnejší.

Druhou časťou tohto fatálneho stretu prichádzame zároveň k odhaleniu príčiny zániku dediny Šoldovo. Po incidente sa vojaci obrátia na dedinu Šoldovo, ktorá je v tom čase poloprázdna, nakoľko chlapi odišli do hôr a ženy, deti i starci v nej ostali. Vojaci sú tu popísaní ako „prišery“ (Rysul'a 1940: 194) pri vypalovaní dediny. Tento výjav je stvárnený nie veľmi farbisto ako pri popísaní prírody Liptova, no zato dynamicky a so sústredením sa na detail masakra. O to desivejšie je potom sledovať fragmentárny opis toho, čo navrátiť dedinčania nachádzajú na mieste, kde stála ich obec: „*a tu hľa starec šedivých vlasov, krvavený, preťatú hlavu, vedľa chlapec s rozbitou hlavou, tu zas žena opálená, krvou postriekaná, cez tvár šmuha od korbáča...*“ (Rysul'a 1940: 198). Týmto spôsobom udalosti pokročia do prudkej akcelerácie, ktorá vyúsťuje do pomsty zvyšných dedinčanov za zosnulých vo vypálenej dedine. Nepokoj a hnev sa pretavuje do rytmického zvúčného burácania pochodu, ktorý sa stráca v tichu ustátia, v ktorom sa koncentruje vnútorný rozbroj. Bitka tak vyúsťuje už finálne v strete vojakov a dedinských mužov, ktorých je pomenej voči prevahe vojska, svojím bojom sú zdatnejší, no nakoniec do posledného padnú.

Záverom nám vystáva zodpovedanie si otázky historicity i princípu zrýchlenia času dejín a ich realizácie v Rysul'ovom románe *Milosť*. Napriek tomu, že autor používa ako námet dedinské tradované „povedačky“ ako podklad pre vykonštruovanie „pseudohistorickej“ udalosti, ktorá hovorí o zániku a existencii Šoldova, autenticky pracuje s hovorovým jazykom dedinčanov, čím sa istým spôsobom dodáva dielu historická perspektíva na pozadí naturalistických tvorivých postupov i romantických, folklórno-mýtických zdrojov. Na ploche rozprávania je plne citeľný princíp dejinného behu, kde sa na malej ploche reflektuje to dynamické, netradičné, „neprirodzené“ z hľadiska každodennej reality bežného slovenského človeka, pričom sa naopak „nečasovosť“, cyklickosť tohto všedného aplikuje na lyrizačné, meditačné veľké plochy, reflektujúc tak spätosť človeka s prírodou a duchovnom.

Bibliografia

Primárna literatúra

Rysuľa Štefan (1940), *Milost'*. Liptovský Sv. Mikuláš, Spolok Transcius.

Sekundárna literatúra

A.N.(1940), *Milost' (Štefan Rysuľa)*. *Elán*, XI/4, 14.

Bílik René (2008), *Historický žáner v slovenskej próze*. Bratislava, Kalligram.

Brťán, Rudo (1941), *Román liptovských hôr*. *Tvorba*, I/3, 12.

Mečiar, Stanislav (1940), *Milost' (Štefan Rysuľa)*. *Slovenské pohľady* 58/12, 738-740.

Matej Masaryk

Katedra Slovenskej Literatúry a Literárnej Vedy, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského V Bratislave
matej.masaryk@uniba.sk

Stratené prózy Janka Alexyho

Presented research paper deals with literary beginnings of peripheral Slovak writer Janko Alexy, whose best-known and critically most acclaimed texts were published in the third and fourth decenniums of the 20th century. However, his prosaic juvenilia, that were written and published before 1918, have been disregarded. There are only two papers reflecting them, moreover, the brief notes of Šulc and Gregorec lack a direct contact with the texts, as they are based only on Alexy's recollections, though it is well known that their credibility is limited. Due to efforts of the author of the presented paper, five texts from 1914 and 1915 have re-emerged, offering new possibilities of an insight on Alexy's literary work.

Key words: Janko Alexy, juvenilia, Kresťan, Nyitravármegye

Obdobie pred koncom prvej svetovej vojny a vznikom Československej republiky je pre literárnu tvorbu Janka Alexyho látkou, z ktorej s charakteristicky vysokou frekventovanosťou a transparentnou priamočiarosťou tematicky ťaží. Návraty do detstva stráveného v rodnom Liptovskom Mikuláši, či k finančno-kariérnym peripetiám v čase gymnaziálnych štúdií v Lučenci a krátko po maturite, spojené s portrétnymi zobrazeniami Alexyho najbližšieho okolia (matky, otca, strýka Emila, strýka Ferdinanda, tety Zuzany či zámočníka Chrapštiaka) tvoria v celku Alexyho tvorby základný materiál, využívaný aj dávno po momente jeho tematického vyčerpania. Nehovoriac už o látkach Alexyho účasti v prvej svetovej vojne, lekárnického zamestnania v Prievidzi alebo iných „portretovaných“ postáv či miest, ktoré v kontexte Alexyho diela tvoria skôr vedľajšie, ak nie priamo odpadové materiály tejto ťažby.

Vyčerpávajúca markantnosť predprevratovej látky v poprevratovej tvorbe sa v rámci odbornej literatúry odráža v pochopiteľne častom konštatovaní a vyzdvihovaní tohto faktu, čoho prirodzeným dôsledkom je aj pristupovanie k tomuto obdobiu Alexyho života najmä ako k akejsi prehistorickému tematickému studnici jeho literárnej činnosti; ako takpovediac k „polofikčnému“ svetu. Len marginálne dochádza k vnímaniu (a vôbec nie k skúmaniu) časového obdobia pred rokom 1918 ako svojbytného intelektuálneho priestoru, v ktorom náš autor mohol literárne tvoriť či (neboďaj) publikovať. V tomto duchu je konštruovaný aj podrobný súpis Alexyho personálnej bibliografie, zostavený Pavlom Halašom. V inak kvalitne spracovanej knihe chýba o publikačnej činnosti autora pred rokom 1918 akákoľvek zmienka; časovo prvým záznamom je článok z konca roku 1919 (*Čím sa máme zaoberať vo vianočných prázdninách?*; Halaša 1974: 91) a začiatok písania umeleckých próz v úvodnej štúdiu Halaša situuje do obdobia Alexyho parížskeho pobytu, teda o celý rok neskôr (Halaša 1974: 10-11). V dostupných prácach píše o predprevratovej tvorbe Janka Alexyho len dvaja literárni historici: Ján Gregorec (1959: 331) a Daniel Šulc (1973: 326). V oboch prípadoch však ide len o veľmi kusé poznámky. Navyše je zrejmé, že túto tvorbu ani jeden z nich nepoznal inak, než sprostredkovane – výlučne cez tvrdenia nášho autora, dostupné v dvoch publikovaných knihách jeho spomienok a (v prípade Gregorca) rozhovore Alexyho s Milanom Pišútom (Pišút 153 AZ 13). Ani tieto zdroje pritom zásadne podrobnejší prehľad neponúkajú. A teda aj nižšie uvedená syntéza, doplnená o podobne stručne ustrojené poznámky z Alexyho pozostalosti, môže mať len povahu neúplnej kostry.

Svoju prvú prózu, nazvanú *Bača spod Haličskeho zámku*, mal autor napísať a uverejniť už v roku 1911 v budapeštianskom časopise *Kresťan* (Alexy 153 BF 17: 1). Z rôznych zdrojov sa môžeme čo-to dozvedieť aj o dvoch základných motiváciách pre jej napísanie. Prvým, „programovým“ impulzom malo byť prečítanie dobovej etnografickej knihy: „*V školskej knižnici som našiel knihu „Župy a mestá Rakúsko-Uhorska“. V jednom zväzku bola úvaha o Slovákoch. O Liptove napísal príspevok Belo Majláth, rodák z Ondrašovej, o slovenskom kroji mal článok Pavol Socháň, o slovenskej reči a literatúre Samuel Czambel. Knihu som si prečítal s veľkým záujmom a bol som rád, že konečne viem niečo z minulosti svojho národa. Myslel som, že i mne by sa patrilo napísať niečo o skúsenostiach pri maľovaní.*“ (Alexy 1956: 85). Tým druhým, „spontánnym“, zase náhodné stretnutie s miestnym bačom pri maľovaní zámku v Haliči pri Lučenci (napr. Pišút 153 AZ 13: 2). V záznamoch sa ešte celkom

frekventovane objavuje poznatok o publikačnej genéze textu, podľa ktorého ho mal Alexy poslať nie do redakcie Kresťana, ale Slovenských novín. To, že nakoniec vyšiel v Kresťanovi, bolo teda preňho nečakaným prevrpením, o ktorom bol informovaný až vlastným strýkom (napr. Alexy 1956: 85).

O samotnej próze, teda jej obsahu či (ne)odaj štýle, sa dočítame ešte menej. Najkonkrétnejšia poznámka informuje len o „krátkej črte, opisujúcej rozhovor s miestnym bačom“ (Alexy 1957: 180), a teda len minimálne presahuje rozmer toho, čo sa dá ľahko domyslieť už z názvu. Žánrové zaradenie je navyše spochybnené slabým terminologickým ústrojenstvom autora v tejto oblasti – inde o tomto texte napríklad píše ako o „krátkej novelke“ (Alexy 1956: 85) alebo „článku“ (Alexy 153 BF 17: 1). A keďže sa slovné spojenie „opísať rozhovor“ môže viazať tak na koncepciu tematizácie látky, ako aj (výlučne) na látku samotnú, informačný rozmer názvu vlastne ani prekročený nie je.

Poznámky o inej tvorbe v tomto období sú ešte vágnejšie a stručnejšie. Podľa nich sa mal Alexy k písaniu vrátiť až o dva roky neskôr, počas pobytu v preňho kultúrne stimulujúcom prostredí Prievidze. Ako lekárnický praktikant vtedy publikoval (odborné?) články v neidentifikovanom „lekárnickom časopise“ (Alexy 153 BC 2: 40), ale aj „niekoľko rozprávok, z ktorých dve v maďarčine uverejnil (...) i nitriansky časopis, ktorého redaktor dochádzal k nám do prievidskej lekárne“ (Alexy 1957: 180).

Takáto vágna stručnosť dohľadanie predmetných textov rozhodne neľahčuje. Motiváciu k tomu navyše v prípade prievidských próz znižuje nielen predpokladaná potreba ich preloženia do slovenského jazyka, ale azda aj to, že ich Ján Gregorec na základe niektorých vyjadrení Janka Alexyho (či už z v Pravde uverejneného rozhovoru Milana Pišúta s autorom (Pišút 153 AZ 13: 2), alebo z osobných konzultácií) identifikoval ako prózy *Náš strýko* a *Tetka Zuzanka* (Gregorec 1959: 331), teda prózy, ktoré boli v čase napísania štúdie už dobre známe, navyše v prístupnejšej, slovenskej verzii. Obidva texty vyšli aj knižne: *Náš strýko* už v Alexyho debute *Jarmilka* (Alexy 1924) a potom vo viacerých výberoch; v jednom z nich, v *Zabudnutom svete* (Alexy 1946), spolu s *Tetkou Zuzankou*.

Situáciu ešte viac komplikuje vedomie všeobecne obmedzenej dôveryhodnosti Alexyho spomienkových vyjadrení. Tá napríklad Mariana Veselého, autora monografie jeho výtvarného diela, postavila pred paradoxnú situáciu, v ktorej „spolahlivejšími prameňmi ako umelcove spomienky sú súčasné publicistické práce“ a napriek tomu, že v čase vydania monografie Alexy ešte žil, bez pomoci muzeálnych archívnych fondov „by viaceré životopisné okolnosti zostali nezodpovedané“ (Veselý 1967: 8). Aj my sme tak postavení pred dva základné, do seba zamotané problémy: jednak je pravdepodobné, že okrem svojej stručnosti a neurčitosti sú autorove poznámky o vlastnom literárnom úsilí v tomto období aj nepresné (a teda sú nepresné aj poznámky Gregorca so Šulcom), čo prirodzene zvyšuje dôležitosť ich overenia na konkrétnych historických materiáloch; jednak má pátranie po týchto materiáloch iba jedinú počiatočnú oporu – a tou sú práve nedôveryhodné Alexyho spomienky.

Dosah tejto situácie sa ukazuje už pri najčastejších a najviac konkrétnych vyjadreniach o literárnej činnosti predprevratového obdobia, týkajúcich sa prvej publikovanej prózy *Bača spod Halíčskeho zámku*. Po takomto, podobnom, resp. celkom inom texte od nášho autora totiž v období rokov 1906 až 1915 v časopise Kresťan či v Slovenských novinách nie je ani zmienka.

Bolo by však samozrejme príliš alibistickým zjednodušením, ak by sme to považovali za uspokojivý dôkaz neexistencie prózy ako takej. Predsa len – hoci Alexy vlastnú históriu „ohýbal“ frekventovane, a konkrétne uvádzané údaje (roky, mená, a pod.) často „nesedia“, v jeho nebeletrizovaných spomienkach ťažko nájsť situáciu, ktorá by bola úplnou fikciou. Zvlášť, ak sa, ako je to v tomto prípade, určitá situácia (hoci aj v modifikovaných podobách) opakovane spomína vo viacerých Alexyho spomienkových (teda nie intencne beletristických) textoch. Ostatne, reprodukciu akvarelu *Halíčsky zámok*, pri maľbe ktorého mal vzniknúť námet jeho prvého textu, nájdeme vo Veselého monografii o jeho výtvarnej tvorbe, hoci je v nej (na základe bližšie nepriblížených Veselého dedukcií (Veselý 1967: 325)) datovaná už do roku 1907 (Veselý 1967: 10).

Text s tematikou stretnutia s halíčskym bačom v tomto období pravdepodobne naozaj vznikol. Stále však nie je jasné, či a kde bol uverejnený. Okrem vyššie spomínaných periodík to ešte určite nebolo na stránkach Slovenských ľudových novín, ani Besiedky Slovenského týždenníka. To isté by sa azda mohlo povedať aj o samotnom Slovenskom týždenníku, hoci v dostupných kópiách je práve v predmetnom ročníku 1911 z čísla 39 vystrihnutá rubrika „Besednica“, v ktorej sa Alexyho text teoreticky mohol nachádzať. Celkom vylúčené nie je ani to, žeby bola

Alexyho próza, podobne ako jeho neskoršie prvotiny, nakoniec publikovaná v časopise maďarskej jazykovej proveniencie.

Keďže však *Bača spod Haličského zámku* nateraz zostáva nezvestný, o povahe či vnútorných vzťahoch s neskoršou tvorbou je v prípade tejto potenciálne prínosnej ukážky raného autorského rukopisu možné iba špekulovať. Na základe názvu, vyjadrených motivácií a jasných spisovateľských preferencií sa však dá celkom smerodajne domnievať, že išlo o krátku črtu so zrejším zameraním na ústrednú postavu baču či pastiera a dojem z osobného kontaktu s ňou. Bolo by určite zaujímavé sledovať či a nakoľko Alexy už v tejto fáze „beletrizoval“, lyrizoval a nastavoval svoju typicky melancholickú výrazovosť; akým spôsobom ústrednú postavu literárne „použil“ – či sa táto črta v súvislosti s povojnovými textami podobá viac na subtilnou osobnou melanchóliou zafarbené literárne portréty (napr. *Náš strýko*), ľahké spomienkové skice (napr. *Doktor Ján Čvikota*) alebo ešte ľahšie ľudové fejtóny (texty zo zbierky *Na voľnej vôľuške*).

Podobne nezvestnými, hoci tu je pravdepodobnosť trvalosti tohto stavu ešte výrazne väčšia, zostávajú aj neskoršie články pre neznámy lekárnický časopis (spomínané len jediným zdrojom – Alexyho súkromným „genealogickým“ albumom). Tie by teoreticky mohli byť zaujímavým príspevkom do obrazu Alexyho „obľúbeného“ beletrizovania vecných či publicistických žánrov.

V kontexte informačnej disproporcie v Alexyho spomienkach na svoje spisovateľské začiatky môže znieť paradoxne, že jedinými textami z tohto obdobia, ktoré sa nám doteraz podarilo objaviť, sú práve prózy napísané počas lekárskej anabázy v Prievidzi. Nachádzajú sa v piatom a šiestom (1914 a 1915) ročníku nitrianskeho týždenníka Nyitravármegye (Politikai ujság). Ani v porovnaní s poznámkami o *Bačovi spod Haličského zámku* ešte podstatne vyššia miera vágnosti v Alexyho údajoch o týchto prózach však pritom „nestačí“ na to, aby medzi nimi (respektíve Gregorcovými súvahami) a skutočnosťou neboli žiadne ruptúry. Textov bolo nakoniec uverejnených päť. A aj keď sa medzi nimi nachádzajú i črty príbuzné s *Tetkou Zuzankou* a *Naším strýkom*, okrem rozdielnych názvov (v preklade *Zuzka*, resp. *Hracie hodiny*) sa od neskorších podôb, s ktorými ich Gregorec implicitne stotožnil, podstatne líšia aj v rôznych obsahových aspektoch. A kým pri dvojici *Hracie hodiny* – *Náš strýko* môžeme s mierne modifikovaným využitím komparatistickej terminológie Dionýza Ďurišina (1985) identifikovať priamy, geneticko-kontaktný vzťah, medzi *Zuzkou* a *Tetkou Zuzankou* je iba typologická súvislosť, založená výlučne na látke (historickej osobe Alexyho tety) a podobnom štýle spracovania, ktorý prirodzene vyplýva z totožného autorského typu a jeho vzťahu k predmetnej skutočnosti.

Poviedky či črty *Zenélő órák* (v preklade: *Hracie hodiny*; Alexy 1914: 2-3), *Hittler* (*Hittler*; Alexy 1915a: 2-3), *Rozsdás, a tímármester* (*Garbiarsky majster Hrdzavý*; Alexy 1915b: 7-8), *Zsuzsó* (*Zuzka*; Alexy 1915c: 3-5) a *Proletárlelkek* (*Proletárske duše*; Alexy 1915d: 3-4), s ktorými môžeme interpretačne pracovať vďaka zatiaľ nepublikovanému umeleckému prekladu Marty Fülöpovej, sú aj pri vedomí neskoršej tvorby umelecky dostatočne originálnymi a autonómnymi textami, ktoré ponúkajú uspokojivý kvantitatívny i kvalitatívny korpus pre literárnohistorický výskum. Zároveň sa v nich dajú identifikovať jasné prieniky s autorským rukopisom povojnových próz, čo popri skúmaní „autonómne“ vývinových vlastností týchto textov umožňuje poukázať aj na niektoré základné konštanty, respektíve autorské gestá, ktoré sú v rôznorodých variáciách a zastúpeniach príznačné aj pre neskoršiu, literárnou kritikou a historiografiou reflektovanú prózu Janka Alexyho.

Literatúra

Primárna literatúra:

- Alexy, Janko (1924), *Jarmilka*. Turčiansky Svätý Martin, Knížnica Slovenských pohľadov.
Alexy, Janko (1946), *Zabudnutý svet*. Bratislava, B. Buocik.
Alexy, János (1914), *Zenélő órák*. In: *Nyitrávármegye: Politikai ujság*, 5/26, 2-3.
Alexy, János (1915a), *Hittler*. In: *Nyitrávármegye (Politikai ujság)*, 6/5, 2-3.
Alexy, János (1915b), *Rozsdás, a tímármester*. In: *Nyitrávármegye (Politikai ujság)*, 6/17, 7-8.
Alexy, János (1915c), *Zsuzsó*. In: *Nyitrávármegye (Politikai ujság)*, 6/21, 3-5.
Alexy, János (1915d), *Proletárlelkek*. In: *Nyitrávármegye (Politikai ujság)*, 6/31, 3-4.

Sekundárna literatúra (knížné a časopisecké publikácie):

- Alexy, Janko (1957), *Ovocie dozrieva*. Bratislava, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry.
Alexy, Janko (1956), *Život nie je majáles*. Bratislava, Slovenský spisovateľ.
Ďurišín, Dionýz (1985), *Teória literárnej komparatistiky*. Bratislava, Slovenský spisovateľ.
Gregorec, Ján (1959), *Próza Janka Alexyho*. In: *Slovenská literatúra* 6/3, 331-344.
Halaša, Pavol (1974), *Janko Alexy*. Martin, Matica Slovenská.
Šulc, Daniel (1973), *Alexyho krátke prózy*. In: Alexy, Janko, *Zapaľovač lámp*. Bratislava, Tatran.
Veselý, Marian (1967), *Janko Alexy*. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umení.

Sekundárna literatúra (archívne materiály):

- Alexy, Janko, *Album s fotografiami a životopismi Alexyho a jeho rodinných príslušníkov*. Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia. Signatúra: 153 BC 2.
Alexy, Janko, *Zoznam kníh a monografií národného umelca JANKA ALEXYHO*. In: *Životopisy Janka Alexyho*. Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia. Signatúra: 153 BF 17.
Pišút, Milan, *Stretnutie s Jankom Alexym po jeho šesťdesiatke (rozhovor)*. Slovenská národná knižnica, Archív literatúry a umenia. Signatúra: 153 AZ 13.

Anja Pravuljac

Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija (Doktorske studije)
anja.pravuljac@unibl.rs

Književne srodnosti Luidžija Pirandela i Branislava Nušića

*A comparative analysis of the novel *The Late Mattia Pascal* by Luigi Pirandello and the comedy *The Deceased* by Branislav Nušić will explore the origin of thematic similarity between the two works and the possibilities of literary influence of Luigi Pirandello to Branislav Nušić. By comparing certain parts of the two works, the paper will identify stylistic and thematic motif similarities and differences between the writers. It will be attempted to answer the question whether Nušić could have read Pirandello before writing *The Deceased* and whether the authors found the inspiration for writing in the works of other authors or they were motivated by the historical spirit of the times in which they created in.*

Key words: motif similarities, the deceased, literary influence

Život piše romane

Za naučno istraživanje literarnih veza između pisaca uvijek su zanimljivi slučajevi elemenata koji povezuju dva pisca, bilo da se radi o autorima koji nisu vremenski ili prostorno povezani, ili onima koji su stvarali na istom prostoru ili u istom vremenu. Zajednički elementi koji najviše privlače pažnju su tematske ili motivske sličnosti u radovima autora. Ako se posmatra slučaj Pirandelovog *Pokojnog Matije Paskala* i Nušićevog *Pokojnika*, tematska srodnost dvaju pisaca je veoma bliska: protagonist biva slučajno proglašen mrtvim te koristi priliku „slučajne“ smrti da okrene situaciju u svoju korist, da riješi probleme u kojima se nalazi i raskrinka najbliže ljude kojima je okružen. Na prvi pogled, uzrok ovakve bliske tematske sličnosti pronalazi se vrlo jednostavno. Ako znamo da je Pirandelo svoj roman objavio trideset i tri godine prije nego Nušić svoju komediju, a pritom Nušić u ovom periodu provodi dvije godine u Italiji i drugim zemljama zapadne Evrope, gdje ima priliku da se susretne sa Pirandelovim romanom, situacija je prilično jasna. Međutim, svođenje uticaja jednog pisca na drugog previše je jednostrano te ne pruža potpunu sliku stvaranja književnog djela. Ako Nušić i jeste čitao Pirandela prije objavljivanja *Pokojnika*, postavlja se pitanje u kojoj mjeri je na stvaranje komedije uticao Pirandelov roman te koliko je ovoj temi Nušić dao sopstveni izraz. Pored pitanja mogućeg književnog uticaja, postavlja se i pitanje otkud ova tematska srodnost dvaju pisaca koji su živjeli u istom vremenu u slučaju da Nušić nije mogao imati kontakt sa Pirandelovim romanom te kakavu ulogu imaju istorijska epoha i tadašnje stanje u društvu za nastajanje ovih tematski srodnih djela.

Veliša Jokimović ukazuje na kompleksnost situacije kada se govori o tematskim srodnostima dvaju pisaca i nemogućnosti da se ta situacija opiše kao prosti uticaj jednog pisca na drugog. Kada govori o motivu pokojnika kod Nušića, pored očigledne sličnosti *Pokojnika* sa *Pokojnim Matijom Paskalom*, Joksimović ističe postojanje i ostalih djela domaće i svjetske književnosti koja za temu imaju povratak lažnog pokojnika, koji je pritom u većini slučajeva i utopljenik, a koja su nastala prije Pirandelovog i Nušićevog djela. Joksimović tako ističe da se najdirektnije književne srodnosti vide kod Nušića i Čede Popovića u pripovijeci *Utopljenik*, objavljenoj 1888. godine (2008: 258). Navodi i da je Tolstoj 1897. godine napisao dramu *Živi leš*, u kojoj protagonist Fedja iscenira ubistvo utapanjem; Gi de Mopasan 1888. godine objavljuje pripovijetku *Utopljenik*, u kojoj se pronalazi leš glavnog lika Patina, za koji se ispostavlja da nije njegov; Čehov u crtici *Utopljenik* opisuje plemića koji oponaša davljenike za novac (2008: 261).

Da se razlozi sličnosti književnih pojava u pogledu tema, motiva i slika ne mogu objasniti prostim „lektirama“ jednog pisca djela drugih pisaca, pokazuje i interesantan slučaj romana *Očaj* Vladimira Nabokova. Roman pripovijeda priču o Hermanu Karloviću, biznismenu koji tokom poslovnog puta slučajno sreće siromašnog Feliksa, po Hermanovom mišljenju svog dvojnika. Kuje plan da izvrši zamjenu identiteta sa Feliksom te da ga ubije radi uzimanja novca od osiguranja. Uticaj izvršen na pisca za stvaranje *Očaja* otkriva nam Nabokov u fusnoti pred sam kraj romana:

1931. godine sve su njemačke novine pisale o dvama ubojstvima radi dobivanja novca od osiguranja u kojima su žrtve „dvojnici“. (Nabokov 2007; 164)

Kada se govori o literarnim vezama pisaca, pored književnih uticaja, treba imati na umu i društveni uticaj, koji je mogao da izvrši istorijski period u kojem su pisci živjeli. Tematskim i motivskim srodnostima kod Pirandela i Nušića mogao je da diktira i duh vremena, jer umjetnost nekad ipak imitira život, a ne uvijek drugu umjetnost.

„I smrt se prolagala“

Najdirektnija srodnost između Pirandelovog i Nušićevog djela vidi se u formuli koju oba pisca koriste za izgradnju radnje. Nezadovoljan postojećom životnom situacijom, protagonist odlazi na put, ubrzo greškom biva proglašen mrtvim, poslije određenog vremena se vraća kući, zatiče srećno preudatu ženu te, iako odbija da joj da razvod ili da se vrati braku, neko rješenje se pronalazi. I Paskal i Marić nestaju zbog nezadovoljstva izazvanog nevjerstvom žene. Međutim, motivacija koja pokreće junake je različita: Marićeva namjera je da razotkrije iskrivljenu moralnu sliku društva, dok Paskal u krah društvenih normi traži rješenje egzistencijalnog problema, postizanje apsolutne slobode, nesputane istim tim normama:

I ovako neprestano, sve do smrti, bez promene... (...) Čemu sve ovo? Čemu? (Pirandelo 2003: 51, 52)

PAVLE: (...) Zar se za ljubav neverne žene ide u smrt? Naprotiv, baš u tom slučaju valja živeti, valja postojati. Ako joj uspavate savest, smejaće se vašoj smrti, ne moj Aljoša, ne ide se u smrt za ljubav neverne žene. (Nušić 2013: 9)

Marićev stav je jasan. Pošto je čovjekova priroda čvrsta želja za životom, nevjernoj ženi ne treba dati slobodu u vidu muževe smrti, već je treba razotkriti i kazniti. On već tada zna sve korake plana kojim će izaći na kraj sa sopstvenim problemom nevjerstva. Za razliku od Marića, koji sve konce drži čvrsto u svojim rukama, Paskal je pasivan, ne preuzima inicijativu. Pirandelov junak prihvata sudbinu onako kako mu sama dolazi, on teži slobodi koja je stanje bez obaveza i izlaz u „smrti“, koji mu nudi slučajnost, on doživljava kao poklon sreće.

I Paskal i Marić se u jednom trenutku nalaze u identičnoj situaciji. Paskal odlazi u Monte Karlo sa namjerom da prokocka novac dobijen od brata za majčinu sahranu i da se ubije. Pošto dobija na kocki veliku količinu novca, plan se mijenja te ipak odluči da se vrati kući. Međutim, u vozu na povratku, u novinama čita vijest o svom samoubistvu i u tome vidi priliku za novi život. Marić pak priliku za razradu svog plana vidi u svom labilnom zaposleniku Aljoši, koji mu dolazi po savjet sa namjerom da se ubije radi nevjerstva supruge. Uvjeren da će se čovjek i pored njegovog razuvjeravanja ipak ubiti, daje mu svoj kaput, u čijem džepu ostavlja svoje dokumente. Odlazi u Beč vozom i takođe iz novina saznaje da se navodno utopio. U tome nalazi isti izlaz kao i Paskal:

NOVAKOVIĆ (čita): (...) Uzmem najnoviji broj jednog lista, otvorim i iznenadim se kad opazim svoju sliku. Već iz samih naslova saznam da sam izvršio samoubistvo davljenjem u Dunavu i pročitam puno detalja o svome samoubistvu. Najpre sam se smejao, a zatim mi pade na pamet gle, pa ovo bi mogao biti najsrećniji izlaz iz situacije. Važiti kao mrtav, a biti živ. (Nušić 2013: 36-37)

... i odjednom mi sinulo kako mi se sad pružila prilika da se oslobodim, da slobodan otpočnem novi život! U džepu sam imao osamdeset i dve hiljade lira i nisam više morao nikom da ih dam! Bio sam mrtav, bio sam mrtav: rešio sam se dugova, rešio sam se žene, rešio sam se tašte: svih! Bio sam slobodan, slobodan, slobodan! (Pirandelo 2003: 78-79)

Poslije pronađenog izlaza u lažnoj smrti, oba lika prolaze kroz pravi put pokojnika. Nušić nudi vrlo malo informacija o Marićevom drugom životu. Sve što saznajemo je da Marić, saznajući da mu je plan upalio, da su ga proglasili mrtvim, iz Beča, gdje bi ga neko mogao prepoznati, odlazi u Nemačku, gdje neopaženo provodi tri godine radeći u jednoj fabrici i čekajući pogodan trenutak za povratak. Marićev život poslije „smrti“ predstavlja period stagnacije, čekanja da se vrati među „žive“ i osveti se. S druge strane, Paskal doživljava potpuni preobražaj. Uzimajući identitet Adrijana Meisa, neko kratko vrijeme provodi ushićen novim životom, nesputan granicama. Obruč slobode se sve više sužava u kompleksu vječnog putnika. Paskal živi u stalnoj privremenosti, nesposoban da se smiri, da pronađe stalno mjesto boravka, da stekne prijateljstvo. Da bi sačuvala toliko željenu slobodu, mora toj slobodi da postavi granice, dakle, opet se nalazi u nekoj vrsti zatvora. Paskal shvata da je novi zatvor koji je sebi nametnuo dosta gori od prethodnog, jer je tada makar imao svoj identitet i nije bio apsolutno sam. Sada se nalazi u vječnom limbu, u goroj poziciji nego da je zaista mrtav, još uvijek „živ za smrt, a mrtav za život“ (Pirandelo 2003: 199). Odlučuje da se, poslije dvije godine odsustva, vrati kući. Kao i Marić, i Paskalova namjera je da se osveti ženi i

tašti, koje su, po njegovom mišljenju, krive za takav njegov život. Simulira Adijanovo samoubistvo ostavljajući na mostu njegov štap, šešir i u njemu cedulju sa imenom i adresom. Poput Marića, čije je odijelo nađeno na obali Dunava sa njegovim inicijalima na košulji i dokumentima u kaputu, obojica lažni pokojnici, obojica utopljenici, nesmirenih duša bez pravog groba, vraćaju se među žive da se osvete i tako smire duh:

Ovde – rekoh gotovo nesvesno u sebi – na ovu ogradu ću staviti... šešir... štap... (...) Vratću se živ, osvetiću se! (...) Izabrao sam manje osvetljeno mesto i odmah skinuo šešir, ugurao između trake i filca savijenu ceduljicu, zatim ga spustio na ogradu, a štap pored njega. (Pirandelo 2003: 222, 223)

ANTA: I on je otišao, upravo nestao je. Sutradan nađeno je kraj Dunava njegovo odelo, u kaputu su nađeni njegovi dokumenti, čak i lična legitimacija i stvar je bila jasna. (Nušić 2013: 23)

Po povratku među „žive“, oba lika zatiču svoje žene u srećnim brakovima sa drugim ljudima. Paskal saznaje da se njegova žena Romilda preudala za njegovog prijatelja iz djetinjstva Pomina. Situacija nije nimalo drugačija u domu Pavla Marića. I njegova žena Rina se preudala, takođe za njegovog prijatelja Milana Novakovića te u drugom braku nalazi sreću i zadovoljstvo koje joj je manjkalo sa Pavlom.

Prema Dragiši Vitoševiću, motiv povratka muža, najčešće ratnika ili putnika, koji zatiče preudatu ženu, čest je motiv u književnosti. Primjeri prisustva motiva povratka muža ili žene sa dva muža u književnosti su mnogobrojni (1995: 52). Prema tome, može se zaključiti da sličnost književnih motiva nije uvijek uzrokovana ugledanjem pisaca jednih na druge već se određena situacija dovoljno često događa u životu da je pisac koristi za vjerodostojnost svog djela.

Jedina želja koju junaci imaju je ta da im se omogući život makar nalik onome životu kojeg su sanjali – Matiji da ostvari toliko željenu slobodu, bez sprega koje nameće društvo, i Pavlu da se konačno obračuna sa licemjerjem ljudi koji ga okružuju, koji lažni moral vide kao jedini mogući:

Ja sam živ – vidiš – i želim da se veselim... Veselim! Udri brigu na veselje! (Pirandelo 2003: 243)

PAVLE (zastane): Moja poslednja reč; **ja sam živ i ja hoću da živim!** (ode) (Nušić 2013: 44)

Prevagu koju junaci imaju nad situacijom brzo preuzima druga strana. Marić gubi bitku protiv iskvarenog sistema vrijednosti, predaje se i vraća se u pokojnike. Ironično, vraća se upravo u Njemačku, gdje je prvobitno i otišao kao „pokojnik“. Iako se, za razliku od Marića, Paskal vraća i ostaje u rodnom gradu, pošto mu brak nije ni razveden ni povraćen, identitet mu je tek napola vraćen i priznat. Dane provodi čekajući svoju treću i konačnu smrt, po njegovom uvjerenju, jedinu pravu i potpunu slobodu.

Zaključak

U slučaju književne sličnosti djela Pirandela i Nušića, jedina dokumentarna građa koja može potvrditi mogućnost postojanja direktnog ugledanja Nušića na Pirandelovo djelo je izvod iz Nušićeve biografije da je on u vrijeme kada je *Pokojni Matija Paskal* u zapadnoj Evropi bio i te kako poznat i čitan roman, u periodu od 1916. do 1918. godine, boravio u Italiji, Francuskoj i Švajcarskoj, gdje se mogao susresti sa romanom na italijanskom, francuskom ili njemačkom jeziku. Nušić se sa prevodom na srpski jezik mogao susresti tek 1940. godine, tri godine poslije objave *Pokojnika*, kada je izašlo prvo srpsko izdanje *Pokojnog Matije Paskala*, u prevodu Miodraga Ristića i izdanju Edicije A.D. Beograd.

Komparativnom analizom *Pokojnog Matije Paskala* i *Pokojnika* dolazi se do zaključka da u oba djela postoji visok nivo srodnosti. Međutim, pored ove tematske srodnosti, dva pisca se mimoilaze u drugim elementima. Iako su obojica humoristi, humor grade na različite načine. Nušić na njemu svojstven groteskan način gradi priču u kojoj likovi koji nose odliku negativnosti, oni u kojima je oličen lažni moral, licemjerje i pohlepa jesu oni koji na kraju izvojevaju pobjedu. S druge strane, koristeći apsurd, sa pozadinom kraha društvenih vrijednosti, Pirandelo opisuje egzistencijalni položaj pojedinca u takvom društvu. Prema tome, ako Nušić i jeste čitao Pirandela prije objavljivanja *Pokojnika*, on je ovoj temi dao sopstveni izraz, pretvarajući je tako u znatno drugačiju priču.

Za komparativno istraživanje književnih srodnosti interesantan ugao istraživanja je i društveno-istorijski uticaj na pisce. Naime, ako je poznato da je motiv lažnog pokojnika umnogome prisutan u svjetskoj književnosti, gdje je i Nabokov napisao roman sa sličnom temom, u kojem je naglasio da je lažno samoubistvo bilo popularno u Evropi s početka XX vijeka, može se zaključiti da je na pisce društveni život i problemi koji su ih okruživali mogao izvršiti veći uticaj nego oni jedni na druge.

Motiv lažnog pokojnika, kojim se uspostavlja veza između Pirandela i Nušića, motiv je kojim bi se moglo povezati i znatno više autora. Po svom prisustvu u svjetskoj književnosti, motiv lažnog pokojnika ili povratka pokojnika može se uvrstiti u književne topose, one vječne motive koji u različitim periodima i na različitim mjestima intrigiraju ljudsku maštu.

Literatura

- Joksimović, Veliša (2008), Književne srodnosti: Nušić i Čeda Popović. *Zbornik Matice srpske za književnost i jezik*. LVI/2, 251-262.
- Leovac, Slavko (1978), *Portreti srpskih pisaca XIX veka*. Beograd, Srpska književna zadruga.
- Mazzacurati, Giancarlo (2008), Prefazione. In: *Il fu Mattia Pascal*. Torino, Einaudi.
- Nabokov, Vladimir (2007), *Očaj*. Zagreb, VBZ.
- Nušić, Branislav (2013), *Pokojnik*. Beograd, Ringier Axel Springer.
- Pirandelo, Luidi (2003), *Pokojni Matija Paskal*. Podgorica, Daily press.
- Vitošević, Dragiša (1995), *Smisao sličnosti u književnosti*. Beograd, Studentski izdavački centar – Radionica SIC.

Mária Sajnovics

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Nyelvtudományi Doktori iskola, Szláv Nyelvtudomány, Budapest
sajnovics@gmail.com

Iz povijesti hrvatskoga i srpskoga jezika u devetnaestom stoljeću

Some of the Slavic languages, among them Croatian and Serbian are spoken around the Hungarian-speaking territory in Central Europe. However, the topic of this essay is not one of these two languages, but the so-called Serbo-Croatian or Croato-Serbian. Namely, from the second part of the 19th century to 1990's authorities, scientists and politicians claimed that Croatian and Serbian are one language, the common language of the Croats and the Serbs with two variations. Due to political, idealistic and nationalistic aspirations these languages became close, and from that century extralinguistic circumstances significantly influenced their further development. In this work I want to present the condition and the changes in these languages in the 19th century when the problem of the language was one of the most important questions, when the idea of the common language of the Croats and the Serbs was realized.

Key words: Serbo-Croatian, Croato-Serbian, 19th century

U svojem predavanju želim prikazati stanje i promjene u hrvatskome i srpskome jeziku u XIX. st. kada se vršila standardizacija dvaju jezika i kada se ideja o zajedničkom jeziku Hrvata i Srba ostvarila. Na početku bih kratko raščistila dva pojma: što je književni jezik i što je standardizacija.

Književni jezik je jezik jedne zajednice, zajedničko komunikativno sredstvo za pripadnike raznih narječja. To je jezik sporazumijevanja, poslovnosti i rada, književnosti, nauke i poezije. U književnom jeziku su zajednički narodni duh, osnovni leksički fond, gramatička i pravopisna jedinstvenost, briga o čistoći i estetici jezičnog izražaja (Jonke 2005: 26). Do književnog jezika dolazimo putem standardizacije. Standardizacija je svjesno razvijanje i reguliranje jezika na različitim jezičnim područjima. Kriteriji standardnog jezika su da dotični jezik raspolaže opisnom gramatikom, jedno, dvo- ili (po mogućnosti) višejezičnim rječnicima, da ima reguliran pravopis i – ono što je barem toliko važno – da zajedničku normu prihvati i zajednica govornika.

Razdoblje standardizacije slavenskih jezika (postajanja slavenskih jezika književnim jezicima) je XIX. st. To znači da kako na hrvatskom tako i na srpskom jezičnom području pokrenuto je svjesno razvijanje i uređivanje jezika po pravilima. Istaknuta područja su obogaćivanje rječničkog blaga, zamjena stranih izraza hrvatskim izrazima na pojedinim područjima odnosno područje utvrđenja jezikoslovlja u gramatikama. Hrvatska i srpska jezična reforma je – naravno – nadahnuta i s modelima iz stranih jezika. U prvom redu je njemački jezik utjecao značajno na razvijanje jezika naših južnih susjeda, prije svega na razgovorni jezik odnosno na izražavanje stručnih termina na materinskom jeziku, ali također su važnu ulogu igrali mađarski i češki jezični modeli.

Svoj pregled bih počela s hrvatskim jezikom.

Prva polovica XIX. st. u Hrvatskoj je razdoblje ilirizma (1836.-1849.). Ilirizam je nacionalni preporod, borba na kulturnom i političkom planu za hrvatski jezik, osamostaljenje i slobodu. Hrvatska u tom razdoblju nije samostalna, njene teritorije nisu ujedinjene, službeni jezik Hrvatske nije hrvatski. Ilirizam želi promijeniti, poboljšati to teško političko i gospodarsko stanje, želi steći slobodu za Hrvatsku. Predstavnici ilirizma su ujedno političari, književnici i jezikoslovci. Među njima su Ljudevit Gaj, Dimitrije Demeter, grof Janko Drašković, Petar Preradović, Stanko Vraz, braća Ivan, Matija i Antun Mažuranić. U ilirizmu je jedan od najvećih zadataka riješiti pitanje jezika. Hrvati trebaju izgraditi svoj jedinstveni, iznadregionalni književni jezik i pomoću tog jezika ujediniti sva hrvatska područja, ali prije svega trebaju svoju slobodnu, nezavisnu hrvatsku domovinu. Budući da to sami ne mogu postići, izlaz vide u jezičnoj i državnoj zajednici južnih Slavena, u jednoj državi u kojoj su narodi ravnopravni. U XIX. st. je bila općepoznata činjenica da samo jedan slavenski jezik postoji od Jadranskog mora do Sjevernog ledenog mora i taj jezik ima svoje dijalekte. Ti dijalekti su istočni, južni i zapadni. Pitanje je bilo koji dijalekt je najstariji, najizvorniji (Nyomárkay 2007: 135). Smatrali su da su Slaveni odnosno južni Slaveni jedan narod i na jugu žive četiri njihova plemena Slovenci, Hrvati, Srbi i Bugari i ako su jedan narod, trebaju imati jedan zajednički književni jezik.

Hrvati su svoj jezik stavili u službu nacionalnih nastojanja tj. bili su spremni žrtvovati svoj jezik i usmjeriti ga prema ostalim južnoslavenskim jezicima. Zajednički književni jezik južnih Slavena žele nazvati ilirskim i govore o jedinstvenoj ilirskoj književnosti. No, nakon što su Bugari krenuli svojim posebnim putom, Hrvatska je vidjela rješenje u jedinstvu slovenskog, hrvatskog i srpskog naroda i jezika. Znači do zajedničkog književnog jezika Slovenaca, Srba i Hrvata je došlo putem krive romantične pretpostavke da su Slovenci, Hrvati i Srbi jedan narod i prema tome trebaju imati jedan zajednički književni jezik.

No, ideja o zajedničkom književnom jeziku južnih Slavena odnosno Hrvata je rođena znatno ranije. Sami književnici i jezikoslovci u ranijim stoljećima su prepoznali neobičnu pojavu da hrvatski književnici pišu na svom narječju ili mjesnom govoru, da je hrvatski jezik rascjepkan. Naročito su bili razdvojeni južni i sjeverni krajevi. Nema zajedničkog stava među jezikoslovcima kada govore o hrvatskom ili srpskom jeziku, jesu li jedan jezik ili dva različita jezika, štoviše ni u nazivu ne nalazimo suglasje. Ponekad je to srpkohrvatski, ilirski, dalmatski, bosanski, i nije jasno misle li na jedan od dvaju jezika ili na obojicu.

Srbi su imali književni jezik (ustvari dva književna jezika), ali je taj jezik bio previše umjetni, previše se udaljio od srpskog narodnog govora. Nije odgovarao uvjetima književnog jezika, jer nije bio razumljiv svim govornicima srpskog jezika i bio je samo jezik Crkve i književnosti, nije pokrivao ostale oblasti kulture i znanosti.

U razvijanju i formiranju srpskog književnog jezika je odlučujuću ulogu igrao Vuk Stefanović Karadžić (1787.-1864.) koji se počeo baviti s jezikom pod utjecajem Jerneja Kopitara. Kopitar je Karadžiću predlagao reformu jezika i pravopisa. U tri točke je sazeo svoje najvažnije ideje: osnova književnog jezika neka bude narodni jezik, pravopis treba biti fonetski i grafiju treba modernizirati. (Vince 2002: 288) Karadžić je usvojio te ideje i dosljedno ih provodio. Zalagao se za jezik koji se temelji na narodnom govoru, koji će razumjeti širi slojevi, ne samo uski sloj školovanih ljudi. Smatrao je da osnova književnog jezika treba biti južno narječje (južno hercegovačko s ijekavskim izgovorom), jer tim govori veći dio srpskog naroda, na njemu su ispjevane narodne pjesme, njime su pisali dubrovački pisci, jer preko njega mogu srpski i hrvatski narod naći most jedan prema drugome.

Jezična i pravopisna reforma nije bila odmah priznata i primljena ni na hrvatskoj ni na srpskoj strani. Karadžićevi protivnici su bili u prvom redu predstavnici Srpske pravoslavne crkve koji su se zalagali za ruskoslavenski. Naravno i Ljudevit Gaj je imao svoje protivnike Ignaca Kristijanovića i Antu Kuzmanića. Kristijanović je stvarao na kajkavskom narječju i htio je sačuvati tu tradiciju. Urednik časopisa *Zore dalmatinske* Ante Kuzmanić je pripadao zadarskom književnom krugu i pisao je na štokavskoj ikavici. Smatrao je da južne Slavene nije moguće ujediniti, zato treba koncentrirati na Hrvate i ujediniti ih na temelju ikavice i tradicionalne dalmatinsko-slavonske grafije. (Moguš 1993: 153-154)

Na kraju su Hrvati bili oni koji su se prilagodili Karadžićevim načelima da bi dobili zajednički jezik. Prihvatili su za temelj književnog jezika štokavsko narječje i fonološki pravopis. Već sam put do „susreta“ dvaju jezika nije nimalo jednostavan. Karadžić je zamišljao književni jezik na štokavskom narječju ijekavskog izgovora kakav se govori u istočnoj Hercegovini, Bosni i zapadnoj Srbiji i po dijelovima Hrvatske. Na početku samo za Srbe želi izgraditi književni jezik, kasnije otvara i govori o zajedničkom jeziku Srba i Hrvata. Za osnovu zajedničkog jezika zamišlja čisti narodni jezik i na njemu pisane narodne umotvorine. Gaj najprije misli na sve južne Slavene, a kasnije se usmjeruje prema Srbima i s njima zajedno želi jedan književni jezik. Gaj nije književni jezik zamišljao samo isključivo na narodnom jeziku, nego je htio u jezik ugraditi jezik bogate dubrovačke književnosti.

Ilirci su za abecedu prema hrvatskoj tradiciji izabrali latinicu i morfonološki pravopis. Karadžić je izabrao za abecedu ćirilicu i budući da su književni jezik zamišljali na osnovi narodnog jezika pravopis su osnovali na fonetskoj razini.

Susret dvaju jezika se ostvario u Beču, na tzv. Bečkom dogovoru 28. ožujka. 1850. g. U prvom redu je bio međunarodni sastanak „južnoslavenskih“ jezikoslovaca i prvenstveni cilj je bio sastavljanje terminoloških rječnika. Sastanak je organiziran na inicijativu Bečkog dvora, naime Beč je htio ujednostaviti političke i pravne odnose sa slavenskim područjima tako da prevedu njemačke stručne izraze, termine na južnoslavenske jezike. Prvi njemačko češki terminološki rječnik je izašao još iste godine, a njemačko hrvatski, srpski, slovenski 1853. g. (Nyomárkay 2004: 26) Taj je sastanak ujedno prerastao u dogovor jezikoslovaca o standardizaciji srpskog i hrvatskog jezika.

Na književnom dogovoru su bili jezikoslovci i književnici triju naroda, Srba, Hrvata i Slovenaca. Srpsku stranu su zastupali V. S. Karadžić i Đuro Daničić, hrvatsku stranu Ivan Kukuljević, Dimitrije Demeter, Ivan Mažuranić, a sa slovenske strane nazočan je bio Franjo Miklošič.

Rezultat dogovora su sastavili u pet točaka. Književnici i jezikoslovci su se složili u tome da će za temelj književnog jezika izabrati jedno narječje po uzoru njemačkog i talijanskog književnog jezika. Izabrali su štokavsko narječje, jer je to narječje najrasprostranjenije, to narječje stoji najbliže staroslavenskom jeziku, na tom narječju su ispjevane narodne pjesme, na tom narječju je pisana renesansna i barokna dubrovačka književnost, na tom narječju stvara većina hrvatskih i srpskih književnika. Za one književnike koji ne žele prihvatiti štokavsko narječje predlažu da pišu na jednom od ostalih hrvatskih narječja, ali nikako da ih ne miješaju. Ostale točke se odnose na pitanje jata, bilježenje pojedinih glasova i na pravopisna pitanja.

Rezultati književnog dogovora nisu se ostvarili odmah nakon potpisivanja, jer ni Hrvati ni Srbi nisu ga prihvatili u cjelosti. (Nyomárkay 2004: 50) U Hrvatskoj su znatno kasnije počeli pisati prema Gajevom pravopisu. Trebalo je proći više desetljeća dok su novi pravopis i jezična rješenja ušla u svakodnevnu uporabu jezika. Bečki dogovor nije bio uspješan, jer dogovor književnika nije bio ratificiran na međudržavnoj razini. Prvi pravopis prema načelima Bečkog književnog dogovora istom se pojavio 1892. g. i sastavio ga je Ivan Broz (Brozov pravopis). Ljudevit Gaj i V. S. Karadžić su nastojali ujediniti Srbe i Hrvate u štokavskom dijalektu ijekavskoga govora kao zajedničkim književnim jezikom. Ta težnja nije se ostvarila, jer je u Srbiji bio rasprostranjeniji ekavski vojvođansko-šumadijski govor. Bilo je razumljivo zašto Srbi nisu prihvatili to narječje, naime ijekavica nije imala nikakve književne tradicije u Srba do XIX. st. Njihova srednjovjekovna književnost je bila pisana ekavicom, a književnici XVIII. st koji su pisali na narodnom jeziku tekođer su upotrebljavali ekavicu. Književnici u južnim dijelovima Habsburške Monarhije u XVIII. i XIX. st. također rabe ekavicu koju su donijeli sa sobom sa juga. Tako se književni jezik razvio na dvama podlogama, na dvama narječjima i govorima. Ti govori imaju zajedničku gramatičku strukturu, ali i razlike na fonetskoj razini, naime, razlikuju se u izgovorima. Tako je nastao zajednički književni jezik s dvjema varijantama koje su trebale biti ravnopravne.

Danas već nije sporno pitanje da su hrvatski i srpski dva posebna književna jezika koji su se razvili iz staroslavenskoga i krenuli na svoje posebne putove, među različitim povijesnim prilikama i okolnostima. Tijekom XIX. st. zbog političkih, idealističkih i nacionalističkih težnji ti su jezici postali bliski, od tog stoljeća su izvanjezične okolnosti znatno utjecale na njihov dalji razvoj. Nakon raspada Jugoslavije i Domovinskog rata u Hrvatskoj, ti su jezici napokon krenuli svojim posebnim putem.

Bibliografija

- Jonke, Ljudevit (2005), *O hrvatskome jeziku*. Zagreb, Pergamena.
- Moguš, Milan (1993), *Povijest hrvatskoga književnoga jezika*. Zagreb, Nakladni zavod Globus.
- Nyomárkay István (2007), *Rövid horvát és szerb nyelvtörténet*. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék.
- Nyomárkay István (2004), *Nyelveink múltja és jelene*. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék.
- Nyomárkay István (2004), *Kis szláv lexikográfia*. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék.
- Vince, Zlatko (1990), *Putovima hrvatskoga književnog jezika*. Zagreb, Nakladni zavod Matice hrvatske.

Natalia Shlikhutka

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Sosnowiec, Polska
shlikhutka_n@yahoo.com

Klasyfikacja błędów tłumaczeniowych na podstawie analizy dokumentów unijnych

The object of the study is Polish and Slovak law discourse. The aim of this paper is to analyse translations of „The Association Agreement between the European Union and Ukraine” into Polish and Slovak from the viewpoint of translation strategies and techniques. This analysis forms the starting point for the classification of translation mistakes, which was drawn up on the basis of the theory of different linguists. The comparative analysis primarily focuses on the differences in the translations into Polish and Slovak. The final part of the paper includes the characteristic of translation mistakes.

Keywords: law discourse, translation studies, translation mistakes, EU documents, classification of mistakes.

Wprowadzenie

Problem oceny jakości przekładu pojawił się w tym samym czasie, co praktyka tłumaczeniowa, będąca środkiem komunikacji pomiędzy kulturami. Kwestie dotyczące wytycznych tłumaczenia oraz oceny jego jakości były podejmowane jeszcze w czasach antycznych, gdzie problematyką działalności tłumaczeniowej zajmowali się głównie filozofowie i pisarze. Jednocześnie problem oceny jakości tłumaczenia jest jednym z aspektów ogólnego problemu oceny działalności ludzkiej.

Przekład, jak każdy inny proces, ma charakter wieloznaczeniowy. Z tego powodu może podlegać ocenie z różnych punktów widzenia, na przykład ze względu na jego zgodność z oryginałem, pełnienie funkcji komunikacyjnej, czy jego wartości pragmatycznej, która powinna zostać odzwierciedlona w przekładzie. Ocena tłumaczenia będzie zależać od osoby, która będzie to tłumaczenie analizować oraz niewątpliwie od intencji samego tłumacza.

W trakcie redagowania przekładów tekstów użytkowych przed redaktorem, czyli osobą, której zadaniem jest między innymi ocena tłumaczenia, pojawia się cały zestaw trudnych decyzji, których nie da się rozwiązać bez sformułowania obiektywnych kryteriów oceny tłumaczenia.

Analiza

Na potrzeby niniejszych badań został wybrany Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony. Dokument jest sporządzony w języku prawnym oraz posiada cechy charakterystyczne dla dyskursu prawnego. Słowacki dyskurs prawny charakteryzuje się pewną stereotypizacją, konkretnością na poziomie leksykalnym i syntaktycznym. Kompozycja, czyli sposób konstruowania zdań, jest raczej precyzyjny i łatwy do zrozumienia (Štefková 2013: 53). Jeżeli chodzi o polski dyskurs prawny, to z konkretnością możemy niewątpliwie się zgodzić, różnice pojawiają się natomiast na poziomie budowania zdań. Polski styl administracyjny cechuje się znaczną zawilgością zdań, nagromadzeniem zdań podrzędnych, częstym użyciem form imiesłowowych oraz wyrazów złożonych. Polskiemu dyskursu prawnemu jest często zarzucana niezrozumiałość, nieprzejrzystość oraz zbędne utrudnianie języka.

Klasyfikacja błędów tłumaczeniowych

Na podstawie dokładnej analizy przekładów dokumentów unijnych możemy wyszczególnić główne przyczyny popełniania błędów tłumaczeniowych. A więc tłumacz może popełnić błąd z powodu:

- słabej znajomości języka obcego;
- słabej znajomości realiów życia i ich nazw;
- uzusu rozumianego jako system utrwalonych restrykcji funkcjonowania języka;
- konieczności użycia odpowiedników opisowych i komentarzy do nich;

- wyboru jednego spośród różnych odpowiedników;
- znaczeń konotacyjnych;
- fałszywych słów-przyjaciół (*false friends*);
- form i konstrukcji gramatycznych;
- błędów w słownikach.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację błędów tłumaczeniowych wraz z przykładami z *Układu o stowarzyszeniu*. W związku z tym, że tłumaczenie dokumentów unijnych jest powierzane zazwyczaj dobrze wykwalifikowanym tłumaczom, niektóre z przykładów najbardziej prymitywnych typów błędów będą trudne do odnalezienia.

1) Ortografia

Pierwszą podkategorią klasyfikacji jest pisownia, usytuowana w grupie błędów ortograficznych. Świadczą one nie tylko o lukach w wykształceniu tłumacza, ale również o jego niestarannym podejściu do pracy.

Znaczący wpływ na pojawiające się błędy ortograficzne w analizowanym *Układzie o stowarzyszeniu* ma interferencja zewnętrzna. Tłumacz powinien zawsze być świadomy tego, że systemy leksykalne języka ukraińskiego i polskiego czy ukraińskiego i słowackiego są na tyle bliskie, iż bardzo często „narzucają” użycie błędnej jednostki leksykalnej. Podobieństwo słownictwa możemy zaobserwować na przykładach z *Układu o stowarzyszeniu*.

Słowo w oryginale (język ukraiński)	Ekwiwalent w języku polskim	Ekwiwalent w języku słowackim
<i>амбіційний</i>	<i>Ambitny</i>	<i>Ambiciózný</i>
<i>європейський</i>	---	<i>Európsky</i>
<i>правовий</i>	<i>Prawny</i>	<i>Právny</i>
<i>суверенітет</i>	<i>suwerenność</i>	<i>Suverenita</i>
<i>інтеграція</i>	<i>integralność</i>	<i>Integrita</i>
<i>поновлюваний</i>	<i>odnawialny</i>	<i>Obnoviteľný</i>
<i>досягти</i>	<i>osiągnąć</i>	---
<i>системний</i>	<i>systemowy</i>	---
<i>організований</i>	<i>zorganizowany</i>	---
<i>попит</i>	---	<i>Dopyt</i>
<i>тероризм</i>	<i>terroryzm</i>	---

Analizując przedstawioną wyżej tabelę warto zauważyć, że różnice zachodzą głównie na płaszczyźnie tworzenia jednostek leksykalnych sposobem prefiksacji i sufiksacji. Warto również zaznaczyć, że istnieje wysoki stopień niebezpieczeństwa popełniania błędów w pisowni wyrazów łącznie lub osobno, gdyż zasady pisowni w omawianych językach w niektórych przypadkach są identyczne, w innych zaś znacznie się różnią. Przykładem może służyć pisownia partykuły przeczącej *nie* z czasownikami w różnych językach. Język ukraiński stosuje zasadę pisowni rozdzielnej (z wyjątkami): *Не з дієсловами пишеться окремо*. Podobną zasadę możemy znaleźć w gramatyce języka polskiego, która głosi, że partykułę *nie* jako wykładnik zaprzeczenia przed czasownikami piszemy rozdzielnie. Zasada ta, jak każda inna, ma swoje wyjątki, które nie są kompatybilne z wyjątkami zasady pisowni ukraińskiej. Całkiem inaczej napiszemy natomiast słowackie czasowniki zaprzeczone (słów: *záporné tvary slovíes*), które w większości przypadków pisane są łącznie z partykułą *ne* (np. *neprejudikuje, neoznámia, nedovolí*). Potwierdza to zasada języka słowackiego: *Predpona ne sa píše vždy spolu so slovesom*.

Kolejną podkategorią są błędy interpunkcyjne, które mogą pojawić się w tłumaczeniu w związku z różnicami między systemami interpunkcyjnymi dwóch języków (np. system stawiania przecinków). Znakami problematycznymi w przypadku tłumaczeń w kombinacjach ukraiński-polski-słowacki są przede wszystkim spójniki, cudzysłowy, rzadziej przecinki.

Przykładem różnic interpunkcyjnych może być sam tytuł układu:

Język ukraiński (oryginał)	Język polski	Język słowacki
<i>Угода про асоціацію між</i>	<i>Układ o stowarzyszeniu między</i>	<i>Dohoda o pridružení medzi</i>

<i>Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.</i>	<i>Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony.</i>	<i>Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej.</i>
--	---	--

2) Formy i konstrukcje gramatyczne

Kolejnym problemem pojawiającym się w trakcie tłumaczenia są niewłaściwe formy i konstrukcje gramatyczne. Niewłaściwe formy morfologiczne polegają na tworzeniu form gramatycznych niezgodnych z ustalonymi normami. Mogą one być spowodowane zarówno interferencją zewnętrzną, jak i wewnętrzną.

Niezgodność elementów struktury grupy wyrazowej może powstawać na skutek nieprawidłowego doboru przyimków:

Język ukraiński (oryginał)	Język polski	Język słowacki
<i>Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.</i>	<i>Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony.</i>	<i>Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej.</i>

W tabeli jest przedstawiony poprawny sposób użycia przyimków. W związku z interferencją zewnętrzną niedoświadczony tłumacz słowacki mógłby zastosować niepoprawną formę: **z jednej strony/ z drugiej strony*.

W zakresie zgodności elementów struktury w zdaniu jest wiele przypadków popełnienia błędów. Może to być, na przykład niewłaściwe gramatycznie użycie czasu w języku tłumaczenia, spowodowane brakiem korelacji między czasami gramatycznymi w języku tłumaczenia i oryginału. Do popełnienia takiego błędu dochodzi wówczas, gdy tłumacz automatycznie zastępuje czas użyty w języku oryginału czasem języka docelowego.

3) Szyk wyrazów

Kolejną kategorią jest błędny szyk wyrazów. Błąd ten występuje zarówno na poziomie zdania, jak i grupy wyrazowej. W tłumaczeniach o kombinacji językowej ukraiński-polski problem ten pojawia się szczególnie często. Dzieje się tak w związku różną kolejnością elementów zdaniowych w tych językach. Najczęstszym przypadkiem jest zachowanie kolejności przymiotnik-rzeczownik w przypadku tłumaczenia z języka ukraińskiego w wyniku interferencji wewnętrznej, kiedy to język polski o wiele częściej stosuje kolejność rzeczownik-przymiotnik, czyli formę nominalną:

Język ukraiński (oryginał)	Język polski	Język słowacki
<i>Європейський Союз</i>	<i>Unia Europejska</i>	<i>Európska únia</i>
<i>Італійська Республіка</i>	<i>Republika Włoska</i>	<i>Talianska republika</i>
<i>Словацька Республіка</i>	<i>Republika Słowacka</i>	<i>Slovenská republika</i>
<i>історичні зв'язки</i>	<i>związki historyczne</i>	<i>historické vzťahy</i>
<i>демократичні принципи</i>	<i>zasady demokratyczne</i>	<i>demokratické zásady</i>
<i>ринкова економіка</i>	<i>gospodarka rynkowa</i>	<i>trhové hospodárstvo</i>
<i>міжлюдські контакти</i>	<i>kontakty międzyludzkie</i>	<i>medziludské kontakty</i>
<i>транскордонне міжрегіональне співробітництво</i>	<i>współpraca transgraniczna i międzyregionalna</i>	<i>cezhraničná a medziregionálna spolupráca</i>

4) Leksyka

Następną grupą błędów to niezgodność leksykalna. Dokładnie opisuje ją Halina Dzierżanowska (1990: 90):

Błędy leksykalne powstają przy tłumaczeniu zarówno wyrazów jak i grup wyrazowych. Są one spowodowane faktem, że wyrazy w jednym języku rzadko są pełnymi ekwiwalentami w innym języku, a zakres ich znaczeń może być

zarówno szerszy jak i węższy. Różnice między grupami wyrazowymi wynikają z tego, że poszczególne słowa wchodzą w różne związki semantyczno-syntaktyczne.

Do tej grupy błędów tłumaczeniowych zaliczmy również tzw. *ekwiwalenty pozorne*, które obejmują pseudoekwiwalenty (*falszywi przyjaciele*) i ekwiwalenty zmodyfikowane. Pierwsza podgrupa dotyczy słów o tej samej etymologii i podobnej formie, lecz posiadających inne znaczenie. Falszywi przyjaciele są częstą pułapką tłumacza, szczególnie w kombinacji języków słowiańskich, gdzie nieprofesjonalny tłumacz nie zastanawiając się używa pseudoekwiwalentu, popełniając tym samym błąd. Ekwiwalentami zmodyfikowanymi są wyrazy, które choć i posiadają ten sam rdzeń i to samo znaczenie, przyjęły inną formę. Przykłady ekwiwalentów zmodyfikowanych: *uniwersytet = univerzita; intensywność = intenzita; priorytet = priorita; oddział = oddelenie*.

5) Adekwatność

Ostatnia kategoria dotyczy adekwatności w przekładzie. Ten typ błędów rozdziela dodatkowo na nieadekwatność sytuacyjną, stylistyczną i semantyczną.

Błędy z podkategorii pierwszej powstają wówczas, gdy tłumacz [...] *kieruje się wyłącznie zasadami gramatyki formalnej, nie biorąc pod uwagę aspektów wynikających z kontekstu, czyli gramatyki sytuacyjnej* (Dzierżanowska 1990: 97). Dotyczą na przykład błędne zinterpretowania i przetłumaczenia czasów gramatycznych.

O nieadekwatności stylistycznej możemy mówić wtedy, gdy w tekście docelowym pojawią się elementy, które wydają się być obce dla odbiorcy wtórnego i są specyficzne dla oryginału. Problem ten pojawia się najczęściej w przypadku tłumaczenia tekstów, które zostały źle napisane już w oryginale.

Nieadekwatność semantyczna natomiast przejawia się wtedy, gdy w tekście tłumaczenia zostaną pominięte istotne elementy zdaniowe zawierające konkretną informację. Takie opuszczenia fragmentów tekstu mogą mieć negatywny wpływ na wierność tłumaczenia. Jeżeli w tekście artystycznym eliminacja elementów nieistotnych jest celowa a nawet wskazana, to przy tłumaczeniach tekstów użytkowych ta zmiana stanowi poważny błąd tłumaczeniowy.

Wnioski

Omówione w niniejszej pracy zagadnienie stanowi pierwszy krok do sporządzenia podłoża teoretycznego do kolejnych prac przekładoznawczych. Wyżej przedstawiona klasyfikacja błędów tłumaczeniowych pozwala nam wyciągnąć pewne najważniejsze wnioski dotyczące tematu danej pracy:

- Pojęcie błędu tłumaczeniowego częściowo pokrywa się z pojęciem błędu językowego, aczkolwiek nie są to terminy synonimiczne.
- Błędy tłumaczeniowe wynikają z niskiego poziomu kompetencji lingwistycznych tłumacza.
- Tłumacz powinien posiadać bardzo dobrą znajomość języka tłumaczenia, ale również bezbłędnie posługiwać się językiem rodzimym.
- Tłumaczenia *Układu o stowarzyszeniu* zostały sporządzone przez doświadczonych tłumaczy, dlatego ciężko jest doszukiwać się błędów w ich pracy. Możemy jedynie zasygnalizować różnice spowodowane subiektywną decyzją tłumaczy.

Bibliografia i źródła

- Dąbbska-Prokop Urszula (2000), *Mala encyklopedia przekladoznawstwa*. Częstochowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Educator.
- Dzierżanowska Halina (1990), *Przekład tekstów nieliterackich na przykładzie języka angielskiego*. Warszawa, PWN.
- Hejwowski Krzysztof (2011), Klasyfikacja błędów tłumaczeniowych – teoria i praktyka. In: *Jakość i ocena tłumaczenia*. Warszawa, SWPS Academica.
- Krzemińska-Krzywda Joanna (2010), Rodzaje i konsekwencje błędu w tłumaczeniu nieliterackim (na przykładzie tłumaczenia instrukcji obsługi). In: *Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie*. Katowice-Częstochowa, Śląsk.
- Majkiewicz Anna (2008), *Intertekstualność – implikacje dla teorii przekładu*. Warszawa, PWN.
- Pisarska Alicja, Tomaszewicz Teresa (1998), *Współczesne tendencje przekladoznawcze – podręcznik dla studentów neofilologii*. Poznań, Wydawnictwo Naukowe.
- Štefková Marketa (2013), *Právny text v preklade: translatologické aspekty právnej komunikácie v kombináciách málo rozšírených jazykov*. Bratislava, Iura edition.
- Wójcik Tomasz (2010), Kilka uwag na marginesie tłumaczenia i błędów w tłumaczeniu. In: *Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie*. Katowice – Częstochowa, Śląsk.
- Zielińska Hanna (2006), Zagrożone nie do odratunku, czyli jak tłumaczyć błędy językowe. In: *Dialog czy nieporozumienie?* Katowice, Śląsk.
- Strony internetowe**
- http://ukrainkamova.at.ua/publ/morfologija_i_pravopis/osoblivosti_napisannja_ne_z_riznimi_formami_dieslova/6-1-0-136 [stan z dn. 25.03.16].
- <http://sjp.pwn.pl/zasady/;629519> [stan z dn. 25.03.16].
- <http://slovencina.vselico.com/slovesa.html> [stan z dn. 25.03.16].

Tijana Stojanović

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
tijanastojanovic992@gmail.com

Međujezička homonimija i paronimija (u srpskom i slovačkom jeziku)

The author of this paper focuses on a phenomena that frequently cause problems when we translate one language to another - interlingual homonyms and paronyms. It will take the example of the translation between two Slavic languages - Serbian and Slovak, which shows a lot of such interlingual connections. The paper consists of two parts: the theoretical part and the practical part and the core of this research are nouns. There were very few previous researches done to solve this problem in translation between Serbian and Slovak. So it is quite important and necessary to do such a research. The references of this paper come from two books: Dictionary of the Serbian language published by Matica srpska 2007 RSJ and Krátky slovník slovenského jazyka (2003).

Key words: interlingual homonyms and paronyms, Serbian, Slovak, false friends

Jedna od osnovnih funkcija jezika je komunikativna. Reč komunikacija potiče od latinskog izraza *communicatio* što znači saopštavanje. Čovek se svakodnevno koristi jezikom, a vrlo često se služi ne samo svojim maternjim jezikom, već i stranim. Sa učenjem stranog jezika se poslednjih decenija počinje sve ranije, možemo primetiti da danas deca već u vrtiću, ako ne i pre toga, stiču prva znanja i ostvaruju međujezički kontakt. „Putem indukcije i dedukcije, metodom upoređivanja i otkrivanja sličnosti i razlika između maternjeg i stranog jezika ostvaruje se u svesti nosioca određenog jezika međujezički kontakt”, M. Radić-Dugonjić (1991: 5).

Međujezička homonimija i paronimija su pojave koje najčešće izazivaju probleme prilikom prevođenja sa jednog jezika na drugi, ali se sa njima vrlo često sreću i nastavnici stranih jezika. Interesuju se i stručnjaci koji se bave praktičnom i teorijskom leksikografijom. Naravno, svako od njih ovu pojavu tumači sa svog aspekta.

Les faux amis

U stručnoj literaturi se koristi i termin *lažni prevodiočevi prijatelji*, od francuskog termina *les faux amis*. Ovaj termin je izazvao brojne nesuglasice među lingvistima. Češki lingvista J. Vlček pravi jasnu razliku između ovog i termina *međujezički homonimi*, a sa njim se, pored ostalih, slaže i poljski lingvista Z. Grosbart. Nasuprot njima, R. A. Budagov i Đ. Jazić izjednačavaju ta dva termina (M. Radić-Dugonjić 1971: 158).

U ovom radu smo se priklonili grupi naučnika koja smatra da je termin *međujezička homonimija* dosta pogodniji za leksikologiju jer je to poredbenojezička leksikološka kategorija i bavili određivanjem *međujezičke homonimije* i *paronimije* na primeru dva slovenska jezika— srpskog i slovačkog. S obzirom na to da smo za primer uzeli dva geneološki bliska jezika, sistem međujezičkih homonima i paronima je bogatiji, ali i složeniji od sistema dva udaljena ili nesrodna jezika.

Novo pitanje koje se javlja je pitanje diferenciranja *međujezičkih homonima* i *međujezičkih paronima*. Na osnovu analizirane literature, došli smo do zaključka da se lekseme među kojima je srodnost manja smatraju *međujezičkim paronimima*, a među kojima je veća—*međujezičkim homonimima*. Jasna granica između pojmova ne postoji.

R. Dragičević (2010 :329) tvrdi da je termin *međujezička homonimija* stariji i zbog toga se češće koristi, pa se u svojoj knjizi „Leksikologija srpskog jezika” za njega odlučuje kada govori o pomenutim odnosima. Sa druge strane profesorka M. Radić-Dugonjić se potrudila da pokaže da je termin *međujezički homonimi* bliži po svom značenju terminu *međujezički paronimi* i smatra da bi najprihvatljivije bilo objediniti oba pojma terminom *međujezički paronimi* (1991: 37). Uprkos svemu, profesorka nije odstupala od tradicije i u svom radu je koristila oba poznata termina.

„Pod terminom međujezička homonimija se podrazumeva akustička ili grafička, odnosno i akustička i grafička istovetnost reči sa različitim značenjem u okviru dva ili više jezička sistema”, D. Kolar (1982: 223). Grupa autora na čelu sa prof. dr D. Šipkom u svom rečniku srpsko-poljskih homonima i paronima pod terminom *međujezička homonimija* i *paronimija* podrazumeva „odnos dve lekseme iz dva različita jezika ekvivalentne forme i neekvivalentnog sadržaja” i taj termin predstavlja isključivo „uporednojezičku i leksikološku kategoriju” (1999: 12).

M. Radić-Dugonjić u monografiji *Međujezički homonimi i paronimi u ruskom i srpskohrvatskom jeziku* (1991: 13) navodi da „međujezička homonimija obuhvata sve ono što je u okviru pojedinih jezičkih nivoa formalno istovetno a semantički različito između jezika u kontaktu.”

Ako sumiramo različite teorije o pojmu međujezičkih homonima i paronima, dolazimo do zaključka da su to lekseme koje imaju veliku sličnost što se tiče forme, a različito značenje. Dve lekseme mogu imati istu formu, a kada to nemaju, zbog različitosti fonetsko-fonoloških sistema, moraju posedovati „najveću moguću fonološku bliskost” M. Radić-Dugonjić (1991: 27). Radi se o formalno-semantičkim opozicijama, zbog dva fonolška i grafijska sistema.

Pismo srpskog jezika se sastoji od trideset grafema, 25 suglasnika i 5 samoglasnika i svaka grafema odgovara jednoj fonemi. Slovačka abeceda broji 46 grafema, 33 suglasnika i 13 samoglasnika, a osim njih postoji i 4 diftonga. Razlikuju se u sledećem: srpski jezik ima grafeme **đ, lj, nj, ć**, koje slovački nema. Međutim, ove foneme su jako bliske slovačkim fonemama koje se beleže na sledeći način: **đ', ĺ', ň', ť'** (nastale su po nestanku slabih jerova **ť' > ĺ'** (Krajčovič 1981: 44)). Sa druge strane, slovačka abeceda sadrži kratke i duge vokale **a, e, i, o, u - á, é, í, ó, ú i y, ý**, koji ima isto fonetsku vrednost kao i **i**. Većinu vokala je slovački jezik nasledio iz praslovenskog. Slovačka abeceda, takođe, beleži kratko i dugo **r** i **l** (**ř, ĺ**), vokal **ä** - široko e, potom **dz, ch** (**i h**) i diftonge **ia, ie, iu, ô**. Slovački i srpski glasovni sistemi obrađeni su i u “Pravopisu srpskoga jezika” u poglavlju o transkripciji imena iz slovačkog jezika, te smo se i njime poslužili pri našoj analizi (2010: 231).

Pri analizi rečnika držali smo se sledeće šeme:

srpska fonema – slovačka fonema (sa pojedinim primerima međujezičkih homonima i paronima)

đ – đ'

lj – ĺ' ljubavnik - ľubovník; ludak - ľudák

nj – ň vonjati – voňat'

ć ili t – ť bolest – bolest'

a – a, á, ä bajka – bájka

e – e, é, ä pamet – pamät'

i – i, í lice – líce

i – y, ý dika – dyka

o – o, ó, ô roba – róba, dovod – dôvod

u – u, ú urednik – úradnik

r – r, ř brkati – břkat'

l ili u – l, ĺ

h – ch hodnik – chodník

g – h gnoj – hnoj

ija ili a – ia rad– riad

ije ili e – ie celiti (cijeliti) – cielit', doterati – dotierat'

iju ili u – iu

dz, s, đ – dz

Lekseme koje predstavljaju međujezičke homonime i paronime svakako nije lako precizirati. Sa ciljem da ih izdvojimo iz rečnika srpskog i slovačkog jezika i u budućnosti pripremimo rečnik međujezičkih homonima i paronima morali smo da utvrdimo određene postulate. Profesorka Maja Đukanović koja se bavila ovom pojavom na primeru srpskog i slovenačkog jezika tvrdi da lekseme moraju biti iz savremenog jezika, tj. određenog vremenskog perioda. Kao međujezički par ne možemo uzeti lekseme od kojih jedna pripada savremenom jeziku, a jedna je zastarela.

Drugi uslov je da obe lekseme pripadaju jezičkom standardu, tj. književnom jeziku. Lekseme koje pripadaju grupi dijalektizama, žargonu, slengu itd. ne možemo porediti sa leksemama iz književnog jezika, već samo jedne sa drugima. Takođe, međujezičkim homonimima ne možemo smatrati lekseme koje pripadaju različitim vrstama reči; imenice možemo porediti samo sa imenicama, prideve sa pridevima... Kao zanimljivost navešćemo srpski pridev u obliku ženskog roda — smotana i slovačku imenicu — smotna; koje, iako se formalno podudaraju, ne možemo uzeti za primer međujezičke homonimije i paronimije zbog pripadnosti različitim vrstama reči.

smotan - smotana

smotan, -a, -o zbnunjen, smeten, smušen: ~čovek.

smotana -y -tán, smotánka -y -nok žen. r. 1. najtučnejšia časť mlieka usádzajúca sa na povrchu: kyslá, čerstvá s., zobrat' s-u; lízat' s-u i fraz. prisvojovať si to najlepšie 2. expr. iba smotánka vyššie kruhy spoločnosti: spoločenská s.; smotanový, smotánkový prid. k l: s. koláč, krém: s-á farba biela ako smotana 1. najtučnejšia časť mlieka usádzajúca sa na povrchu: kyslá, čerstvá s., zobrat' s-u; lízat' s-u i fraz. prisvojovať si to najlepšie.

Lekseme koje poredimo moraju biti u svom kanonskom obliku.

Uzroci međujezičke homonimije i paronimije su brojni. S obzirom na činjenicu da i srpski i slovački jezik pripadaju grupi slovenskih jezika, iako jedan zapadnoslovenskoj, a drugi južnoslovenskoj grupi, oni su genetski vrlo bliski. Oba jezika su nastala iz praslovenske zajednice i zbog toga danas možemo naći mnogo primera zajedničke leksike. Međutim, po raspadu te zajednice jezici su prošli kroz samostalan razvoj. Na tom putu su se obogatili stranim rečima, došlo je do leksičkog transfera. Sve ovo dovelo je do nastanka leksike koja se isto ili vrlo slično piše, bliska je i po zvučanju, ali ima drugačije značenje. Ova pojava je zanimljiva i zbog činjenice da danas postoje iste reči u oba jezika (ili vrlo slične) za koje možemo reći da u određenim kontekstima imaju suprotno značenje.

užasan - úžasný

užasan, -sna, -o koji izaziva užas, strašan, jeziv: ~strah, ~prizor, ~sudar.

úžasný príd. **1.** vzbudjujúci úžas, ohromujúci: ú. výjav; ú. výkrik strašný **2.** expr. veľmi veľký, nesmierny: ú. strach, ú-á rýchlosť, ú-é tempo rozvoja **3.** expr. znamenitý, vynikajúci, výborný: ú. človek, ú-é jedlo; **úžasne** prísł.: expr.: ú. trpieť veľmi; ú. pekný, milý veľmi

vonjati - voňat'

vonjati, -am nesvr. (na nešto, po nečemu, nečim ili bez dopune) a. širiti oko sebe vonj, odavati vonj (prijetan ili neprijetan), mirisati, pahnuti; zaudarati, smrdeti: ~ lepo, ~ na dim, ~ na trulež, ~ duvanom, ~ kao tvor. b. fig. podsećati na nešto.

voňat' -ia -ajú nedok. **1.** vydávat', šířit' vóňu: kvety v-jú, v. po jahodách, v. zemou; v-ia tu novotou je tu všetko nové **2.** vdychovať' (význ. 1), ovoniavať', privoniavať': v. výpary éteru • expr. robota, škola mu nev-ia nechce sa mu robiť, učiť.

Pozajmljenice u slovenskim jezicima najčešće čine reči iz klasičnih, zapadnoevropskih i istočnih jezika. Kada govorimo o terminima, znatan udeo ima grčka i latinska leksika. Sveprisutnost i rasprostranjenost engleskog jezika unela je u oba jezika veliki broj novih reči. U ovom radu se nismo bavili praćenjem razvoja leksema paralelno u oba jezika, ni mehanizama po kojima se odvijaju procesi međujezičke homonimije i paronimije, jer smatramo da je to pitanje koje zahteva prethodno izvršenu detaljnu analizu leksike, a mi smo do sada uradili samo analizu imenica i glagola pod određenim početnim slovima u rečniku (tačnije rečnicima savremenog srpskog i slovačkog jezika), stoga ćemo tu problematiku ostaviti za naša dalja istraživanja.

Zanimljiv podatak pronašli smo u radu R. Horakove (2003: 14) koja je izvršila analizu sistema predloga u slovačkom, srpskom i hrvatskom jeziku. Ova tri jezika imaju 70% predloga iste forme, od kojih samo 30% ima isto značenje.

Ovo istraživanje je započeto sa ciljem da ukažemo na široku prisutnost, ali nedovoljnu istraženost međujezičkih homonima i paronima. Susreli smo se sa brojnim problemima kao i mnoge kolege pre nas od kojih jedan od najvećih to što se u naučnim krugovima, a posebno među lingvistima koje se bave različitim jezicima vlada velika terminološka zbrka. Dok jedni razlikuju lažne prijatelje, međujezičke homonime i međujezičke paronime, drugi ih dele u dve grupe — lažni prijatelji i međujezički homonimi i paronimi, a treći ih sve objedinjuju. Takođe, ovaj rad je deo jednog manjeg leksikološko-leksikografskog projekta (master rada) koji će možda otvoriti vrata sastavljanju prvog rečnika srpsko-slovačkih međujezičkih homonima i paronima ili bar zainteresovati i druge mlade naučnike da se bave ovom zanimljivom temom.

Literatura:

- Doruľa, Ján, Ján Kačala, Marta Marsinová, Ivan Masár, Štefan Michalus, Štefan Peciar, Maria Pisárčiková, Matej Považaj, Viera Slivková, Elena Smiešková, Eva Tibenská i Milan Urbančok (2003), *Krátky slovník slovenského jazyka*. Bratislava: Veda.
- Dragičević, Rajna (2010), *Leksikologija srpskog jezika*. Beograd, Zavod za udžbenike.
- Šipka, Danilo, Katarzyna Kurek, Joanna Leszyna, Magdalena Siudek i Vladen Stamenković (1999) *Rečnik srpsko-poljskih homonima i paronima*. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- Vujaklija, Milan (2004), *Leksikon stranih reči i izraza*. Beograd: Prosveta.
- Vujanić, Milica, Darinka Gortan-Premk, Milorad Dešić, Rajna Dragičević, Miroslava Nikolić, Ljiljana Nogo, Vasa Pavković, nikola Ramić, Rada Stijović, Milica Tešić i Egon Fekete (2007), *Rečnik srpskoga jezika*. Novi Sad: Matica Srpska.
- Horáková, Radmila (2003), Interlingválne homonymá ako lexikografický problém. *Slavica Slovaca*, 38, 13-21.
- Kollár, Dezider (1982), Medzijazyková homonymia. *Studia Academica Slovaca*, 12, 223-224.
- Radić-Dugonjić, Milana (1991), Međujezički homonimi i paronimi u ruskom i srpskohrvatskom. *Dečje Novine*.
- Radić-Dugonjić, Milana. (1971), Međujezički homonimi i paronimi u srpskohrvatsko-ruskim i rusko-srpskohrvatskim rečnicima (tematska grupa prideva koji označavaju negativnu osobinu čoveka). In: *Naučni sastanak slavista u Vukove dane*. Beograd.

Zuzana Tarabčáková

Catholic University in Ružomberok, Faculty of Arts and Letters: Department of Slovak Language and literature
zuzana.tarabcakova@gmail.com

Citlivosť v priestore kyberkultúry v súčasnej slovenskej poézii

One line of contemporary Slovak poets (experimental – deconstructive poets or text generation) works in their creation with the elements of cyberculture. At the beginning (1994 – 1998) their poetics was characterized by the elimination of the key features of lyric: the categories of lyric subject, the absence of sensitivity. However, in the following phase of their work (since 2000) the aspect of sensitivity returns to their work by different ways (new romantic allusions, the work with gynonym, spiritual motives). The contribution will introduce the work of two key poets of this line (Peter Šulej, Michal Habaj) and their original conception of resentment in the area of cyberculture. Both these authors move in their development from tentative text plays to socially engaged artistic expression (mainly since 2012) with positive critical response.

Key words: anesthetic, cyberculture, category of sensitivity, Peter Šulej, Michal Habaj

Michal Habaj a Peter Šulej sú básnici, ktorí v 90. rokoch 20. storočia výrazne prispeli k vyplneniu prázdneho miesta experimentálnej poézie na slovenskej literárnej scéne a stali sa súčasťou tzv. text generation, resp. experimentálno-dekonštruktívnej línie. Vydaním svojich debutov nastúpili na cestu anestetickéj poetiky, ktorú však od zbierky k zbierke neprestávajú modifikovať. Tvorbu obohacujú o disparátne tendencie (kyberpunk, práca s gynonymom, novoromantické alúzie, spirituálne motívy) aktualizujúce jednotlivé diela. Obaja autori prechádzajú od nezáväzných textových hier k spoločensky angažovanému umeleckému prejavu, v ktorom však neupúšťajú od svojich autorských stratégií. Práve tie využívajú na vytváranie tenzie medzi mysleným, napísaným a prečítaným.

Kultúrna scéna prechádza od uprednostňovania postmoderného k tradičnejším formám, zameraniu sa na skutočnosť a k subjektívnej zaangažovanosti. Ján Gavura v tomto prípade hovorí o „staronovej situácii subjektu“ (Gavura 2013: 92). Tvorba Michala Habaja a Petra Šuleja bola v predchádzajúcich obdobiach charakterizovaná ako intelektuálna, odsentimentalizovaná a subverzívna (Šrank 2013: 285) V ich nateraz posledných básnických zbierkach si zachovávajú určité charakteristiky zo svojho typického autorského rukopisu, no zároveň svoj básnický priestor obohacujú o umelecký prejav zameraný na širšie spektrum spoločnosti a jej vývin. Práve gesto angažovanosti je jedným zo spôsobov, ktorými analyzovaní autori zvyrazňujú citlivosť v ich tvorbe a obohacujú svoju poetiku o nový rozmer.

Obaja básnici predstavujú čitateľskému publiku v rokoch 2014 a 2015 básnické zbierky, v ktorých úplne neopúšťajú kyberkultúrny priestor básne, ale zároveň detailnou a prepracovanou optikou pozorujú konanie a myslenie súčasného človeka. Peter Šulej vydáva zbierku *Nódy* (2014) a Michal Habaj prichádza so zbierkou *Caput mortuum* (2015). Obe uvedené básnické diela predstavujú novú tvorivú fázu autorov, v ktorej pokračujú vo svojej špecifickej práci s lyrickým subjektom. Ten, napriek tomu, že je v ich tvorbe prítomný, nie je konkrétny, ani zreteľný. Neustále je potrebné byť ostrážitý a nepodliehať všetkým autorským štylizáciám. Napriek nástrahám, resp. ako hovorí Peter Macsovszky „zlomyseľným pascám“ (Macsovszky 2016: 65) považujeme prítomnosť lyrického subjektu v daných zbierkach za markantnú, no napriek tomu za nejednoznačnú a mystifikovanú kategóriu. Báseň začína byť otvorenejšia smerom k čitateľovi, no stále si zachováva náročné autorské kvality.

Básnická zbierka *Nódy* pôsobí na skúseného čitateľa ako šulejovská klasika. Už na prvý pohľad autor využíva svoje osvedčené (a môžeme tvrdiť, že aj efektne) autorské stratégie, ktoré vytvárajú z jeho poézie labyrint myšlienok a do istej miery aj emócií. Tak ako môžeme chápať jeden z možných výkladov názvu básnickej zbierky (nódy = uzly), môžeme vnímať aj celé vystavanie zbierky. Úlohou percipienta je v tomto prípade jednotlivé slučky rozmotávať a hľadať ich prienik. Šulej okrem spomenutého naďalej pracuje s intertextualitou, ktorá sa v jeho prípade stala neoddeliteľnou súčasťou celej tvorby. Básne v *Nódach* sú ňou opätovne citeľne poznačené. Jednotlivé pretexty vytvárajú mnohoznačné kódovanie daných motívov a vedú tak k výraznejšiemu zastieraniu v priestore tej-ktorej básne (Málková 2016: 79).

Zaujímavou, ale zároveň dôležitou črtou Šulejovej nateraz poslednej zbierky je temporálny motív. Viditeľný je nielen v názvoch jednotlivých častí zbierky (*kníha tých- minulosť, kníha týchto – súčasnosť, kníha tamtých – budúcnosť*), ale aj vo využití rôznych historických udalostí či medzníkov: „*papaláši v tatraplánoch / tiež by sa radi ponáhľali / slánsky im stále nedá a nedá spať / kde-tu ešte stále / máta strach*“ (Šulej 2014: 32), ktoré dotvárajú celkovú fragmentárnosť diela. Plynutie je tak prítomné v priebehu celej zbierky a zvyrazňuje tým jej dynamiku.

U Michala Habaja je viditeľnejšia diferencovanosť zbierky *Caput mortuum* od jeho predchádzajúcej tvorby. Napriek tomu, že si zachováva svoje autorské kvality, zbierka pôsobí iným dojmom. Čitateľ začína nadobúdať pocit, že básnik s ním komunikuje „face to face, na rovinu“, na čo u Michala Habaja doteraz nebol zvyknutý. Otázkou však ostáva, do akej miery je tento pocit skutočný, a do akej miery ide iba o zdanie, autorovo mystifikovanie a opätovné sa zahrávanie s percipientom. Charakteristickými črtami však naďalej ostávajú odkazy na kyberkultúru alebo kontrastnosť založenú na kombinovaní vysokého a nízkeho štýlu, profánneho a sakrálneho, erotického a spirituálneho. Opätovne sa stretávame s typickými aspektmi jeho tvorby (využitie popokultúry, dekadencie, erotiky) (Macsovszky 2016: 66). Výrazným je taktiež Habajovo klasické „očarenie“ subjektu ženou a v zbierke sa tak stretávame s výrazným motívom (žena ako svätica, prostitútka, padlá) (Hostová 2016: 64). Láska a erotika sú tak opäť v zbierke markantne prítomné: „*Bolo to jediný raz, / čo som bol v tebe: // Týmito dvoma prstami, / ktorými dnes / prisahám na Ústavu.*“ (Habaj 2015: 51).

Napriek tomu, že obe zbierky predstavujú pomerne odlišný typ básní, ich spoločnou črtou je práve zmieňované gesto angažovanosti. Pre Michala Habaja a Petra Šuleja je však charakteristické svojské uchopenie daného gesta a rozsah jeho pôsobenia v básni. *Nódy* a *Caput mortuum* sú obohatené o nový rozmer tematiky, ktorá prechádza do zobrazovania celospoločenských problémov, ktoré obaja autori kriticky hodnotia. Ich básnická výpoveď sa stáva otvorenejšou reakciou na súčasný spoločenský kontext (Hostová 2015: 105).

Hlavnými témami s črtou angažovanosti, ktoré sa v zbierke vyskytujú, sú kritika spoločenských inštitúcií (napríklad cirkev, rôzne medzinárodné organizácie), kritika súčasných ľudí, politika, vojna, globálne ekologické problémy a kritika informačnej doby. Na určitých miestach oboch zbierok nájdeme totožné tematické zamerania, ich spracovanie sa však líši. Za prienik autorských poetík môžeme považovať systematické a explicitné využívanie sarkazmu a irónie, ktoré sa stávajú výraznou črtou ich rukopisu. Od ich použitia neupúšťajú ani v týchto zbierkach, čím opätovne zastierajú gesto angažovanosti. V oboch prípadoch je napätie, ktoré je vytvárané naliehavou tematikou básne, rozbičané práve sarkazmom a iróniou: „*často a nahlas opakovať slovička demokracia a slušnosť / vieru že raz aj oni na voľnom trhu kde-tu-čo-to / veľmi sa tešili dušníci / dobrovoľne aj to málo čo mali/ (nejaké tie prírodniny ľudskostroje / odovzdali*“ (Šulej 2014: 72). V zbierke *Nódy* považujeme využitie sarkazmu za funkčnejšie a originálnejšie, nakoľko si zachováva svoju kvalitu a jednotlivé verše neskľzavajú do gýčovitosti. Zároveň komplikovanou výstavbou šulejových textov nie je sarkazmus jednoznačne čitateľný, čo mu pridáva nielen na kvalite, ale aj na zaujímavosti.

Ak tvrdíme, že v jednotlivých zbierkach nachádzame určité prieniky, platiť to bude najmä v tematickej výstavbe textov. Jednou z hlavných tém, ktoré sa prelínajú oboma básnickými zbierkami, je reflexia politického vývinu súčasnosti (nefungujúca demokracia, korupcia, bývalý režim...) „*jeden vedľa druhého, / tí, ktorí nepredali / svoju česť, / dcéru, / matku, / DNA, / fotografiu pohlavia, / strom v záhrade, / nahé úmysly.*“ (Habaj 2015: 82). Vzhľadom k otvorenému postoju, ktorý obaja autori zaujali, môžeme ich výpovede radiť medzi angažované. Spôsob ich spracovania je však iný. Kým Michal Habaj prezentuje konkrétnejšie názory, ktoré až manifestačne (v niektorých prípadoch) prezentuje čitateľskému publiku: „*budeme eliminovaní / nepreukázali sme silu, zdatnosť, odhodlanie / historicky sme sklamali / neukradli nezabili / nijaká privatizácia / nijaká banka firma finančná skupina / nedokázali sme zarobiť / nahromadiť majetok / akumulovať bohatstvo / neukradli / nezabili / čo s takými*“ (Habaj 2015: 132). Peter Šulej sa priamočiarosti vyhýba. Ak aj hodnotí, zobrazuje väčšinou absurdné dôsledky, ktoré sú výsledkom toho-ktorého diania (Biznárová 2015: 32). V Šulejových veršoch teda priamu angažovanosť nenájdeme, nakoľko ju neustále zastiera rôznym intertextuálnym nadväzovaním alebo hybridizáciou jazyka (Markovič 2015: 102) Autor sa so slovami zahráva, mení ich lexikálny význam: „*kontinent poskladaný z neznalostí / s(lavónsko lovensko lovinsko)*“, (Šulej 2014: 68) vytvára novotvary, čím prispieva k náročnejšej percepcii básne – odкрытие angažovaného gesta postoja predpokladá prekážku na úrovni jazyka, podobne ako u Habaja na úrovni postoja.

Okrem reflektovania politickej situácie je podstatnou črtou oboch zbierok tematizovanie súčasnej spoločnosti. Ide najmä o kritiku informačnej doby a konzumu: „*Nakúpil si potraviny / pre desaťtisíc hladujúcich detí / a susedný kraj zmenil v hladovú dolinu. / Zrovnal si so zemou mestá i štáty / („je to iba vyhlásenie pre rozhlas a televíziu“), / obchodoval so všetkým, / čo sa dalo speňažiť.“* (Habaj 2015: 147). Práve tu môžeme badať veľký dopad kultúrno-spoločenského diania na poéziu. Motívy vyskytujúce sa v jednotlivých básniach otvorene reagujú na fenomény, ktoré sa stávajú pevnou súčasťou dnešnej (ne)vyspelej kultúry. Ide prevažne o javy, ktoré majú negatívny dopad na vývin celej spoločnosti a javy, ktoré v globále ovplyvňujú budúce smerovanie celej planéty.

Básne s danou tematikou predstavujú reakciu na nečinnosť a „stádovitosť“ občanov. Popri estetickom zážitku sa hlavnou funkciou básní stáva upozornenie a prebratie čitateľa z nečinnnej letargie. Autori sa ho snažia aktivizovať nielen nastolenými témami, ale aj textotvornými stratégiami, ktoré využívajú. Opätovne ho zapájajú do tvorenia/pochopenia textu, čím nevytvárajú klasickú kritickú poéziu. Michal Habaj prenecháva hodnoteniu súčasnej spoločnosti v básni väčší priestor, čo čitateľ môže chápať ako otvorené gesto angažovanosti. Nakoľko sa však autor so svojim publikom zahráva a do akej miery sú jeho verše aj jeho skutočným vyjadrením, však ostáva nezodpovedanou otázkou.

Je samozrejmé, že aj v básniach *Nód* nájdeme motívy tematicky zamerané na kritiku informačnej doby, avšak nevytvárajú priamy celkový pohľad na danú problematiku. Predpokladáme, že primárnou úlohou lyrického subjektu v tejto zbierke nie je jednoznačný apel na čitateľa, ale iba oboznámenie s aktuálnym stavom, výzva je iba implicitná. Autor sa viac zameriava na zaznamenanie situácie, nie na jej hodnotenie. Prikláňame sa teda k názoru Pavla Markoviča, ktorý charakterizuje lyrický subjekt Petra Šuleja v analyzovanej zbierke ako: „*svedka noosféry, informačnej sféry*“ (Markovič 2015: 101).

Tematickú pestrosť zbierok rozširuje aj postoj lyrického subjektu k cirkvi/resp. k Bohu u Michala Habaja. Vzhľadom k spôsobu, akým obaja autori tvoria, je prítomnosť spirituálnej témy do určitej miery kontroverzná. Funkčné použitie danej tematiky je diferencované a líši sa od súčasných spirituálnych básnikov. Tí sa snažia najmä o: „*aktualizáciu súboru tradičných hodnôt spájaných s kresťanskou vierou.*“ (Šrank 2013: 340) Michal Habaj prostredníctvom duchovnej tematiky vnáša do svojich textov kritickú angažovanosť. Opätovne však čitateľ musí byť ostrážitý a na pamäti mať autorovu záľubu v zahrávaní, zveličovaní a parodizovaní.

Vo viacerých básniach tejto zbierky môžeme vidieť či už kritické zobrazovanie cirkvi ako oficiálnej inštitúcie: „*Modlila sa v teplákokoch, / až kým jej na to neprišiel pán farár, / osobný priateľ Pia IX. / Boh vykázal ju z Domu. / A ona šla.*“ (Habaj 2015: 38) alebo kritiku vzťahu človek a Boh, hoci často toto významové spojenie čítať podvojne či nerozhodneľne.. Vyskladať si z jednotlivých fragmentov celkový obraz o zhodnotení danej situácie je pomerne náročné, pretože autor pochopenie sťažuje šokujúcimi prejavmi: „*Ak si Ty, ktorý sa nazývaš Človek, / Ludskou bytosťou, / Potom ja, ktorého voláte Satanom, / Prichádzam ako Boží syn.*“ (Habaj 2015: 68). Za celkový postoj lyrického subjektu k analyzovanej problematike považujeme verše vyjadrujúce duchovnosť súčasného človeka: „*Klávesnica miesto ruženca / Je nástroj tvojej viery*“ (Habaj 2015: 17). Obraz klávesnice je v Habajových textoch zobrazovaný pomerne frekventovane a predstavuje akúsi modlu, ktorá je pre ľudí dneška najpotrebnejšia.

Básnické zbierky *Nódy* a *Caput mortuum* sú vnimočné svojou viacvrstvovou sémantikou. Dvojité (alebo niekoľkonásobné?) kódovanie, ktoré autori využívajú, prispieva nielen k náročnejšej percepcii básne, ale aj k silnejšiemu estetickému zážitku. Sémantickú nasýtenosť daných zbierok demonštrujú už ich samotné názvy. V oboch prípadoch sa ponúkajú viaceré interpretácie, ktoré môžu viesť k hlbšiemu pochopeniu celého diela (Hostová 2016: 65).

Caput mortuum je zbierka, ktorá sa na prvý pohľad môže javiť uhladene, no pri pozornom a hlbšom čítaní, resp. skúmaní nachádzame jej jednotlivé vrstvy. Tvorená je spleťou vážneho a komického, vysokého a nízkeho, erotického a duchovného. Zobrazuje veľké množstvo emócií, pričom strach, znepokojenie, hnev a úzkosť vyplývajú práve z angažovaných tém, ktoré autor zobrazuje. Do akej miery môžeme hovoriť o skutočnej angažovanosti je otázne. Predpokladáme však, že autor problémové témy neparodizuje, skôr sa zameriava na ich provokačné zobrazovanie. Zatiaľ čo zbierka Michala Habaja pôsobí viac manifestačne (aj keď subjekt v mnohých prípadoch radšej mlčí a stavia sa na perifériu, hoci, opakujeme, vždy počítame so silne ironizovanou, mystifikovanou formou výpovede), (Macsovszky 2016: 67) *Nódy* Petra Šuleja sú z tohto hľadiska menej teatrálné. Jeho teatrálnosť je

založená na opätovnej hre s formou básne, intertextualitou a zložitou. Na jednej strane tak vytvára originálnu svojskú poetiku, na strane druhej však môže čitateľa odradiť od pozornejšieho a hlbšieho čítania jeho textov.

Ak pripustíme, že gesto angažovanosti je v súčasnej poézii prítomné a nami analyzovaní autori s ním aj vedome narábajú, tak za originálne považujeme práve ich uchopenie tejto tematiky. Obaja sa vyhýbajú prílišnému moralizovaniu, do ktorého by mohli v prípade vyššie spomenutých tém spadnúť. Je otázne, do akej miery sa podarilo Michalovi Habajovi zvládnuť apel na čitateľa, ktorý na niektorých miestach vyznieva príliš mentorsky. Pravdepodobne to však bolo zámerom autora, ktorý svoj prejav k čitateľovi podčiarkol zvýšeným pátosom.

Z uvedeného sa potvrdzuje, že obaja autori vedome prekračujú anestetický priestor svojich predchádzajúcich básní a snažia sa o výraznejšie emocionálne pôsobenie, hoci nepriamočiarými stratifikáciami. Svoju poetiku obohacujú o kategóriu citlivosti, ktorá je vo výraze v oboch zbierkach explicitne prítomná. Otázkou však ostáva váha vypovedaného v zatextovom priestore, kde musí čitateľ, najmä u Habaja, počítať s vysokou mierou mystifikácie a jazykovej hry. Emócie, ktoré sú u percipienta vyvolané, vedú k starostlivosti o toho druhého. Sú to emócie, ktoré sa, akokoľvek počítame aj s inými textovými stratégiami, snažia prebrať čitateľa. Zobúdzajú nás z pasivity a letargie, naplňujú náš strachom, ktorý vedie k starostlivosti. Zároveň však nemôžeme hovoriť o klasických prejavoch citlivosti, nakoľko autori neopúšťajú priestor kyberkultúry (aj keď v ňom stoja už iba okrajovo).

Bibliography

- Biznárová, Lucia (2015), Ozveny predchádzajúcich. *Pravda*. 25/135, 32.
- Gavura, Ján (2013), Katarína Kuchelová: Vie, čo urobí. In *TOP 5-2013*. Prešov – Košice, Občianske združenie FACE.
- Habaj, Michal (2015), *Caput Mortuum*. Bratislava : Drewo a srd.
- Hostová, Ivana (2015), Devolúcia, moja láska. O niektorých aspektoch básnických zbierok P. Macsovszkého, M. Habaja a M. Milčáka z r. 2014 a 2015. *Romboid*. 50/9 -10, 105–109.
- Hostová, Ivana (2016), Grande cuvée. *Romboid*. 51/3, 64–69.
- Macsovszky, Peter (2016), Ďalšia príležitosť k dohadom. *Romboid*. 51/3, s. 64–69.
- Málková, Iva (2016), Nódy– kódy. *Romboid*. 51/3, s. 70–72.
- Markovič, Peter (2015), Poetologické a textotvorné stratégie v súčasnej slovenskej poézii (tri súčasné básnické knihy: M. Habaj, P. Šulej, P. Macsovszky). *Romboid*. 50/9-10, 100-104.
- Šrank, Jaroslav (2013), *Individualizovaná literatúra*. Bratislava : Cathedra.
- Šulej, Peter (2014). *Nódy*. Bratislava : Drewo a srd.

Александра Томић

Институт за словенску филологију Јагелонског универзитета у Кракову, Пољска
sandra-tomic@hotmail.com

Тестови у настави српског језика као страног на почетном нивоу

У раду се бавимо тестовима српског језика као страног на почетном нивоу учења. Наиме, покушаћемо да понудимо методички оквир по коме се могу формирати писмени и усмени испити у раду са страним студентима србистике. Реч је о испитима који се састоје из више целина како бисмо у потпуности могли да проверимо знање студената на предвиђеном нивоу.

Key words: Србистика, српски језик, испит, студенти.

У раду који следи бавимо се тестовима српског језика као страног на нижем, почетном нивоу. Наиме, рад нуди методички и дидактички оквир по коме лектори могу да праве завршне тестове након првог семестра учења српског језика. У раду ће бити речи о писменом и усменом тестирању студената србистике на страним катедрама. Сматрамо да је оваква врста прегледа и истраживања веома важна како бисмо имали одређену врсту стандардизације тестова на страним универзитетима. С друге стране, оваква врста увида у тестове може бити од велике користи за лекторе који су почетници, али и за оне који имају вишегодишње искуство и који даље могу да усавшавају понуђена решења.

Наиме, радећи на Јагелонском универзитету у Кракову стекли смо искуства у формирању тестова који су се показали као изузетно добри и на неки начин већ стандардизовани у оквиру Института словенске филологије. То заправо значи да лектори свих словенских језика праве тестове на исти начин. Оваква врста тестирања се показала као веома добра и правична, те стога сматрамо да би овакав модел тестирања могле да усвоје и многе друге стране катедре, или пак да се направи одређена врста стандардизованих тестова у оквирима студија српској језика у Европи односно у свету. Рад нуди пример теста односно завршног испита на првој години студија.

Изузетно је важно на прави начин приступити организовању тестова на нижем почетном нивоу из више разлога. Не смемо заборавити да је у највећем броју случајева испит из Српског језика и први испит са којим се студенти сусрећу на почетку студија. Из вишегодишњег искуства можемо да посведочимо да студенти на први испит долазе под извесном дозом стреса, која се мора свести на најмању могућу меру. То у пракси значи да лектор мора веома јасно објаснити студентима како ће изгледати испит на тај начин што ће им у току првог семестра дати један или два колоквијума који ће имати идентичну форму испитног теста.

У нашем случају тестови се пре свега праве на основу уџбеника по којима лектор предаје. Наши основни уџбеници јесу следећи: *Научимо српски 1* (Бјелаковић-Војновић, 2006), као помоћне уџбенике користимо *Учимо српски 1* (Милићевић Добромиров - Новаковић Адаип, 2013), док се *Приручник за српски као страни* (Либер - Прпа, 2011), *Култура живог језика* (Либер - Прпа, 2012), *Грамматика српског језика за странце* (Кулешевић - Белегишанин Закић, 2016), користе као помоћни уџбеници који употпуњују лекције.

Завршни испит на нижем почетном нивоу студенти на страним катедрама полажу у јануарском испитном року, тј. након првог семестра. Реч је о испиту који је конципиран тако да се састоји из пет делова. Студенти прво пишу диктат. Након тога следи тест из граматике, слушања текста, разумевања текста и на самом крају студенти пишу есеј. Дакле, испит се састоји из пет делова и предвиђено је да се пише два и по сата. Након писменог тестирања следи усмени део испита.

У наставку рада нудимо пример једног писменог теста и усменог дела испита. Реч је о тесту који није аутентичан тест са испита, али је тест који има исту концепцију.

Пример завршног теста на нижем почетном нивоу

На самом почетку испита студенти пишу диктат. Диктат је једини део испита који није временски ограничен. Наставник чита текст два пута. У наставку нудимо један пример диктата на почетном нивоу. Предлажемо да диктат за тему има нешто што је добро познато студентима. С обзиром на чињеницу да су студенти под стресом на самом почетку испита и да је корисно да поред свих познатих речи и сама тема диктата буде нешто о чему се говорило на часовима. То наравно не мора бити случај са диктатима који се пишу на вишим нивоима учења српског језика као страног.

Диктат:

Београд је главни и највећи град Србије. Налази се на ушћу реке Саве у Дунав. То је град са веома богатом историјом. У центру града се налази тврђава. У Београду живи око два милиона становника. Овде се одржавају велики филмски, музички, књижевни фестивали, сајмови, спортска такмичења. Београд је студентски град и овде се налази највећи универзитет у Србији. Странци кажу да је Београд отворен и пријатан град са одличном атмосфером. Нови Сад је мањи и мирнији од Београда. Налази се на северу Србије и такође је студентски град.

Након диктата следи провера знања из граматике. Предлажемо тест који се састоји од десет различитих задатака, са претпоставком да је лектор у потпуности завршио један од уџбеника на нижем, почетном нивоу. Заправо, овим тестом проверавамо да ли је студент усвојио сва знања предвиђена за поменути ниво. За тест је предвиђено сат времена. У наставку нудимо један пример таквог теста.

Грамматика:

1. Речи у заградама ставите у одговарајући падеж:

Том сада живи у (Београд). Он ради као професор..... (енглески језик) у..... (школа) и студира српски језик на..... (факултет). Том долази из (Енглеска), из..... (Лондон). У Лондону има две..... (сестра) и једног брата. Томова старија сестра је лекарка. Она ради у (болница), Томова млађа сестра ради на..... (Економски факултет), а Томов брат је професор..... (физика и хемија).

2. Ставите личну заменицу у одговарајући падеж:

О..... (он) смо разговарали јуче.
Да ли си..... (ја) донела торту?
Купила сам..... (ви) нове књиге.
Слушала сам..... (она) на концерту у Мадриду.

3. Напишите словима одговарајући облик бројева:

Новак Ђоковић је најбољи тенисер света. Он је (1.) тенисер на листи.
Појела сам (3) парчета торте.
Купила сам..... (2) хаљине и..... (1) сукњу.
Сања је рођена..... (25.8.1997.) године.

4. Напишите компаратив или суперлатив понуђених речи:

Сара је моја..... (добар) другарица.
Марко је (висок) од Маје, али је Маја..... (лепа) од Јелене.
Данило је (богат) човек на свету.
Моја колегиница је..... (успешан) у нашој фирми.

5. Напишите антониме следећих придева:

Познат
Скроман
Ретко
Близу
Тешко

6. Допуните реченице одговарајућим предлозима: од, на, у, по.

Живимодругом спрату.
Вечера кошта 300 динара.....особи.
Кухињски сто у твојој соби је.....дрвета.
Доручак је урачунат.....цену.

7. Реченице у презенту напиши у перфекту:

Идемо на концерт Горана Бреговића.
.....
Гледам нови филм Емира Кустурице.
.....
Тренирам карате.
.....

8. Реченице у презенту напиши у футуру I:

Слушам музику на рачунару.
.....
Читам нову књигу Драгана Великића.
.....
Мислим о народној поезији.
.....

9. Ставите глаголе у заградама у одговарајуће време (презент, перфекат, футур I):

Пре четири месеца.....(уписати) сrbистику у Кракову. Прошлог лета.....(бити) у Србију. У Србији.....(видети) Београд и Нови Сад.
Данас.....(студирати) српски језик и већ добро.....(познавати) српску историју, традицију и културу. Сваки дан.....(гледати) неки српски филм.
Овог лета.....(ићи) са пријатељима у Грчку на море. У Грчкој.....(видети) Атину и Егејско море. Две недеље.....(бити) у Грчкој. После Грчке још једном.....(посетити) Србију.

10. Напишите негације следећих реченица:

Купио сам паприку.
.....
Данас сам учила српски.
.....
Ово је моја свеска.
.....
Скувала је ручак.
.....
Сутра ће гледати филм.
.....

а) овог лета

б) овог пролећа

в) ове зиме

5. Она жели да види:

а) Закопане

б) Краков

в) Катовице

6. Маја планира да:

а) посети Лођ

б) купи књиге

в) проба пољске специјалитете

7. У Пољској ће остати

а) десет дана

б) двадесет дана

в) једанаест дана

Разумевање текста:

Ана Новак је студенткиња српског језика у Кракову. Она живи у Кракову, али је Лођ њен родни град. Ана има велику породицу. Анина мама Агњешка је лекарка, а тата Адам је адвокат. Она има и два брата – Доминика и Бартоша који судирају информатику и сестру Магду која иде у гимназију.

Ана учи српски, енглески и македонски језик на Јагелонском универзитету. Она тренира карате у Кракову. Ана слободно време проводи са породицом и пријатељима. Њени бака и дека са татине стране живе у Катовицама, док бака и дека са мамине стране живе у Лођу. Ова породица има викендицу на периферији Лођа. Викендица је од дрвета и око ње је веома лепа природа. У том делу Лођа је увек мир и тишина. То је идеално место за одмор од напорне радне недеље. Тамо имају башту у којој гаје кромпир, лук, паприку, краставце, тиквице, шаргарепу и купус. На тераси је увек много цвећа.

Овог лета Ана ће посетити Београд јер иде на студентску конференцију коју организује Међународни славистички центар у Београду. На тој конференцији ће упонати студенте србистике из целог света. Поред тога посетиће и Егзит фестивал у Новом Саду. Када се врати у Пољску Ана планира да оде на Балтичко море са најбољим пријатељицама.

1. Означите да ли су следеће тврдње тачне (Т) или погрешне (П).

1. Ана студира српски језик у Београду.

2. Агњешка и Адам имају четворо деце.

3. Ана учи четири страна језика.

4. Она тренира карате.

5. Анины бака и дека са татине стране живе у Лођу.

6. Анина породица гаји разне врсте поврћа.

2. Одговори на следећа питања:

1. Шта су по занимању Анины родитељи?

.....

2. Како Ана проводи слободно време?

..... 3. Како изгледа Анина викендица?

..... 4. Шта Ана планира да ради преко лета?

.....

Есеј

На самом крају тестирања студенти пишу есеј. Есеј треба да садржи од 80 до 100 речи. За есеј је предвиђено 30 минута. Предлажемо следеће теме:

1. *Моја породица*
2. *Разгледница са путовања*
3. *Мој родни град*

Након завршеног есеја следи оцењивање тестова тако што се сваки део теста оцењује засебно. Након усменог испита се формира коначна оцена студента.

Усмени испит

У нашој досадашњој пракси се показало да је најмеродавније да се усмени испит састоји од два задатка. Студенти добијају кратак текст, који треба да прочитају и о коме се после тога разговара. Лектор се надовезује на текст и поставља питања која су у блиској вези са текстом. Након чега студент одговара на још једно задато питање. Оцењује се и брза реакција на задато питање. У наставку нудимо један пример текста и питања које се могу поставити на усменом испиту.

Недеља је дан резервисан за породицу. Тада се обично сви скупе и ручају заједно. Недељни ручак је увек посебан. Сви који имају бабе и деде обично иду код њих на ручак. Прво се служи супа или чорба, после тога се служи главно јело. Главно јело је обично сарма, месо са роштиља или печено месо. Од поврћа се служе кромпир, грашак, краставци, парадајз итд. После главног јела обично се служи и десерт.

Ваше најдраже путовање.

Закључак

У настави српског језика као страног изузетно је важно на прави начин конципирати колоквијуме и завршне тестове. Наше искуство на Јагелонском универзитету се показало као изузетно добро. Студенти су унапред припремљени и знају како ће изгледати њихов завршни испит, односно испит након првог семестра. С друге стране, лектори морају да воде рачуна да кроз тестове оцене и сагледају све аспекте учења језика на почетном нивоу. Овако конципирани тестови им то омогућавају. Сматрамо да је оваква врста вишегодишњих тестирања и праћења резултата на тестовима потребна како би дошло до стандардизације тестова на академском нивоу. У наводима извора и литературе нудимо све уџбенике и приручнике који су нам били од користи у раду са студентима на нижем почетном нивоу. Наравно, то је само један од могућих избора. Рад нуди методички оквир и један пример теста на нижем почетном нивоу, који се даље може надограђивати и усавршавати у циљу унапређења и стандардизације тестова на страним универзитетима.

Извор и литература:

- Бјелаковић Исидора и Јелена Војновић, *Научимо српски 1*, Нови Сад: Филозофски факултет, 2006.
- Милићевић Добромислав Наташа и Биљана Новаковић Ацаип, *Учимо српски 1 : српски језик за почетни ниво*, Нови Сад: Азбукум, центар за српски језик и културу, 2013.
- Српски као страни језик у теорији и пракси*, тематски зборник радова са истоименог научног скупа одржао у Центру за српски као страни. Београд: Филолошки факултет, 2016.
- Зона Мркаљ и др. *Приручник за лекторе (наставна теорија и праксе)*, Београд: Међународни славистички центар, 2016.
- Либбер Катажина и Славица Прпа, *Приручник за српски као страни језик*, Краков: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
- Либбер Катажина и Славица Прпа, *Култура живог језика*, Краков: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
- Кулешевић Марина и Драгана Белегишанин Закић, *Граматика српског језика за странце*, Београд: Азбукум, центар за српски језик и културу, 2016.
- Јокановић Михајлов Јелица и Весна Ломпар, *Говоримо српски*, Београд: Међународни славистички центар, 2015.
- Лекторске вежбе, приручник за српски језик као страни*, Београд: Међународни славистички центар, 2015.

Robert T. Tomczak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska
roberttomczak@yahoo.com

Rebellious life of a Prague students in the seventeenth century

Participation in lectures, constant repetition of Latin, passing exams - are the basic occupations which every student had to perform in the seventeenth century. After all, he was left still enough time that was spent on activities completely unrelated to the study. His life was divided on science and the "fun" and its determinants was: a reservoir pen and cord (sword). The purpose of this paper is therefore to provide what life was like outside the academic activities of Prague students in the seventeenth century. Lifetime was rich in duels, fights and conflicts with the city authorities. The most common victims of such uproars was typically Jewish quarter, which always on this occasion was devastated and defraud. In particular, I will focus instead on year 1697 when in Prague was a great revolt of students and intervention with the Austrian army.

Key words: Charles University, early modern Prague, student riots, Prague Jewish quarter.

Students in the seventeenth century

During the military operations students were conscripted into army, which was the great opportunity to test their fencing skills. Because of many conflicts in seventeenth century, cold weapon skills were very stylish and extremely popular among students across Europe. One of the professors at the University of Jena, Heyder, greatly regretted-the fact that students prefer duelling and hanging out in taverns rather than reading the Bible. It was very much alike on other European universities and it made no difference whether they were Catholic or Protestant. It was this period, when noble academies began to form. In those academies, besides fundamental teachings, students developed their fencing skills. But even on classical universities the classes with fencing instructor were organized.

Student life in Prague also fitted into this scheme. I will not write about heavy drinking, robberies and thefts of Prague students, even though these acts were then quite common. I will focus more on the events that shook the whole city and university authorities and became source of the conflict between the Prague city hall and the entire academic community. Of course it was Prague students who were responsible for most of those actions.

Methods of punishment rowdy students?

First of all, they try to use the courage and fencing skills of scholars for practical purposes. Students were recruited into academic regiment, that were known for its effective participation in battles of Thirty Years War (1618-1648), the War of the Austrian Succession (1740-1748), the Napoleonic wars and during the revolution of 1848. Worth mentioning is the fact that Prague students participated in the battles against Swedes in 1648, and their effective city defence let to repel the aggressors attacks. For this heroic act, the Emperor Ferdinand The 3th granted the university and the defenders with numerous privileges, badges and awards.

Military actions, however, were not conducted continuously so it was not always possible to send the students to the front. During peaceful times university had to control the temperaments of its students, because of numerous multiday riots they caused in the city.

To counteract, the Emperor Ferdinand III created a special court in 1651, called *iudicum delegate*. The purpose of the court was quick, within 24 hours, sentencing the guilty students who participated in disgraceful acts thus dishonour the status and the authority of the University of Prague. Unfortunately, this institution did not fulfill its function because student caught *in flagrante delicto* fighting or duelling was supposed to be given to the municipality, which limited university impact on the judiciary of its scholars, and in the same time generated numerous conflicts between university and the city.

There were also temporary student controls, which was reflected in numerous bans on carrying weapons, under the threat of expulsion from the university. Very often they searched students, who did not obey the rules and gave their names to the civil authorities.

Scheme of unrest in Prague

When the university and the magistrate were not able to effectively cool the tempers of students, who felt impunity and frequently used that freedom. Only in the years 1650-1710 there was an eleven large, multiday student riots. The process of those riots can be presented by a repeated pattern.

Namely, very often between students and the guards or soldiers occurred to the dispute, which took place in one of Prague's taverns or nearby. Due to the fact that the students and the soldiers drank litres of alcohol, they became more sensitive to any kind of provocations. Plus, there were also ethnic conflicts and the aversion of Prague people to foreign troops, which embodied the unwanted power of the Habsburgs. Verbal harassment transformed into poking, during which one of the sides always reached the weapon. Then both sides called for backup, and all the fuss was growing rapidly because students were always supported by Prague crafts masters and their pupils. During the conflict between soldiers and students, academic youth always steel and devastated Jewish Quarter, and all citywide riot began with attack on Jews.

When the riots ended, the authorities wanted to punish the guilty ones. Unfortunately when they did not caught anyone red-handed, the whole thing ended just with warning until one of the students was put into city jail or military jail, which started the struggle for jurisdiction over him. The army demanded the satisfaction, Jews - imperial protection and municipality obeying the law. On the other side university defended its scholars, arguing that they are not the only guilty of "bad elements" that were hiding under the good name of students. Moreover, the university authorities appealed to the army that took care of its own interests and the students were just warned and threatened consequences. Therefore, these disputes dragged on for months, which meant that cases were not resolved to the end and guilty ones did not pay the appropriate price.

A few examples of students misbehaviour

That mentioned defense of Prague against Swedish troops is so important because as a reward for successful repulse the enemy, the emperor gave the students a large number of muskets and pistols, which were stored in the armoury of the University, and were supposed to be used during emergencies. Unfortunately, as time, showed, the weapons were used for other purposes than defence the city from enemies.

In 1654 there were even two conflicts between students and soldiers. In April, one of the musketeers of the regiment of General de la Crone shot the student. Colleagues of the slain swore revenge. They began preparation for the trial of this soldier, received support from craftsmen and began robberies. Obviously, first they plundered Jewish Quarter. Fortunately, thank to the university authorities, the magistrate and the military, the fight was quickly defused. The guilty of the murder of student was punished and university received a compensation for his death.

Next took place in June, when group of students, without any reason attacked the main watch tower in the Old Town. Five offenders were quickly identified and their names were put on a "blacklist", although it is not known whether they were punished more.

Of course, student riots could also take the larger forms. In March 1655 there was a conflict between a group of 500 students against the Spanish army and recruiters for the imperial army. And in this case also the Jews were attacked, and the penalty burdened a small number of leaders. In total, only three students were deprived of academic privileges.

In 1664 however there was a regular battle between the military and students. When a group of students attacked a soldier walking down the street, there came an army to help a colleague. Fleeing students hid in one of the houses. They also received the support of their fellow students. The street battle erupted involving firearms, which also moved to the Jewish quarter.

After all, this incident, as all mentioned, are nothing comparing the situation, which took place in 1697.

The uproar of 1697

The events of that year have clearly shown the strength of student environment, excellent organization of the academic community, as well as solidarity and courage of this group. It all started in one of Prague pubs. While a group of craftsmen was feasting there came to poking between them and a few soldiers. This kind of argument usually ended quite quickly because unarmed craftsmen had no chance against the trained soldiers. But something

unexpected happened. In the tavern, the university student of law was drinking too, and he stood in defence of craftsmen. He took his sword and went on a group of soldiers. Noteworthy is the great courage of the student, as well as his fencing skills since he fought against seven soldiers. This struggle, with huge dominance of the soldiers ended up running away. Luckily, student found refuge in the Franciscan monastery. There, he was waiting for the release of his colleagues. When they came, they all started to besiege one of the city's watchtowers. Soon outpost under the watchtower the crowd of craftsmen and their pupils gathered under this watchtower.

The commander, when he saw that he has been besieged, ordered to fire. Unfortunately, the bullet hit a young tailor student, who died shortly after being shot. The students, offended by commanders behaviour decided to attack the watchtower again and avenge the dead. They moved to the armory of the university and took all the muskets and pistols, which help to built a formation of 3,000 people.

In such a large force they moved to get a watch tower, and began to besiege to another. The soldiers were helpless and threatened by hunger because the siege was continuing. During the siege of watchtowers, other groups of armed students watched the most important points in the city, and thus blocking the access to a large part of it. Of course, not without stealing and plunder Jewish Quarter.

Students known, that their prank may end up very badly, decided to send a delegation to the general garrison Daun, whose task was to obtain amnesty for participants of these incidents, and also to obtain compensation for people injured during the robbery. General had to deal with such a serious force. In order not to increase the conflict, he decided to accept the request of the delegation. After that everything went back to normal. It is also worth noting that General Doun meeting student demands greeted them with words *Vivant generosi Domini studiosi* (eng. long live for our noble students).

Consequences of student riots

The events of the years 1650-1710 with the noticeable participation of Prague university students clearly show how low was the authority and respect of the University of Prague, when its students could not keep discipline, and even blindly believed in their innocence. For instance, during the riot in 1667, when rector Vaclav Zimmermann defended the participants of the rebellion, explaining that it was not students who provoke riots, but just a bunch of unknown bullies, whose aim was to undermine the good name of the university.

However, for all these years, students showed a huge lack of sense and imagination, and brought his *Alma Mater* only shame and constant humiliation. The consequence of their behaviour was a serious deepening of the crisis, that Prague University experienced in the seventeenth century, buried only thank to the reform of Maria Theresa and Joseph II in the second half of the 18th, that bring order and peace on Prague University. The behaviour of noble students in 17th deserved a serious condemnation.

Bibliography

- Barycz, Henryk (1948), *Dziejowe związki Polski z Uniwersytetem Karola w Pradze*, Poznań, Instytut Zachodni.
- Beránek, Karel (1994), *Acta facultatis philosophicae Universitatis Pragensis 1641-1655, 1664-1670*, Praha, Karolinum.
- Beránek, Karel (1972), Statuta university u sv. Klimenta v Praze, *Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis*, vol. XII, fasc. 1-2, 209-256.
- Bílek, Tomáš (1873), *Tovaryšstvo Ježíšovo a působení jeho v zemích království Českého vůbec a v kolegiu Pražském u sv. Klimenta zvláště*, Praha, Tiskem J.R. Vilímka.
- Čornejová, Ivana (2002), Sřetávání městské samospravy v době pobělohorské. In: *Osm set let pražské samospravy*, Praha, Nakladatelství Scriptorium.
- Janáček, Josef (1977), *Dzieje Pragi*, Warszawa, Książka i Wiedza.
- Kučera, Karel, Truc, Miroslav (1965), Zahraniční studenti na pražské právnické fakultě v 17. století, *Právněhistorické studie*, 11, 53-73.
- Martícula Universitatis Pragensis, rectorum, decanorum, professorum et speciatim in facultate philosophica graduatorum 1654-1736*, M-22, Archiv Univerzity Karlovy.
- Mendelová, Jaroslava (2000), Tricetiletá válka a Nové Město pražské (1620–1650), *Pražský sborník historický*, vol. XXXI, s. 149-171.

- Moškoř, Milan (1988), Skladba a uplatnění intelligence vychovávané pražskou filozofickou fakultou v letech 1654-1730, *Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis*, vol. XXVII, fasc. 2, 81-107.
- Pánek, Jaroslav (1996), Praskie ťrodowisko akademickie w XVI-XVIII stuleciu. In: *W kręgu akademickiego Zamořcia. Materiały z międzynarodowej konferencji na temat Akademia Zamojska na tle praktyki edukacyjnej w Europie Őrodkowo – Wschodniej (koniec XVI – koniec XVIII wieku) Lublin – Zamořć, 11-13 maja 1995*, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
- Pěkný, Tomáš (2001), *Historie Źidů v Čechách a na Moravě*, Praha, Nakladatelství Sefer.
- Protocollum facultatis Iuridica Universitatis Pragensis ab anno 1681*, M-7, Archiv Univerzity Karlovy.
- Purš, Jaroslav, Kropilák Miroslav (1982), *Přehled dějin Československa I/2 (1526-1848)*, Praha, Academia.
- Raková, Ivana (1981), Bouře studentů pražské univerzity ve druhé polovině 17. století, *Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis*, vol. XXI, fasc. 2, s. 7-21.
- Svatoš, Michal, Čornejová Ivana, Kadlec Jaroslav (1995), *Dějiny Univerzity Karlovy*, vol. I (1347/48-1622), Praha, Karolinum.
- Svatoš, Michal, Čornejová Ivana, Beránek Karel (1996), *Dějiny Univerzity Karlovy*, vol. II (1622-1802), Praha, Karolinum.
- Tomek Václav Vladivoj (1849), *Děje university Pražské*, vol. I, Praha, České museum.
- Winter, Zikmund (1897), *Děje vysokých škol pražských ad secessi cizich národů po dobu bitvy bělohorské (1409-1622)*, Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění.

Anastasiia Turchyna

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Philology, Ukraine, Kyiv
nastenokt@rambler.ru

Міжмовні омонімії у слов'янських мовах

The Slavic languages are characterized by both proximity of blood of vocabulary, by community of morphological and syntactic structure and distinguishing specific features. Homonymy – one of the phenomena, what inherent to all languages and characterize the lexico-semantic system each of them. General progress, co-operation, integration and differentiation of the Slavic languages trends are investigated in the article, the general questions of theory of homonymy are examined in modern linguistics, the different points of view are analysed on homonyms, the problem of existence of interlingual homonyms is investigated in the closely-related Slavic languages.

Keywords: comparative linguistics, interlingual homonymy, homonyms, closely related languages

Лексична система мови – багатогранна структура, визначальний засіб пізнання світу, який забезпечує процес комунікації. Омонімія, як лексико-семантичне явище, здавна цікавить багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Насамперед слід відзначити напрацювання таких мовознавців, як: Р.Лібіх, Ж.Жильєрон, А.Мейєр-Любке, Г.Парі, Е.Гаміллшег, Е.Ріхтер, Л.Блумфілд, К.Рохер, Ш.Баллі, П.Сгалл, М.Докуліл, Ф.Данеш, М.Тешітелова, Л.Булаховський, О.Потебня, В.Абаєв, І.Ожегов, Р.Будагов, О.Ахманова, О.Реформатський, В.Виноградов, В.Скалічек, М.Іванова-Шалінгова тощо.

Метою наукової розвідки є показати коло зацікавлень славістів у дослідженні притаманного усім мовам явища омонімії.

Для досягнення мети поставлено такі **завдання**:

- розглянути загальні питання теорії омонімії в сучасній лінгвістиці, зокрема у славістиці.
- проаналізувати різні точки зору на омоніми та визначити основні трактування дефініції явища омонімії.
- дослідити проблему існування міжмовних омонімів у близькоспоріднених слов'янських мовах.

Існує чимала кількість праць присвячених дослідженню цієї проблематики, як у межах однієї мови, так і в зіставленні з іншими спорідненими слов'янськими мовами. Російсько-українську міжмовну омонімію досліджували М. Кочерган та Н. Заславська, українсько-чеську – О. Паламарчук, Л. Кіцила, українсько-польську – М. Беднаж.

Л. Булаховський *велику* увагу *проділяв* загальним тенденціям розвитку, взаємодії, інтеграції та диференціації мов. Явище омонімії *вчений* розглядав у різних слов'янських мовах, зокрема, в українській, російській, сербській, словенській, чеській та польській ("З життя омонімів" та "Омонімія в слов'янських мовах"). У своїй праці "Омонімія в слов'янських мовах" Л. Булаховський особливу увагу приділив контрастивному аналізу інфінітивів простих дієслів у різних слов'янських мовах. На думку дослідника, саме дієслова є яскравим прикладом міжмовних омонімів у споріднених мовах [1].

Мовознавець розглядає деякі дієслова. Наприклад: українське дієслово **вити 1** (видавати протяжні, високі та жалібні звуки); **вити 2** (робити, сплітаючи з чого-небудь, наприклад: вити гніздо або закручуючи волосся, робити кучері) [4, 509].

Дієслово **лічити** (називати числа у послідовному порядку; визначати кількість, суму; "лічити зуби", що означає – вдарити в обличчя, бити). Це дієслово зустрічаються у творах відомих письменників у значенні **вважати**. За М. Коцюбинським: "А як крадуть [мужики] ліс, то через те, що вони лісом обділені, що панський ліс вони **лічать** своїм". Або ж ще: "[Степанида]: От правда на світі! Як жінок, то й не **лічать** за людину!.." (М. Кропивницький) [4, 533].

На відміну від інших слов'янських мов, де існує незначний омонімічний ряд, у чеській мові фонетичні закони сприяли нагромадженню омонімів. Тобто, спираючись на слова автора, можна припустити, що саме чеська мова є плідним полем дослідження омонімії.

Наводимо декілька прикладів чесько-українських омонімів:

1. Чес. *dávka* – доза, норма, раціон, допомога (напр. по безробіттю).

Наприклад:

Čtvrt tabulky čokolády je doporučená denní dávka.

Четверта частина плитки шоколаду є рекомендованою денною нормою.

Dávka může být poskytnuta člověku, kterého postihla vážná mimořádná událost (například povodeň, požár, ekologická haváří atd.).

Допомога може бути надана особі, яка постраждала через серйозні інциденти (наприклад, повені, пожежі, екологічні катастрофи тощо).

Укр. *давка* – штовханина і тиск у натовпі.

"Коло вокзалу була така давка і тіснота, що страх" (Панас Мирний, III, 1954, 271) [4, 205].

2. Чес. *čárka* – кома.

Наприклад:

Základní pravidlo říká, že čárka před a se nepíše.

Основне правило полягає в тому, що кома перед a не ставиться.

Укр. *чарка* – велика (перев. скляна) посудина для пиття вина та спиртних напоїв; келих. **"Посуда була [у запорожців] вся дерев'яна: і чарки, й коряки – усе з дерева"** (Пантелеймон Куліш, Вибр., 1969, 148) [4, 271].

3. Чес. *hrad* – замок, фортеця.

Наприклад:

Oravský hrad je jeden z nejznámějších hradů na Slovensku.

Оравський замок є одним з найвідоміших замків у Словаччині.

Укр. *град*:

1. Атмосферні опади у вигляді частинок льоду різного розміру.

"Йй в обличчя вітер бив холодними краплинами, дошкуляв кульками граду" (Степан Чорнобривець, Визвол. земля, 1959, 33); **"Сльози, мов град, посипались на землю"** (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 18) [4, 152].

2. перен. велика кількість, численність.

"Не збігло й хвилини, як град картечі обсіпає увесь пригород" (Михайло Старицький, Облога..., 1961, 72); **"Мати сяк-так відбивалася від граду запитань"** (Михайло Чабанівський, Стоїть явір..., 1959, 5) [4, 152].

3. Город. **"В Путивлі-граді вранці-рано співає, плаче Ярославна, Як та зозуленька кує, Словами жалю додає"** (Тарас Шевченко, II, 1953, 336) [4, 153].

У класичному визначенні омонімію інтерпретують як здатність мовних одиниць при однаковому звучанні або/та написанні виражати декілька понять, які ніяк не пов'язані між собою. Кожна окрема мова має свої індивідуальні, специфічні характеристики, які відрізняють її від інших мов, а близька спорідненість сприяє виникненню міжмовних омонімів, адже слова із спільнослов'янського лексичного фонду є в усіх слов'янських мовах.

У загальному мовознавстві існують чотири основні точки зору на дефініцію омонімії та визначення поняття "омонім".

Згідно з першою, омоніми – це слова, однакові за звучанням, але різні за значенням незалежно від їх графічної форми. Цієї точки зору дотримуються В. Виноградов, О. Ахманова, Л. Булаховський, Е. Галкіна-Федорук, Б. Трнка, Ш. Баллі, Л. Блумфільд та інші.

До другої групи вчені В. Броун, І. Арнольд, М. Шанський, М. Ахтямов відносять слова, які при однаковому звучанні та написанні мають різне значення.

Третя група науковців (Х. Огата та Р. Інглотт) вважає, що омонімами можуть бути лише ті слова, які мають однакове звучання, але різне значення та написання.

З четвертою точкою зору можна ознайомитися в "Етимологічному словнику" В. Скїта, де омонімами називають слова, які мають графічну схожість [2, 9-10].

Ми вважаємо, що всі ці чотири точки зору мають право на існування, але точнішим було визначати омоніми залежно від їх повноти чи неповноти.

Повні лексичні омоніми визначаються як слова, що належать до однієї частини мови у всіх граматичних формах, відповідно неповні (часткові) омоніми – це слова, що належать до однієї частини мови і співпадають лише у якій-небудь одній граматичній формі (рідше – в декількох).

Повнота/неповнота омонімів визначається тим, чи охоплює лексична омонімія всі ряди словоформ одного і того ж слова чи ні. Практично всі міжмовні омоніми формально відповідають один одному в одній або декількох формах, не в усіх, що пов'язане з різною граматичною будовою мов, що зіставляються.

У лінгвістиці існують різні погляди на явище омонімії. Одні мовознавці вважають, що існування омонімів сприяє збагаченню словникового складу, інші називають омонімію "хворобою" мови, що заважає її функціонуванню. Різновекторність підходів до визначення омонімії ускладнює розв'язання проблем, які виникають на цьому ґрунті. Розглянемо різні погляди вчених-славистів на вищезгадане явище.

На думку Р.А. Османової, неможливо передати все "розмаїття життя, думки" декількома десятками звуків, тому омонімія – "природний процес у мові". Визнання універсальності омонімії, таким чином, дозволяє стверджувати, що омонімія не може розглядатися як "дефект" мови [3].

Однак не всі мовознавці дотримуються цієї точки зору. Омонімію, як негативне явище, характеризував Л. Новіков. На думку вченого, ця мовна та міжмовна універсальність ускладнює комунікативний процес, при якому здійснюється обмін інформацією, Л. Новіков протиставляє її полісемії.

Л. Малаховський також дотримується думки про те, що омонімія є негативним явищем, яке "вимагає" звернення до контексту для усунення неоднозначності, "конфлікту" між омонімами. Е.Еман, І.Ожегов та українські мовознавці Ю.Карпенко, А.Коваль наголошували на тому, що омонімія є значною перешкодою для мови.

О.Реформатський не вважав за потрібне досліджувати це явище і за допомогою омонімів збагачувати словниковий склад мови. Учений називав омонімію "перешкодою" для розуміння мови.

Існує нейтральне тлумачення вищезгаданого явища, згідно з яким мовознавці, наприклад, Л.А. Булаховський, О.С. Ахманова, Р.А. Будагов, погоджуються з тим, що омонімія ускладнює процес розуміння та засвоєння мови, але "патологією" або "хворобою" її не вважають. Представники Празької лінгвістичної школи також характеризують омонімію, як нейтральне явище.

Вагомий внесок у дослідження явища омонімії зробили чеські вчені (Б. Трнка "Про омонімію, її терапію та профілактику" [11], К. Рохер "Граматичний ріст і розвиток чеського іменного відмінювання" [6], В. Скалічка "Розвиток чеського відмінювання" [8], П. Сталл "Система відмінкових закінчень в чеській мові" [7], М. Докуліл "Чеський словотвір" [5]).

Мовознавець О. Духачек трактує омонімію як закономірне мовне явище, яке потребує комплексного вивчення разом з полісемією, паронімією тощо. Й. Влчек досліджував російсько-чеську омонімію, саме ним був укладений словник російсько-чеської омонімії та паронімії. Учений наголошує на тому, що явище "міжмовної омонімії" є маловивченим. Автор порівнює вищевказаний термін з інтерференцією, підкреслюючи те, що міжмовна омонімія є найвищим щаблем лексичної інтерференції. Мовознавець вважає, що велика кількість омонімів має спільнослов'янське значення у зв'язку зі спільністю походження та близькою спорідненістю слов'янських мов.

Граматичну омонімію в чеській мові досліджувала М.Тешітелова. Обмеження, економія лексики, на думку дослідниці, є доцільною. Вона називає омонімію "тотожністю форми при функціональному розрізненні" [10, 5]. Авторка вважає, що морфологічна омонімія достатньо не досліджена та потребує більш детального, комплексного вивчення. Мовознавець М.Тешілова підкреслює, що лексичну омонімію у чеській мові слід розглядати як явище специфічне, другорядне та негативне, якого варто було б позбутися.

Проблема міжмовної омонімії є однією з актуальних проблем при вивченні близькоспоріднених мов. Існують різні трактування вищевказаного явища, однак стосовно цієї проблематики немає.

Отже, перспективним напрямом подальшого дослідження вважаємо аналіз явища омонімії у чеській лінгвістичній літературі, адже, враховуючи специфіку чеської мови, саме на її ґрунті виникла велика кількість омонімів. Також вважаємо за потрібне залучити до аналізу омонімічний ряд української мови, оскільки зіставлення конкретних пар споріднених мов сприяє глибшому визначенню специфіки кожної мови. Враховуючи вищезазначене, можна підсумувати, що омонімія потребує більш детального дослідження, і особливо актуальним це дослідження є для близькоспоріднених мов.

ЛІТЕРАТУРА

- Булаховский Л.А. Избранные труды: в 5 т. / Л.А. Булаховский. – К. Наук. думка, 1978. – Т. 3: Славистика. Русский язык. – 1978. – 601 с.
- Головня А. И. Омонимия как системная категория языка: монография. – Мн.: БГУ, 2007. – 132 с.
- Османова Р.А. О явлении омонимии в лезгинском литературном языке: автореф. дис. . канд. филол. наук: спец. 10.02.02 „Языки народов Российской Федерации” / Р.А.Османова. — Баку, 1962. — 20 с.
- Словник української мови: В 11 т. / [Редкол.: І. К. Білодід та інші]. – К.: Наук. думка, 1970 – 1980. – Т. 1 – 11.
- Dokulil M. Tvoření slov v češtině / M.Dokulil. – Praha: CAV, 1962. – 263 str. (1.Theorie odvozování slov).
- Rocher K. Gramatický růst a vývoj českých deklinací jmenných / K.Rocher. – Praha: Česká akademie věd a umění, 1934. – 150 str. – (Rozpravy České Akademie Věd a Umění; Trída 3. Číslo 71).
- Sgall V. Soustava pádových koncovek v češtině/ V.Sgall . – Praha: AUC-Slavica Pragensia, 1960. – 214 str. – (Studie a práce lingvistické; Ročník 76. Sešit 8).
- Skalička V. Vývoj české deklinace / V.Skalička. – Praha, 1941. – 44 str. (Studie typologická).
- Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. – Praha : Academia, 1992
- Těšilová Marie O morfologické homonimii v češtině / Marie Těšilová. – Praha: Academia, 1966. – 94 str. – (Rozpravy Československé Akademie věd; Ročník 76. Sešit 8).
- Tmka B. O homonymii, její terapii a profilaxi / B. Tmka . – Praha: ČMF 17, 1931. – 222 str. – (On Homonymy, its Therapy and Prophylaxis).

Jurica Vuco

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska
jurica.vuco@gmail.com

Referencijalni kontekst hrvatske Antiantigone

Paper will interpret theoretical and literary-historical elements in Drago Ivanisevic's Ljubav u koroti. Comparative analysis of Ivanisevic's adaptation of Antigone and Sophocles original will determine transformations of tragic structure as well as variations of mythical elements in Ivanisevic's play. Special emphasis will be put on correlation between historical-political context and the author's (inter)text and also on social and existential signals of destruction typical of social drama. Paper will also display text features manifesting double mythical simbolisation originating from reinterpretation of ancient Greek archetype and historical-political allusion.

Key words: Antigone, mythical variations, transformations, tragic structure, archetype

Uvodne bilješke

Dramsko djelo *Ljubav u koroti* Drage Ivaniševića, objavljeno 1958. godine, nosi podnaslov *Antiantigona* čime, s jedne strane, aludira na tragički mitski i antički izvornik, dok s druge strane, prefiksom *anti* nagovještava reinterpretacijske intertekstualne mogućnosti nove inačice. Nastao u vremenu 50-ih godina 20. stoljeća, Ivaniševićev se dramski tekst uklapa u remitologizacijske dramske tokove, u tim godinama, intencivno prisutne u (južno) slavenskim književnostima koje su još uvijek živo svjedočile povijesnim previranjima nakon Drugog svjetskog rata, izmjenama političkih sustava i (još prisutnom) preslagivanju ideoloških paradigmi čime su neizbježno poprimale političko-ideološku konotaciju. Plodonosan izbor antičkih tema u (post) modernističkoj književnosti uvjetovan je i zbog, kako Zlatar (1996:127) navodi, *analogijskog odnosa prema stvarnosti*. Odabirom reinterpretacije antičkih i/ili mitoloških motiva, autori su transmodalizacijom iz grčkog tragičkog modusa u modus suvremenoga tragičnog iskaza povezivali arhetipske kodove antičko-mitološke tragedije sa suvremenim kulturološkim, povijesnim i političko-ideološkim signalima vremena i društva.

Napisan na kasnomodernističkim tragovima Ivaniševićev dramski tekst uvelike anticipira postmodernistička nastojanja koja će se u književnosti dogoditi nešto kasnije. Njegova reinterpretacija sadrži neke ključne aspekte i u formalnoj i u sadržajnoj domeni na temelju kojih bismo ju mogli okarakterizirati kao svojevrsnu inačicu izvornika, no jednako tako u određenim je strukturno-značenjskim odrednicama značajno udaljenija od prototeksta implicirajući relativnu samostalnost i otkrivajući interpretacijske mogućnosti koje posjeduju adaptacije i prerade, a time dolazi do, kako to Čale-Feldman (2005:177) naziva, *dislokacije Antigonine teme*.

Potvrde i varijacije mitsko-antičkog tragičkog izvornika

Sličnosti na planu izraza tiču se analogija formalnih aspekata tragičkih dramskih tehnika poput broja činova, trojedinstva vremena, mjesta i radnje, ključnih likova te formalnih postavki tragičkih elemenata. Ivaniševićev tekst koncipiran je u trima činovima, koji svojom strukturom predstavljaju antički tragički uzorak: u prvom se činu upoznaje s pretpoviješću radnje i dolazi do prvog trenutka napetosti koji potvrđuje zaplet radnje, u drugom radnja dolazi do vrhunca vođena kulminacijom sukoba likova, dok u trećem dolazi do drugog trenutka napetosti radnje koja tada, slijedom ustaljenih tehničkih karakteristika tragičkog izraza dovodi do raspleta.

Sličnosti na planu sadržaja u prvom se redu tiču značenjske osnove antičkog tragičkog izvornika i njegove strukture u čijoj je osnovi mitski predložak. Radnja Ivaniševićeva teksta prati ključna mitemsko-semantemska uporišta Sofoklova teksta gradeći svojevrsnu intertekstualnu osnovu svoje verzije *priče* čime rješava potencijalnu kritiku povijesno-ideoloških interpretacija postavljajući vlastitu verziju u intertekstualni sklop mitskog tragičkog predloška.

U formalnom smislu razlike se očituju ponajprije u odsutnosti određenih likova koji su tvorbeni element Sofoklove tragedije. Osim izostanka tzv. pomoćnih likova tragedije, kora i glasnika, važnih kako za rasplet same radnje tako i za izgradnju protagonista i protutežu njegovim nužnim psihološkim previranjima, u ovoj inačici

zapravo ne postoji klasični antagonist glavnom junaku. Uloga koju u izvorniku obnaša Kreont u ovoj inačici pripada kolektivnoj svijesti proizašloj iz društveno-povijesnih odnosa nastalih na političko-ideološkoj pozadini. Iz takve kolektivne svijesti, potaknuta svojom tragičnom krivnjom, u određenoj mjeri samonametnutoj, sama će protagonistica postati vlastita antagonistica.

Najveće razlike i odstupanja od izvornika vidljivi su, pak, na sadržajnom planu teksta. Već od samog početka očigledno je kako pokretač radnje nisu unutartekstualni, nego kontekstualni signali koji su pak uzrokovani povijesno-političkom pozadinom i sugestijom prošlosti kao sveprisutne činjenice koja prati junakinju. Društvena konotacija odnosa moći i implikacija subverzivnih postupaka prati tijek radnje od njezine pretpovijesti do samog raspleta. Odlučujući trenuci napetosti radnje i iz nje proizašlih sukoba svojevrsna su posljedica povijesno-političkih (ne)prilika u kojima se likovi nalaze ili su neposredno proizašli iz njih. U nemogućnosti prekidanja nerazriješenog odnosa s prošlošću Martu kroz čitav život vodi izvjesna trauma koja se kako radnja napreduje samo pojačava. Za razliku od izvorne junakinje koju je vodio „nebeski zakon“ i „viša sila“ i kod koje, s jedne strane, krivnja dolazi od drugih, dok s druge tu uvjetnu krivnju kažnjavaju drugi, motivacija Ivaniševićeve junakinje dolazi iz nje same. Ona, naime, smatra kako je uistinu kriva jer je slijedila „zemaljski zakon“ i samonegacijom vlastite budućnosti projicira krivnju pod optužbom kako je „izdala svoju krv“, što je u suprotnosti Antigoni koju u tragičan završetak vodi upravo zaštita „svoje krvi“. No u Martinom slučaju dolazi do izostanka kazne koji ipak prerasta u agoniju neizvjesnosti daljnje sudbine i prije se može okarakterizirati kao *bolni nastavak života* nego katarzični trenutak junakinje.

Dimenzije tragičnosti likova

Mani Gotovac (1983:327) donosi zaključak kako *dvije grupe lica, Marta s jedne strane, Ognjen, Marija i Zoran s druge - to su zacijela agonske grupe Ivaniševićeve drame*. Ovakva klasifikacija likova neobično odgovara sukobljenim stranama u Ivaniševićevu tekstu. Marta je u biti jedini lik koji potencira sukobe u drami. U tome ju vodi (pod)svijesna želja za okončanjem spomenutog nerazriješenog odnosa s prošlošću koji ju očigledno sputava i utječe na njezin život. Da bi postigla taj cilj Marta ulazi u sukobe u prvom redu sa sestrom, preko koje će se kasnije sukobiti i s njezinim glavnim traumatskim podsjetnikom na prošla događanja, Ognjenom. Na taj način Marta pokušava s jedne strane revidirati povijesnu i političku ulogu svoga ubijenog brata i osvijestiti njegovu nevinost/krivnju za postupke koji su ga doveli do takve sudbine, dok s druge strane pokušava rasvijetliti uzroke njezine korote koja ju vodi u egzistencijalna, ali i identitetna previranja. Kao glavna junakinja ona je protagonistica radnje, ali zbog činjenice kako njezina krivnja nije do kraja uzrokovana tragičkom sudbinom već ju je ona sama uvelike potencirala te kako se zapravo u najvećoj mjeri sukobljava sa samom sobom pokušavajući odgonetnuti i raščistiti aveti i traume što društvene što vlastite povijesti, ona je, kako je spomenuto, ujedno i antagonist samoj sebi što objašnjava njezino imenovanje Antiantigonom.

Martina sestra Marija bliža je svom izvornom proto-liku, Izmeni. Poput Izmene, Marija u počecima nastupa kao razumska protuteža Martinom/Antigoninom karakteru vođenom osjećajima i, pritajenim, strastima. Tek će se pred kraj teksta Marija postupno preobraziti djelomično ostavljajući razum po strani i dopuštajući prodor emocijama, čak će u određenom trenutku potpasti pod Martin utjecaj i biti spremna ostaviti Ognjena i buduću život s njim, no rasplet će ju ipak odvesti njemu. Lik liječnika Ognjena u tekstu se nameće kao protuteža junakinji Marti. Iako nije u funkciji klasičnog antagonista, poput Kreonta u izvorniku, Ognjen posjeduje brojne elemente karakterizacije koji upućuju kako je baš on *agonski* protukarakter Marti. Ognjenova se uloga i funkcija sukobljava s Martinom po dvostrukoj liniji. U raspletu napetog sukoba Marte i Ognjena, Marta demonstrativno naglasi kako završava njezina korota koja je, uz to što je bila podsjetnik na ubijenog brata, ujedno bila i podsjetnik njezine ljubavi prema Ognjenu i njihove zajedničke budućnosti. Tek kada sve stvari izađu na vidjelo, Marta je spremna odbaciti tu vrstu korote. Ognjen, pak, pokazuje kako shvaća Martu i njezine postupke i slaže se kako treba zaboraviti prošlost što je za Martu odlučujući signal za psihičko pucanje. Ognjenova ravnodušnost, iako nije arhetipski antagonistička, itekako je snažan okidač Martinih emocija i želje za sukobom.

Iako, spomenuto je, u ovoj reinterpretaciji izostaju neki klasični tipovi likova antičke tragedije, tri su lika u određenoj mjeri važna za radnju. Dvorkinja Milica svojevrsan je posrednik između Marte i Marije djelomično obavljajući ulogu kora, djelomično glasnika. Kad poprima ulogu kora, Milica nosi obilježja tragičkog antičkog kora u njegovoj funkciji: slušanja i suosjećanja s junakom i olakšavanja patnji te moralnih dvojbi junaka, djelovanja kao moralne vertikale, svojevrsnog autorova komentara i svjedoka određenih događanja, u pretpovijesti ili za vrijeme

dramske radnje. Poprimajući funkciju glasnika Milica će upozoravati obje sestre, posebno Martu, na potencijalnu opasnost njihova djelovanja. Ipak, njezina značajnija uloga u raspletu djela ne postoji, stoga se Milica ubraja u sporedan lik koji nema presudne važnosti za radnju i ostale likove. Drugi sporedni lik u tekstu epizodni je lik službenika Zorana kojeg Marta šalje da zavede Mariju ne bi li ova odustala od udaje za Ognjena. Iako lik Zorana nosi određene, u prvom redu političko-ideološke, kontekstualne konotacije njegova je uloga, za radnju, neznatno epizodna i tek djelomično u svojstvu autorova komentara zbivanja u radnji. Posljednji, uvjetno rečeno, sporedni lik zapravo je lik-aluzija Martina i Marijina ubijenog brata Ivana koji se u tekstu pojavljuje u reminiscencijama likova kao aluzija na događaje iz prošlosti. No lik brata Ivana iznimno je važan za radnju djela. Njega bismo, naime, mogli okarakterizirati kao izvornog pokretača ovog teksta jer se njegova uspomena i tragična smrt javljaju i kao podsjetnik prošlosti kod svih likova, posebno Marte, ali i kao trajna trauma koju će likovi, bez obzira kako se njihov sukob razriješio, nositi i dalje u svojoj budućnosti. On je ujedno i ključan faktor svih sukoba u djelu. U sukobu Marte i Marije upravo je trenutak njegova pokapanja, što je jasna aluzija na izvornik, kao i sjećanje na njega okidač za sukob. U slučaju sukoba Marte i Ognjena semantički materijal, vezan uz Ivana i njihovu zajedničku ulogu u njegovoj smrti, koji oboje aktera nose izvor je stalnih napetosti koje iznova generiraju njihov međusobni sukob. Iako nije klasičan dramski lik, njegova stalna prisutnost od iznimne je važnosti za ustroj karaktera ostalih likova kao i za dramsku radnju u cjelini.

Kontekstualizacija i resemantiziranje vremena radnje

Dvostruku mitsku simboliku ovog dramskog teksta upotpunjuje specifično vrijeme radnje. Njegov položaj, naime, ocrta se u isprepletenom odnosu prema trima konceptima vremena na koja se u tekstu aludira: mitskom, aktualnom i kontekstualnom. Vrijeme radnje element je koji dominira remitologizacijom izvorne radnje, ali i likova i njihovih funkcija, jednako kao i resemantizacijom mitske antičke teme opisane u izvornom tekstu. Povezana sa simptomatičnim mjestom radnje, ruralnim primorskim mediteranskim prostorom u koji su upisani kodovi mitskog krajolika, prostorno-vremenska dimenzija teksta očituje se kao *aluzija na mitske-arhetipske slike*. (Franić Tomić 2008:256) Uzimajući mitski semantički sklop i transmitirajući ga u kontekst tadašnje društvene stvarnosti Ivaniševićev dramski tekst aktualizira društveno-povijesni trenutak neodvojiv od političko-ideoloških aluzija čime tematski okvir izvorne radnje poprima upravo dvostruku mitsku simboliku, s jedne strane ne izlazeći iz arhetipskog tematskog okvira, dok s druge strane istovremeno projicira sasvim novi, neovisni tematski okvir. Političko-ideološki kontekst vremena radnje, ali i njezine pretpovijesti na taj način postaje neraskidivo vezan uz tijek radnje i ulogu aktera u ovom tekstu. U oba teksta, Sofoklovu proto-tekstu i Ivaniševićevoj preradi, svojevrstan političko-ideološki koncept sudjeluje u motivaciji djelovanja junakinja i u temelju je sukoba koji pokreću radnju. U prvom slučaju u kojem motivira postupke junakinja radi se o implikacijama zabrane, kod Antigone, i potencijalne kazne, kod Antiantigone Marte, vezanih uz pokope njihove braće koji su bili na „pogrešnoj“ političkoj strani. U drugom slučaju politička pozadina sukoba koji prethode, ali pokreću radnju u određenoj se mjeri očituje kod Sofokla, no znatno je izraženija u Ivaniševićevu tekstu, upravo kroz aktualizaciju društveno-povijesnih zbivanja.

Zaključak

Prosperov Novak (2004:59) ustvrđuje kako je ovaj tekst zapravo *drama o osamljenosti žene*. Glavni akter, Antiantigona Marta, iako na kraju ostaje sama u aktualnoj sadašnjosti, svojim odbacivanjem korote ujedno daje do znanja da se obračunala s traumama prošlosti te da se lišava identitetnog i egzistencijalističkog straha budućnosti što joj, za razliku od izvorne Antigone, pruža mogućnost pomirbe s vlastitim unutarnjim borbama. U nemogućnosti ikakvog utjecaja na svoju tragičku krivnju Antigonina tragična sudbina završila je njezinom smrću. Martina tragička krivnja splet je nesretnih okolnosti, a njezina tragična sudbina završnim činom odbacivanja korote prelazi u potpunosti u njezine ruke i otvara mogućnost da prestane biti tragična.

Literatura

- Čale-Feldman Lada (2005), *Femina ludens*. Zagreb, Disput.
- Franić-Tomić, Viktorija (2008), Prva hrvatska Antigona. In: *Dani hvarskog kazališta*. Zagreb-Split, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug Split.
- Gotovac, Mani (1983), Drago Ivanišević: Ljubav u koroti, drama. In: *Dani hvarskog kazališta*. Zagreb-Split, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Književni krug Split
- Ivanišević, Drago (1958), *Ljubav u koroti*. Beograd, Stožer.
- Peričić, Helena (2011), *Deset drskih studija*. Split, Naklada Bošković.
- Prosperov Novak, Slobodan (2004), *Povijest hrvatske književnosti, svezak III*. Split, Marjan tisak.
- Zlatar, Andrea (1996), Antičke teme u mladoj hrvatskoj drami. In: *Zbornik Krležinih dana u Osijeku*. Osijek-Zagreb, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta-Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku-Filozofski fakultet Osijek.

Piotr Wojnarowicz

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW, Warszawa, Polska
voynar@gmail.com

The Idea of Northern Crusades and their impact on the creation of the Livonian Order

Northern Crusades lasted over century and a half long, and their outcome was christianization of some and wiping out rest of pagans living in the Baltic Sea area. Also one of the most important parts of the Crusades and their impact on the region was establishing of The Livonian Brothers of the Sword (later called Livonian Order) which took part in the crusades and after decimation in the battle of Saule in 1236 was merged and became an autonomous branch of the Teutonic Order.

Keywords: Northern Crusades, Baltic Sea area, Christianization, Livonian Order.

The twelfth century found almost all of Europe Christianized. One of the exceptions were areas to the east and north of the river Wisła. These areas were covered by primordial forest. The only terrains suitable for creating settlements were limited to the basins of three rivers: Wisła, Niemen and Dzwina, as well as along the shores of Baltic Sea.

In this area, there lived people, who are generally referred to as Balts, in fact, they were divided into four main groups:

- Prussians, living in the area between lower Wisła, Narew, Niemen and the strip along the seacoast,
- Lithuanians, who were settled to the north and east of river Niemen,
- Latvians, living in the lower area of the river Dzwina,
- Kuronians, living on the peninsula dividing the Gulf of Riga and Baltic Sea (Kurland).

At first, the people of these regions did not possess any solid structures one could call statehood. Nonetheless, it was not until, the tribes were capable of working together upon creating something that could be referred to as a defense federation to be called upon should the tribes be in danger.

Between the years 1000 and 1200 only the Lithuanians were able to create an organized state. The lack of centralization affected the remaining Baltic nations thus making them potentially a very attractive target for Christian expansion. The creation of the reasonably successful crusade movement quite quickly found its response also in this part of Europe. Between years 1107-1108, a document was created by the author, who was a clergyman from Flandria. He belonged to a close circle surrounding the Archbishop of Magdeburg. The document became known as *edict of Magdeburg*. It became an appeal of the Christian clerics as well as of the feudal population of the region to west European magnates to fight against pagans.

Baltic Christians, however still had to wait a number of years until the idea of a crusade against the neighboring pagans started coming to life. Nonetheless, it was not until the call for a crusade, which took place during the pontificate of Pope Eugene III that a new step was taken towards the realization of the crusade there. Pope Eugene III was the very first Cistercian occupying the papal throne. St. Bernard of Clairveaux was responsible for the pope's upbringing. The Pope, upon receiving information that the earldom of Edessa has fallen, proceeded with a military campaign. Barely after one month of the military campaign on the first of December 1145 the pope issued a bull concerning the crusade *Quantum praedecessores*.

Onto the political scene of Western Europe once again steps Bernard of Clairveaux. His negotiations between the French court and the papal curia resulted in a second version of the papal bull *Quantum praedecessores* which Eugene III issued on March first 1146. From then on, this document became the standard model for every call for a crusade ever after.

Meanwhile on the lands ruled by the emperor Conrad III of Germany the response to starting the crusade was as strong as in the French areas. Emperor Conrad during Christmas of 1145 decided to participate in the crusade. In March of the next year a meeting, a meeting of magnates took place in Frankfurt. On this occasion the sizable group

of participants of the mostly Saxon feudal group expressed a request to take part in the campaign against the Veneden pagans dwelling in "their" (that is Saxon) part of Europe. Pope Eugene gave his permission to the solution proposed. St. Bernard also decisively supported these ideas.

In April of the next year after meeting with Bernard of Clairveux pope promulgates a letter *Divini dispensatione*. In its initial format, this letter contains plans for numerous goals stating how to conduct a successful campaign to take over Eastern Europe. He indicates that the goals included spreading of the Christian faith among pagans, their subordination to the Christian rulers, as well as fighting to the very end. Pope Eugene promised the participants the same indulgences as received by those who went to fight for the Holy Land.

The course of the crusade ended up strikingly different from what pope Eugene and St. Bernard of Clairveux made plans for. It happened despite of gathering against the pagans of significant forces toward three directions: Baltic, Iberian and Middle Eastern. It did not help that the most powerful Europeans were leading the forces. On Outremer, Edessa could not be won back. In its place, gathered magnates decided to take at least Damask – the siege of the city proved unsuccessful and the European forces had to retreat. Most interesting point of the Baltic chapter of this crusade was its only success – the defeat and christianizing of Obodrites led by the prince Nielot. Unfortunately shortly after Christian forces left, this group of Slavic Polabians broke all the agreements and the situation went back to the one before the crusade.

For the next crusade undertaken in the Baltic part of Europe, one had to wait until the beginning of the seventies of the twelfth century. Against the initial disapproval of Alexander III of a possible mission in the region of the Eastern Baltic, he finally gave his support after the intensive efforts of bishop Eskil – the archbishop of Lund and student of Bernard of Clairveux and Pierre of Celle – abbot of Montier-la Celle. Pope Alexander was generally unfavorable towards military actions involving all Christians. He even attempted to convert sultan Kiridz Arslan II by sending him *Instructio fidei* document that has survived to this day.

In September 1171, the Holy Father Alexander III writes a letter *Non parus animus* addressed to the rulers of Scandinavian states. This letter describes the dangers posed to Christianity by the Estonians who spread horror by murdering Christian believers and missionaries. It was against this tribe that the next crusade was to aim with their military weapons. The Pope calls for defense of those in need and also for the expansion of the Christian faith. The Pope promises to those who perish while fighting a plenary indulgence, and for those who will survive forgiveness of sins for one year. *Non parus animus* unlike most crusade writings contains quite a few directives concerning internal matters of the Church in Scandinavia. The new element in the area of the Baltic was the Christianizing mission of the regular canon Meinhard, the center of which became Uxkull on the river Dzwina. The metropolitan Bishop of Bremen and Hamburg Hartwig II rendered to Meinhard military and material support. With time, the mission thanks to his actions was able to become even more successful. In the year 1186, Hartwig ordained the canon Meinhard as the bishop of Uxkulla. In those days a number of different popes followed each other for short lasting pontificates occupying St. Peter's throne. They had to contend with Roman opposition to be repeatedly declaring them antipopes. Saladin's successes in the Holy Land also worked against them by destroying many years of Christian progress in Outremer.

It was Clemens III who finally turned his attention to the Baltic area. Already in August of the year 1188, he approved the ordination of bishop Meinhard as well as the leadership of the Bremen-Hamburg metropolis over the newly created diocese. Consequently in 1190 a papal bull was issued allowing bishop Meinhard the recruitment of missionaries to a much greater degree than before.

It was Pope Innocent III to whom Christianity holds a debt of gratitude for once again bringing to light the idea of a crusade both in the near East and also near the Baltic. Innocent III succeeded to Saint Peter's throne as a not quite forty-year old man. Only seven months from the beginning of his pontificate, he wrote a letter *Post miserabile*, which initiated the induction of knights for participation in the fourth crusade. In May 1208 he attempted a new induction with another crusade in mind. In December of the same year, the Pope prepared a bull *Ultinam Dominus* that aims to win for the planned crusade the knights of Lombardy and Ancona. The next great military expedition to the Outremer started being prepared in April 1213 after the bull *Quia major* was announced.

On the subject of Christianization of the Baltic region, Pope Innocent showed interest what resulted in increased activity of Christians in this region. In October 1199 Innocent III writes a letter *Sicut exlestiaticereligionis* calling on

believers to fight for protection of the church in Livonia. In this letter, the Pope stresses that for protection of the newly converted, force can be used. Attacks by the pagans might increase the risk of apostasy. In this letter, the Pope grants forgiveness of sins to those who in the name of the Cross will protect the Church of Livonia.

In the year 1199 Bishop Harwig II chose his nephew Albert von Buxhovden to become the missionary bishop of Livonia. Shortly after arriving at his bishopric, he founded the city of Riga and moved his bishop seat there. In order to curtail stagnation in the growth of Christianity in the region Bishop Albert every year travelled to German lands and recruited knights for action against pagans. In return, they were granted fiefs on conquered territories. In year 1202, he founded a new order of Knights Fraters Militiae Christi of Livonia (Otherwise known as the Order of Brothers of the Sword). It was created based on the rules of the Templars. Supported in this manner Bishop Albert greatly succeeded. By repelling pagans, he greatly expanded territories that were subject to him. The Order was officially recognized by papacy in 1204. Its independent existence was quite short, because following their defeat by the Samogitians and Semigallians in the Battle of Schaulen (Saule) in 1236, the surviving brothers merged into the Teutonic Order as an autonomous branch and became known as the Livonian Order.

These successes, however, created a problem with the division of spoils acquired during victorious encounters. The conflict developed between the Sword Brethren and- bishop Albert. To address their disagreement, the Grand Master of the Order and the Bishop of Riga travelled in 1210 to Rome to personally ask the Pope for a resolution of their dispute. Innocent III decided that one third of the acquired territories belonged to the Brethren of the Sword. This decision did not finally end the dispute.

The death of the Pope Innocent III found the Baltic region with the position of Christianity considerably improved. Bishop Albert of Riga did not abandon his efforts to find allies in his fight against the pagans. Albert decided to take a trip to the Kingdom of Denmark. He was looking for support. Only a year later the Danes shipped out to Estonia under their ambitious king Valdemar II. The Danes landed on the North Sea shore in June 1219. Reval a fortress was created and they quickly started the subordination of Estonian territories and the Christianization of pagans who lived there. The fast pace of Danish successes led to a conflict between them, Bishop Albert and the Sword Knights. It is very likely that when Bishop Albert asked for the assistance, he did not expect that the Danes would prove stronger political and military players in the end endangering the Bishop's position.

It was thanks to king Valdemar that in 1222 an agreement was signed. Since king Valdemar proposed the following division: Livonia was to belong to the bishop of Riga. The South and middle provinces of Estonian lands to the Knights of the Sword. The Northern part of Estonia was to become Danish except for spiritual oversight over the lands of Livonian Brothers remaining with Bishop of Riga. The secular overseeing was left in the hands of King of Denmark. Two years later, asked by Bishop Albert the papal legate Wilhelm- Bishop of Modena, arrived. It was his goal to finally resolve the disagreements between the Christian rulers of this territory.

Pope Honorius III unlike his predecessor had a different attitude towards indulgences granted to the members of the Baltic crusades. As Innocent III before him, he limited their indulgences depending on which crusade they were involved in. He made it clear that the most important expeditions were those to Outremer. Honorius believed that forgiveness of all sins belongs as much to the actual participants, as to those who provided money for military needs or sent substitutes for their own presence.

In the year 1220 there was a short period of doubt on the part of the Pope concerning full support for the Baltic Crusades. He revoked some of indulgences to the crusaders planning to go to Prussia. In his letter, *Venerabilis frater noster* he temporarily cancelled plenary indulgence for crusaders going to Prussia. Removal of privileges by the letter of November 1220 lasted barely half a year. Already in April of the following year, the next letter was written *Si pro veritate* to the clerics of Gniezno province. This is where the Pope once again granted the indulgence privileges to those who were going to Prussia. The Holy Father was very disturbed by the pagans' advances on the Baltic shores. This situation created a danger to the Christians who were living there. However, Pope Honorius did not create any other documents concerning the Baltic situation.

Concluding, Northern Crusades are not so epic, and popular in historiography like Crusades to the Holy Land, yet they were important part of Europe history. At the beginning the attitude of the major European political powers – the Papacy and the Holy Roman Empire was ambivalent, but with time they have become an important theater of war – both from the pagans, and the struggle of local power. Just like in Outremer creating a local knights order

which inferring from the medieval Christian spirituality, became an outpost of Christianity, also in military terms. The final result of the Crusades was the eradication of the last large groups of pagans in Europe, and for the Livonian Order, which was too weak, the necessity to become a half-independent part of The Order of Brothers of the German House of Saint Mary in Jerusalem.

Bibliography

- Christiansen Eric (2012), *Krucjaty północne*, Poznań, Rebis
- Fonnesberg-Schmidt Iben (2009), *Papieże i Krucjaty Bałtyckie 1147-1254*. Warszawa, Bellona
- Henry of Livonia (2003), *The Chronicle of Henry of Livonia*, New York, Columbia University Press
- Housley Norman (1999), *The thirteenth-century crusades in the Mediterranean*, In: *The New Cambridge Medieval History vol.5. - c.1198–c.1300*, Cambridge, Cambridge University Press
- Phillips Jonathan (1996), *Defenders of the Holy Land : relations between the Latin East and the West 1119-1187*, Oxford, Clarendon Press
- Phillips Jonathan (2013), *Druga krucjata. Rozszerzanie granic chrześcijaństwa*, Poznań, Rebis
- Runciman Steven (1997), *Dzieje wypraw krzyżowych t.1*, Warszawa, PIW
- Runciman Steven (1997), *Dzieje wypraw krzyżowych t.2*, Warszawa, PIW
- Runciman Steven (1997), *Dzieje wypraw krzyżowych t.3*, Warszawa, PIW
- Turasiewicz Adam (2004), *Dzieje polityczne Obodrzyków : od IX wieku do utraty niepodległości w latach 1160-1164*, Warszawa, Nomos
- Tyerman Christopher (2006), *God's War: a new history of the Crusades*, Cambridge, Belknap Press